Стефан ЦВЕЙГ

МАРИЯ СТЮАРТ

ЖОЗЕФ ФУШЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга известного австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) «Мария Стюарт» принадлежит к числу так называемых «романтизированных биографий» - жанру, пользовавшемуся большим распространением в тридцатые годы, когда создавалось это жизнеописание шотландской королевы, и не утратившему популярности в наши дни.

Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт (1542-1587).

Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература - драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, образ ее и поныне с неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воспроизведения. Ибо все запутанное по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное - к свету.

Но все попытки отобразить и истолковать загадочное в жизни Марии Стюарт столь же противоречивы, сколь и многочисленны: вряд ли найдется женщина, которую бы рисовали так по-разному - то убийцей, то мученицей, то неумелой интриганкой, то святой.

- Стефан Цвейг
  - Вступление
  - Действующие лица
  - 1. Королева-дитя
  - 2. Юность во Франции
  - 3. Вдовствующая королева и все же королева
  - 4. Возвращение в Шотландию
  - 5. Камень покатился
  - 6. Оживление на политическом аукционе невест
  - 7. Второе замужество
  - 8. Роковая ночь в Холируде
  - 9. Преданные предатели
  - 10. В непроходимых дебрях
  - 11. Трагедия любви
  - 12. Дорога к убийству
  - 13. Quos deus perdere vult…[52]

- 14. Путь безысходный
- 15. Низложение
- 16. Прощание со свободой
- 17. Беглянке свивают петлю
- 18. Петля затягивается
- 19. Годы в тени
- 20. Последний круг
- 21. Дело идет к концу
- 22. Елизавета против Елизаветы
- 23. «В моем конце мое начало»
- Эпилог

- notes
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  - 12.
  - 13.
  - 14.
  - 15.
  - 16.
  - 17.
  - 18.
  - 19.
  - 20.
  - 21.
  - 22.
  - 23.
  - 24.
  - 25.
  - 26.
  - 27.
  - 28.
  - 29.
  - 30.
  - 31.
  - 32.

- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.

○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *

○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *

○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *
○ * * *

Стефан Цвейг
Мария Стюарт

Вступление

Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут от нас все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт. Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература – драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, образ ее и поныне с неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воспроизведения. Ибо все запутанное по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное – к свету.

Но все попытки отобразить и истолковать загадочное в жизни Марии Стюарт столь же противоречивы, сколь и многочисленны: вряд ли найдется женщина, которую бы рисовали так по-разному – то убийцей, то мученицей, то неумелой интриганкой, то святой. Однако разноречивость ее портретов, как ни странно, вызвана не скудостью дошедших сведений, а их смущающим изобилием. Сохранившиеся документы, протоколы, акты, письма и сообщения исчисляются тысячами – ведь что ни год, вот уже триста с лишним лет, все новые судьи, обуянные новым рвением, решают, виновна она или невиновна. Но чем добросовестнее изучаешь источники, тем с большей грустью убеждаешься в сомнительности всякого исторического свидетельства вообще (а стало быть, и изображения). Ибо ни тщательно удостоверенная давность документа, ни его архивная подлинность еще не гарантируют его надежности и человеческой правдивости. На примере Марии Стюарт, пожалуй, особенно видно, с какими чудовищными расхождениями описывается одно и то же событие в анналах современников. Каждому документально подтвержденному «да» здесь противостоит документально подтвержденное «нет», каждому обвинению – извинение. Правда так густо перемешана с ложью, а факты с выдумкой, что можно, в сущности, обосновать любую точку зрения. Если вам угодно доказать, что Мария Стюарт была причастна к убийству мужа, к вашим услугам десятки свидетельских показаний; а если вы склонны отстаивать противное, за показаниями опять-таки дело не станет: краски для любого ее портрета всегда смешиваются заранее. Когда же в сумятицу дошедших до нас сведений вторгается еще и политическое пристрастие или национальный

патриотизм, искажения принимают и вовсе злостный характер. Такова уж природа человека, что, оказавшись между двумя лагерями; двумя идеями, двумя мировоззрениями, спорящими, быть или не быть, он не может устоять перед соблазном примкнуть к той или другой стороне, признать одну правой, а другую неправой, обвинить одну и воздать хвалу другой. Если же, как в данном случае, и сами авторы в большинстве своем принадлежат к одному из борющихся направлений, верований или мировоззрений, то однобокость их взглядов заранее предопределена; в общем и целом авторы-протестанты возлагают всю вину на Марию Стюарт, а католики – на Елизавету. Англичане, за редким исключением, изображают ее убийцею, а шотландцы – безвинной жертвой подлой клеветы. Особенно много споров вокруг «писем из ларца»; если одни клятвенно защищают их подлинность, то другие клятвенно ее опровергают. Словом, все до мелочей подцвечено здесь партийным пристрастием. Быть может, поэтому неангличанин и нешотландец, свободный от такой кровной зависимости и заинтересованности, более способен судить объективно и непредвзято; быть может, художнику, охваченному хоть и горячим, но не партийно-пристрастным интересом, скорее дано понять эту трагедию.

Конечно, и с его стороны было бы непростительной смелостью утверждать, будто он знает непреложную правду обо всех обстоятельствах жизни Марии Стюарт. Единственное, что ему доступно, – это некий максимум вероятности, и даже то, что он по всему своему разумению и всей совести сочтет за объективную точку зрения, неизбежно будет носить черты субъективности. Поскольку источники загрязнены, ему приходится в мутных струях искать свою правду. И так как показания современников противоречивы, он вынужден на этом процессе в каждой мелочи выбирать между свидетелями обвинения и свидетелями защиты. Но как бы ни осмотрителен был его выбор, в иных случаях он поступит всего честней, снабдив свое суждение вопросительным знаком и признав, что тот или иной эпизод в жизни Марии Стюарт остался темным, недоступным исследованию и таким, должно быть, останется навсегда.

Поэтому автор представленного здесь опыта взял себе за правило не обращаться к показаниям, исторгнутым пыткой и другими средствами запугивания и насилия: тот, кому дорога истина, не станет полагаться на вынужденные показания как на заслуживающие доверия. Точно так же и донесения шпионов и послов (в те времена понятия почти равнозначные) лишь с

величайшим отбором принимаются здесь во внимание и каждый отдельный документ берется под сомнение; и если автор держится взгляда, что сонеты, а также большая часть «писем из ларца» достоверны, то пришел он к этому, тщательно взвесив все обстоятельства, а также основываясь на мотивах внутреннего характера. Повсюду; где в архивных документах сталкиваются два противоречивых утверждения, автор каждое из них возводил к его истокам и политическим мотивам, и если бывал вынужден сделать между ними выбор, всегда сообразовывался с тем, насколько данный поступок психологически созвучен характеру в целом, что и было для него конечным мерилом.

Ибо сам по себе характер Марии Стюарт не представляет загадки, он противоречив лишь во внешнем своем развитии, внутренне же монолитен и ясен от начала до конца. Мария Стюарт принадлежит к тому редкому, глубоко впечатляющему типу женщин, чья способность к бурным переживаниям как бы ограничена коротким сроком, к женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не постепенно, а словно сгорая в горниле одной-единственной страсти. До двадцати трех лет чувства ее все еще покоятся тихой заводью, да и потом, начиная с двадцати пяти, ни разу не всколыхнутся они бурным прибоем, и только в течение короткого двухлетия клокочет разбушевавшаяся стихия – так обычная, будничная судьба превращается в трагедию античного масштаба, великую и величаво развивающуюся трагедию, подобную «Орестее»[1]. Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагической фигурой, только под этим давлением поднимается она над собой, разрушая в неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только благодаря страсти, убившей в ней все человеческое, имя ее еще и сегодня живет в стихах и спорах.

Этой необычайной уплотненностью внутренней жизни, сведенной к единственному мгновенному взрыву, предуказаны форма и ритм всякого жизнеописания Марии Стюарт; задача художника – воспроизвести эту круто взлетающую и так же внезапно ниспадающую кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом, что таким большим отрезкам времени, как первые двадцать три года жизни, а также без малого двадцать лет заточения, здесь отведено столько же места, сколько двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит душе мерилом: по-своему, не как холодный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих часов. В опьянении чувств, блаженно

свободная от пут и благословенная судьбой, она может в кратчайший миг узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, отрешившись от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке взыграют его душевные силы, он истинно жив для себя и для других, только когда его душа раскалена и пылает, становится она зримым образом.

Действующие лица

Первое место действия – Шотландия (1542-1548)
Второе место действия – Франция (1548-1561)
Третье место действия – Шотландия (1561-1568)
Четвертое место действия – Англия (1568-1587)

Шотландия

Иаков V (1512-1542), отец Марии Стюарт.

Мария де Гиз Лотарингская (1515-1560), его супруга, мать Марии Стюарт.

Мария Стюарт (1542-1587).

Джеймс Стюарт, граф Меррейский (1533-1570), внебрачный сын Иакова V и Маргариты Дуглас, дочери лорда Эрскина, сводный брат Марии Стюарт, регент Шотландии до и после правления Марии Стюарт.

Генрих Дарнлей (Стюарт) (1546-1567), правнук Генриха VII по матери, леди Ленокс, племяннице Генриха VIII. Второй супруг Марии Стюарт, возведенный ею на шотландский престол.

Иаков VI (1566-1625), сын Марии Стюарт и Генриха Дарнлея. После смерти Марии Стюарт (1587) – полноправный шотландский король, после смерти Елизаветы (1603) – английский король Иаков I.

Джеймс Хепберн, граф Босуэлский (1536-1578), позднее герцог Оркнейский, третий супруг Марии Стюарт.

Уильям Мейтленд Летингтонский, государственный канцлер Марии Стюарт.

Джеймс Мелвил, дипломатический агент Марии Стюарт.

Джеймс Дуглас, граф Мортонский, после убийства Меррея – регент Шотландии, казнен в 1581 году.

Мэтью Стюарт, граф Ленокский, отец Генриха Дарнлея; обвинял Марию Стюарт в убийстве своего сына.

Аргайл, Аран, Мортон Дуглас, Эрскин, Гордон, Гаррис, Хантлей, Керколди Грейнджский, Линдсей, Мар, Рутвен – лорды, выступающие то как сторонники, то как противники Марии Стюарт; участники бесчисленных заговоров и междоусобиц, они почти все кончают жизнь эшафоте.

Мэри Битон, Мэри Флеминг, Мэри Ливингстон, Мэри Сетон – четыре Марии, сверстницы и подруги Марии Стюарт.

Джон Нокс (1505-1572), проповедник реформатской церкви, главный противник Марии Стюарт.

Давид Риччо, музыкант, секретарь Марии Стюарт, убит в 1566 году.

Пьер де Шателяр, французский поэт при дворе Марии Стюарт, казнен в 1563 году.

Джордж Бьюкенен, гуманист, воспитатель Иакова VI, автор наиболее злобных пасквилей на Марию Стюарт.

Франция

Генрих II (1518-1559), с 1547 года французский король.

Екатерина Медичи (1519-1589), его супруга.

Франциск II (1544-1560), его старший сын, первый супруг Марии Стюарт.

Карл IX (1550-1574), младший брат Франциска II, после его смерти король Франции.

Кардинал Лотарингский, Клод де Гиз, Франсуа де Гиз, Анри де Гиз – из дома Гизов.

Ронсар, Дю Белле, Брантом – авторы, прославлявшие Марию Стюарт в своих творениях.

Англия

Генрих VII (1457-1509), с 1485 года английский король, дед Елизаветы, прадед Марии Стюарт и Дарнлея.

Генрих VIII (1491-1547), его сын, правил с 1509 года.

Анна Болейн (1507-1536), вторая супруга Генриха VIII; обвиненная в нарушении супружеской верности, была казнена.

Мария I (1516-1558), вторая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, после смерти Эдуарда VI (1553) – английская королева.

Елизавета (1533-1603), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, при жизни отца считалась незаконнорожденной; после смерти своей сводной сестры Марии (1558) взошла на английский престол.

Эдуард VI (1537-1553), сын Генриха VIII от третьего брака в Джоанной Сеймур, ребенком обручен с Марией Стюарт, о 1547 года – король.

Иаков I, сын Марии Стюарт, преемник Елизаветы.

Уильям Сесил, лорд Берли (1520-1598), всемогущий государственный канцлер Елизаветы.

Сэр Фрэнсис Уолсингем, государственный секретарь и министр полиции.

Уильям Девисон, второй секретарь.

Роберт Дадлей, граф Лестерский (1532-1588), фаворит Елизаветы, предложенный ею в супруги Марии Стюарт.

Томас Хоуард, герцог Норфолкский, первый дворянин королевства, претендовал на руку Марии Стюарт.

Толбот, граф Шрусберийский, по поручению Елизаветы был стражем Марии Стюарт в течение пятнадцати лет.

Эмиас Паулет, последний тюремщик Марии Стюарт.

Палач города Лондона.

1. Королева-дитя (1542-1548)

Марии Стюарт не исполнилось и недели, когда она стала королевой Шотландской; так с первых же дней заявляет о себе изначальный закон ее жизни – слишком рано, еще не умея радоваться, приемлет она щедрые дары фортуны. В сумрачный день в декабре 1542 года, увидевший ее рождение в замке Линлитгау, отец ее, Иаков V, лежит в соседнем Фокленде на смертном одре. Тридцать один год королю, а он уже сломлен жизнью, устал от власти и борьбы. Истинный храбрец и рыцарь, жизнелюбец по натуре, он страстно почитал искусство и женщин и был любим народом. Нередко, одетый простолюдином, посещал он сельские праздники, танцевал и шутил с крестьянами, и отчизна еще долго хранила в памяти сложенные им песни и баллады. Но, злосчастный наследник злосчастного рода, он жил в смутное время в непокорной стране, и это решило его участь. Властный, наглый сосед Генрих VIII побуждает его насадить у себя реформацию[2], но Иаков V остается верен католицизму, и этим разладом пользуется шотландская знать, вечно впутывающая жизнерадостного, миролюбивого короля в войны и смуты. За четыре года до смерти, когда он искал руки Марии де Гиз, Иаков V уже хорошо понимал, что значит быть королем наперекор строптивым и хищным кланам. «Madame, – писал он ей с трогательной искренностью, – мне всего лишь двадцать семь лет, а жизнь уже тяготит меня, равно как и моя корона… Осиротев в раннем детстве[*], я был пленником честолюбивой знати; могущественный род Дугласов держал меня в неволе, и я ненавижу это имя и самую память о нем. Арчибалд, граф Энгасский, Джордж, его брат, и все их изгнанные родичи постоянно натравливают на нас английского короля, и нет у меня в стране дворянина, которого он не совратил бы бесчестными посулами и не подкупил золотом. Никогда не могу я быть уверен в своей безопасности, а равно и в том, что воля моя и справедливые законы выполняются. Все это страшит меня, madame, и от вас жду я поддержки и совета. Без всяких средств, пробавляясь лишь помощью французского короля да нещедрыми даяниями моего богатого духовенства, пытаюсь я украшать свои замки, подновлять крепости и строить корабли. Но мои бароны видят в короле, который хочет на деле быть королем, ненавистного соперника. Боюсь, что, невзирая на дружбу французского короля и поддержку его войск, невзирая на

преданность народа, мне не одолеть баронов. Я не отступил бы ни перед чем, чтобы проложить моей стране путь к справедливости и миру, и думаю, что преуспел бы, когда бы не было у моей знати могущественного союзника. Английский король неустанно разжигает меж нами вражду, и ереси, насаждаемые им в моем государстве, поражают все сословия вплоть до духовенства и простонародья. Единственной силою, на которую я и мои предки искони могли опереться, были горожане и церковь, и я спрашиваю себя: долго ли еще они будут нам опорой?»

Поистине это письмо Кассандры[3] – все его зловещие предсказания сбываются, да и многие другие, еще более тяжкие бедствия обрушиваются на короля. Оба сына, подаренные ему Марией де Гиз, умирают в колыбели, и у Иакова V в его лучшей поре все еще нет наследника короны, которая год от года вое более его тяготит. В конце концов непокорные бароны вовлекают его в войну с могущественной Англией, чтобы в критическую минуту предательски покинуть. У Солуэльского залива Шотландия узнала не только горечь, но и позор поражения[*] Войско, покинутое предводителями кланов, трусливо разбежалось, почти не оказав сопротивления, а король, мужественный рыцарь, в этот тяжкий час сражается не с чуждым врагом, а с собственной смертью. В Фокленде лежит он, измученный лихорадкой, утомленный постылой жизнью и бессмысленной борьбой.

В тот хмурый зимний день 9 декабря 1542 года, когда за окнами стоял непроницаемый туман, в ворота замка Фокленд постучал гонец. Он принес измученному, угасающему королю весть о том, что у него родилась дочь, наследница. Но в опустошенной душе Иакова V нет места радости и надежде. Почему не сын, не наследник?.. Обреченный смерти, видит он повсюду лишь несчастье, крушение и безысходное зло. «Женщина принесла нам корону, с женщиной мы ее утратим», – произносит он покорно. Это мрачное пророчество было его последним словом. Глубоко вздохнув, повернулся он к стене и больше ни на что не отзывался. Спустя несколько дней его предали земле, и Мария Стюарт, еще не научившись видеть мир, стала королевой.

Однако быть из рода Стюартов и притом шотландской королевой значило нести двойное проклятие, ибо ни одному из Стюартов не выпало на этом престоле счастливо и долго царствовать[4]. Двое королей – Иаков I и Иаков III – были умерщвлены, двое – Иаков II и Иаков IV – пали на поле брани, а двум их потомкам – этой еще несмышленой крошке и ее

кровному внуку Карлу I – судьба уготовила еще более страшную участь – эшафот. Никому из этого рода Атреева[5] не было дано достичь преклонных лет, никому не благоприятствовала судьба и звезды. Вечно воюют они с врагами внешними, врагами внутренними и с самими собой, вечно окружены смутой и носят смуту в себе. Их страна так же не знает мира, как не знают его они сами. Меньше всего могут они положиться на тех своих подданных, кто должен быть опорою трона, – на лордов и баронов, на все это мрачное и суровое, дикое и необузданное, алчное и воинственное, упрямое и своенравное племя рыцарей, – «un pays barbare et une gent brutelle»[*], как жалуется Ронсар, поэт, заброшенный в эту страну туманов[6]. Чувствуя себя в своих поместьях и замках маленькими королями, лорды и бароны гонят, точно убойный скот, подвластных им пахарей и пастухов в свои нескончаемые драки и разбойничьи набеги; неограниченные властители кланов, они не знают иной утехи, кроме войны. Их стихия – раздоры, их побуждение – зависть, все их помыслы о власти. «Золото и корысть – единственные сирены, чьих песен заслушиваются шотландские лорды, – пишет французский посол. – Учить их, что такое долг перед государем, честь, справедливость, благородные поступки, – значит лишь вызвать у них насмешку». Драчливые и хищные, как итальянские кондотьеры, но еще более необузданные и неотесанные в проявлении своих страстей, все эти древние могущественные кланы – Гордоны, Гамильтоны, Араны, Мейтленды, Крофорды, Линдсеи, Леноксы и Аргайлы – вечно грызутся между собой из-за первенства. То они ополчаются друг на друга в бесконечных усобицах, то клятвенно скрепляют в торжественных «бондах»[*] свои недолговечные союзы, сговариваясь против кого-то третьего, вечно сбиваются в шайки и клики, но ничем не связаны меж собой и, будучи все родственниками и свойственниками, на самом деле завистливые и непримиримые враги. В душе это все те же язычники и варвары, как бы они себя ни именовали, протестантами или католиками, – смотря по тому, что им выгоднее, – все те же правнуки Макбета и Макдуфа, кровавые таны, столь блистательно запечатленные Шекспиром.

Только в одном едина неукротимая завистливая свора – в борьбе против своего государя, короля, ибо всем им одинаково несносно послушание и незнакома верность. И если эта «кучка негодяев» – «parcel of rascals», как заклеймил их шотландец из шотландцев Бернс[7], – и терпит некое подобие власти над своими замками и прочим достоянием, то лишь из ревности одного клана к другому. Гордоны потому оставляют корону Стюартам, что боятся, как бы она не досталась Гамильтонам, а Гамильтоны –

лишь из ревности к Гордонам. Но горе шотландскому королю, вздумай он в своей пылкой, юношеской самонадеянности стать королем на деле, насаждать в стране порядок и добрые нравы и противостоять алчности лордов! Весь этот враждующий между собой сброд тотчас же по-братски сплотится, чтобы свергнуть своего государя; и коль не сладится у них дело мечом, то к их услугам надежный кинжал убийцы.

Трагическая, раздираемая бурными страстями, сумрачная и романтическая, как баллада, эта маленькая, обособленная, омытая морями страна на северной окраине Европы – к тому же еще и нищая, ибо ее истощают нескончаемые войны. Несколько городов – впрочем, какие же это города, – просто сбившиеся под защиту крепости лачуги! – не могут разбогатеть или даже достичь благосостояния. Их вечно грабят и жгут. Замки же аристократов, сумрачные и величавые развалины коих высятся и по сей день, ничем не напоминают настоящих замков, кичащихся своим великолепием и придворным блеском, эти неприступные крепости предназначались для войны – не для мирного гостеприимства. Между немногочисленными разветвленными аристократическими родами и их холопами отсутствовала столь необходимая государству благотворная сила деятельного среднего сословия. Единственная густонаселенная область между реками Твид и Ферт лежит слишком близко к английской границе, и набеги то и дело разоряют ее и опустошают. На севере можно часами бродить вокруг одиноких озер, по пустынным пастбищам или дремучим лесам, не встречая ни селения, ни замка, ни города. Деревни здесь не лепятся друг к другу, как в перенаселенных краях Европы: здесь нет широких дорог, несущих в страну торговлю и деловое оживление, ни пестрящих вымпелами рейдов, как в Голландии, Испании и Англии, откуда отплывают корабли, спеша в далекие океаны за золотом и пряностями; население еле-еле кормится, пробавляясь овцеводством, рыбной ловлей и охотой, как в дедовские времена; по своим обычаям и законам, по благосостоянию и культуре Шотландия той поры не меньше чем на столетие отстала от Англии и Европы. В то время как в портовых городах повсеместно возникают банки и биржи, здесь, словно в библейские дни, богатство измеряется количеством земли и овец. Все достояние Иакова V, отца Марии Стюарт, составляют десять тысяч овец. У него нет ни сокровищ короны, ни армии, ни лейб-гвардии для утверждения своей власти, ибо он не может их содержать, а парламент, где все решают лорды, никогда не предоставит королю действительных средств власти. Все, что есть у короля, помимо скудного пропитания, дарят ему богатые союзники –

Франция и папа; каждый ковер, каждый гобелен, каждый подсвечник в его дворцовых покоях и замках достался ему ценой унижения.

Неизбывная нищета, подобно гнойной язве, истощает политические силы Шотландии, прекрасной, благородной страны. Нужда и алчность ее королей, солдат и лордов делают ее игрушкой в руках иноземных властителей. Кто борется против короля и за протестантизм, тому платит Лондон; кто борется за католицизм и Стюартов, тому платят Париж, Мадрид и Рим; иностранные державы охотно покупают шотландскую кровь. Спор двух великих наций о первенстве все еще не решен, поэтому Шотландия – ближайшая соседка Англии – незаменимый партнер Франции в игре. Каждый раз, как английские войска вторгаются в Нормандию, Франция нацеливает этот кинжал в спину Англии, и воинственные скотты[*] немедленно переходят the border[*], угрожая своим auld enimies[*]. Но и в мирное время шотландцы – вечная угроза Англии. Поэтому укрепление военных сил Шотландии – первейшая забота французских политиков; Англия же, стравливая лордов и разжигая в стране мятежи, стремится подорвать эти силы. Так несчастная страна становится кровавым полем столетней войны, и только трагическая судьба еще несмышленого младенца окончательно решит этот спор.

Какой великолепный драматический символ: борьба начинается у самой колыбели Марии Стюарт! Младенец еще не говорит, не думает, не чувствует, он едва шевелит ручонками в своем конверте, а политика уже цепко хватает его нерасцветшее тельце, его невинную душу. Таков злой рок Марии Стюарт, вечно втянута она в эту азартную игру. Никогда не сможет она беззаботно отдаться влечениям своей натуры, постоянно ее впутывают в политические интриги, делают объектом дипломатических уловок, игрушкой чужих интересов, всегда она лишь королева или претендентка на престол, союзница или враг. Не успел гонец доставить в Лондон обе вести, что Иаков V скончался и что у него родилась дочь, наследная принцесса и королева Шотландии, как Генрих VIII Английский решает заручиться этой драгоценной невестой для своего малолетнего сына Эдуарда; еще несложившимся телом, еще дремлющей душой распоряжаются, как товаром. Но политика не считается с чувствами, она принимает в расчет только короны, государства и права наследования. Отдельный человек для нее не существует, он ничего не значит по сравнению с мнимыми и реальными целями всемирной игры. Правда, в этом конкретном случае намерение Генриха VIII обручить престолонаследницу Шотландии с престолонаследником Англии разумно и даже

гуманно. Непрерывная война между двумя братскими странами давно утратила всякий смысл. Перед народами Англии и Шотландии, живущими на одном острове, под защитой и угрозой одного моря, родственными по происхождению и условиям жизни, несомненно, стоит одна задача: объединиться. Природа на сей раз недвусмысленно явила свою волю. И только соперничество обеих династий Тюдоров и Стюартов препятствует выполнению задачи. Если бы удалось благодаря этому браку превратить спор в союз, общие потомки Стюартов и Тюдоров стали бы одновременно править Англией, Шотландией и Ирландией, и объединенная Великобритания могла бы отдать свои силы более сложной борьбе – за мировое первенство.

Но такова ирония судьбы: едва лишь в политике в виде исключения блеснет ясная, разумная идея, как ее искажают неумным исполнением. Сначала все идет как по маслу: сговорчивые лорды, которым щедро заплачено, охотно голосуют за брачный договор. Однако умудренный опытом Генрих VIII не удовлетворяется клочком пергамента. Ему слишком хорошо знакомы лицемерие и жадность этих благородных господ, и он понимает, что на них нельзя положиться и что за большую сумму они тут же перепродадут малютку королеву французскому дофину. А потому Генрих VIII требует от шотландских посредников в качестве первейшего условия немедленной выдачи ребенка. Но если Тюдоры не верят Стюартам, то Стюарты платят им тою же монетой; особенно противится договору королева-мать. Набожная католичка, дочь Гизов[8] не хочет отдать свое дитя вероотступникам и еретикам, а кроме того, не требуется большой проницательности, чтобы обнаружить в договоре опасную ловушку. Особым, секретным пунктом посредники обязались в случае преждевременной смерти ребенка содействовать тому, чтобы «вся полнота власти и управление королевством» перешли к Генриху VIII. Тут есть над чем задуматься! От человека, который уже двух жен отправил на эшафот[*], всего можно ждать: в своем нетерпении завладеть желанным наследством он еще, пожалуй, постарается, чтобы ребенок умер поскорей – и не своею смертью; поэтому заботливая мать отклоняет требование о выдаче малютки Лондону. Сватовство едва не приводит к войне. Генрих VIII посылает войска, чтобы захватить драгоценный залог, и отданный по армии приказ красноречиво говорит об откровенной бесчеловечности века: «Его Величество повелевает все предать огню и мечу. Спалите Эдинбург дотла и сровняйте с землей, как только вынесете и разграбите все, что возможно… Разграбьте Холируд и столько городов и сел вокруг Эдинбурга, сколько встретите на

пути; отдайте на поток и разграбление Лейт и другие города, а где наткнетесь на сопротивление, без жалости истребляйте мужчин, женщин и детей».

Как гунны, вторглись вооруженные орды Генриха VIII в Шотландию. Но мать и дитя своевременно укрылись в укрепленном замке Стирлинг, и Генриху VIII пришлось удовольствоваться договором, по которому Шотландия обязалась выдать Марию Стюарт Англии (вечно ее продают и покупают, как товар!) в день, когда ей исполнится десять лет.

Казалось бы, все уладилось к общему удовольствию. Но политика во все времена была наукой парадоксов. Ей чужды простые, разумные и естественные решения: создавать трудности – ее страсть, сеять вражду – ее призвание. Вскоре католическая партия пускается в интриги, выясняя исподтишка, не выгоднее ли сбыть дитя – оно еще только лепечет и улыбается – французскому дофину, а после смерти Генриха VIII никто уже и не думает о выполнении договора. Но теперь выдачи малютки невесты от имени малолетнего короля Эдуарда требует английский регент Соммерсет, и, так как Шотландия противится, он опять посылает войска, ибо с лордами можно говорить только на одном языке – языке силы. Десятого сентября 1547 года в битве – вернее, бойне – при Пинки шотландская армия была разбита наголову, более десяти тысяч трупов усеяли поле брани. Марии Стюарт не исполнилось и пяти лет, а из-за нее уже рекой льется кровь.

Перед англичанами лежит беззащитная Шотландия. Но в разграбленной стране нечего взять: Тюдоров же интересует единственное сокровище – ребенок, олицетворяющий корону и преемство трона. Однако, к великому огорчению английских шпионов, Мария Стюарт неожиданно и бесследно исчезла из замка Стирлинг; даже наиболее приближенные лица не знают, куда спрятала ее королева-мать. Новый надежный тайник выбран превосходно: ночью преданные слуги под строжайшим секретом отвозят ребенка в монастырь Инчмэхом, укрывшийся на небольшом островке посреди озера Ментит – «dans les pays des sauvages»[*], как сообщает французский посол. Ни одна тропка не ведет в заповедные места; драгоценный груз доставляют в лодке на остров и там поручают заботам благочестивых иноков, никогда не покидающих обитель. Здесь, в надежном убежище, вдали от беспокойного, взбаламученного мира, живет, ничего не ведая, невинное дитя, меж тем как дипломатия, раскинув свои сети над морями и странами, усердно занимается его судьбой. Ибо на арену, угрожая, выступает Франция, чтобы не дать Англии полностью подчинить себе Шотландию. Генрих II, сын Франциска I, посылает в Шотландию сильную эскадру, и генерал-лейтенант

французского вспомогательного корпуса просит от его имени руки Марии Стюарт для малолетнего дофина Франциска. Политический ветер, резко и порывисто задувший из-за пролива, круто повернул судьбу ребенка: вместо того чтобы сделаться английской королевой, маленькая дочь Стюартов внезапно предназначена в королевы Франции. Едва лишь новое и более выгодное соглашение заключено, как седьмого августа драгоценный объект сделки, девочку Марию Стюарт пяти лет восьми месяцев от роду, сажают на корабль и отвозят во Францию, запродав другому, столь же незнакомому супругу. Вновь – и не в последний раз – чужая воля определяет и изменяет ее судьбу.

Неведение – великое преимущество детства. Что знает трехлетнее, четырехлетнее, пятилетнее дитя о войне и мире, о битвах и договорах? Что ему Франция или Англия, Эдуард или Франциск, что ему неистовое безумие, охватившее мир? Длинноногая девочка с развевающимися белокурыми локонами бегает и резвится в мрачных и светлых покоях замка вместе с четырьмя своими сверстницами-подружками. Ибо ей – чудесная идея в столь варварский век – отобрали среди лучших семейств Шотландии четырех подруг, ее однолеток: Мэри Флеминг, Мэри Битон, Мэри Ливингстон и Мэри Сетон. Дети, как и она, они сегодня весело играют с малюткой королевой, завтра они разделят ее одиночество на чужбине, чтобы чужбина не казалась ей совсем уж чужой, позднее сделаются ее придворными дамами и однажды, в особенно задушевную минуту, поклянутся выйти замуж не раньше, чем их госпожа изберет себе супруга. И если три из них покинут королеву в несчастье, то одна последует за ней и в изгнание и пребудет ей верна до самого смертного часа; так отблеск блаженного детства озарит и ее последние, страшные минуты. Пока же пять девочек весело играют изо дня в день то в замке Холируд, то в замке Стирлинг, не задумываясь о таких вещах, как королевское достоинство и величие, ведущее к опасной гордыне. Но однажды вечером маленькую Марию поднимают с постели, в сумраке ночи на озере ждет лодка, чтобы отвезти ее на тихий, благостный остров – Инчмэхом зовут его, что значит «мирная обитель». Какие-то незнакомые люди, одетые не так, как все, в черных широких развевающихся рясах, приветствуют ее. Добрые и кроткие, они чудесно поют в высоком зале с цветными окнами, и девочка быстро привыкает к ним. Но вскоре ее опять увозят вечером (и не однажды придется Марии Стюарт бежать под покровом ночи от одной судьбы к другой); и вот она на высоком корабле со скрипящими мачтами и белыми

парусами; кругом чужие солдаты и бородатые матросы. Но маленькая Мария не боится. Все они добры и ласковы с ней; семнадцатилетний сводный брат Джеймс, один из многочисленных бастардов Иакова V, рожденных до его брака, гладит ее пушистые белокурые волосы, да и четыре Марии, ее любимые подружки, тоже с нею. Пять девочек, радуясь новым впечатлениям, как радуются дети всякой перемене, резвятся меж пушками французского военного судна и закованными в латы моряками. А высоко на марсе матрос опасливо вглядывается в даль; он знает: по проливу курсирует английский флот в надежде захватить невесту английского короля, пока она не стала нареченной французского дофина. Но ребенок видит только то, что рядом и что ему ново; он видит: море синее, люди добрые, и корабль, фыркая, как исполинский зверь, прокладывает себе в волнах дорогу.

Тринадцатого августа галеон входит в Росков, небольшой портовый город близ Бреста. Шлюпки пристали к берегу, и, по-детски радуясь чудесному приключению, беспечная, шаловливая шестилетняя королева Шотландская спрыгнула на французскую землю. На этом кончается пора ее детства, начинается пора обязанностей и испытаний.

2. Юность во Франции (1548-1559)

Французский двор – великий знаток благородных обычаев, ему до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой этикетом. Кто-кто, а уж Генрих II Валуа доподлинно знает, с какими почестями должно встречать нареченную дофина. Еще до ее прибытия подписывает он указ о том, чтобы маленькую королеву Шотландскую – la reinette – приветствовали на ее пути по всем градам и весям так почтительно, как если бы то была его родная дочь. Уже в Нанте Марию Стюарт ждут восхитительные знаки внимания. Мало того что на всех площадях воздвигнуты арки с классическими эмблемами, со статуями языческих богинь, нимф и сирен; придворной свите для пущего веселья не жалеют отменного вина. Щедро палят из пушек и жгут фейерверки; впереди малютки королевы выступает крошечное войско – сто пятьдесят мальчиков в белоснежной одежде с трубами и барабанами, с миниатюрными пиками и алебардами – своего рода почетный эскорт. И так из города в город, нескончаемой вереницей празднеств следует она до Сен-Жерменского дворца. Здесь шестилетняя девочка впервые встречает своего нареченного, которому не исполнилось еще и пяти лет, и хилый, бледный, рахитичный мальчик – ему на роду написана хворость и ранняя могила, ибо в жилах у него течет отравленная кровь, – смущенно и робко приветствует свою «невесту». Тем радушнее принимают ее остальные члены королевской фамилии, очарованные ее детской прелестью, а восхищенный Генрих II называет ее в письме «La plus parfayt enfant que je vys jamés»[*].

Французский двор в эти годы – один из самых блестящих и пышных в мире. Только что миновало мрачное средневековье, и последние романтические отблески умирающего рыцарства еще озаряют поколение переходной эпохи. По-прежнему сила и храбрость проявляют себя в стародавних суровых и мужественных потехах: охоте, игрищах, турнирах, приключениях, войне, но в высших кругах общества уже одерживает верх духовное начало; гуманизм завоевывает вслед за монастырями и университетами и королевские замки. Из Италии во Францию в победном шествии проникают излюбленный папами культ роскоши, характерное для Ренессанса тяготение к духовно-чувственным наслаждениям, увлечение изящными искусствами; в это историческое мгновение здесь возникает новый идеал, единственное в своем роде сочетание силы и красоты, беспечности и отваги – высокое

искусство презирать смерть и в то же время страстно любить жизнь. Естественнее и свободнее чем где бы то ни было объединяются во французском характере горячий темперамент с беззаботной легкостью, галльская chevalerie[*] чудесным образом гармонирует с классической культурой Ренессанса. От дворянина наравне с умением, облачившись в тяжелые доспехи, стремительно атаковать противника на турнире, требуется и безукоризненное выполнение замысловатых танцевальных фигур, он должен постичь как суровую науку войны, так и галантные законы придворной куртуазии; одна и та же рука должна разить тяжелым двуручным мечом, чувствительно играть на лютне и писать сонеты даме сердца. Сочетать в себе полярные противоположности – силу и нежность, суровость и изысканность, быть равно оснащенным для боя и для духовного поединка – вот идеал того времени. Днем король и его дворяне на взмыленных скакунах носятся в погоне за оленями и вепрями и скрещивают мечи и копья на турнирах, а вечерами кавалеры и знатные дамы собираются в заново отделанных с небывалой роскошью дворцах – Лувре, Сен-Жермене, Блуа и Амбуазе – для изысканных развлечений. При дворе читают стихи, поют мадригалы, музицируют, возрождают в маскарадах дух античности. Множество красивых, нарядных женщин, творения таких поэтов и художников, как Ронсар, Дю Белле[9] и Клуэ[10], сообщают двору невиданную красочность и жизнерадостность, с небывалой щедростью проявляющиеся во всех областях искусства и жизни. Как и вся Европа накануне злосчастных религиозных войн[*], Франция той поры стоит перед великим расцветом культуры.

Тот, кому предстоит жить при таком дворе, а тем более царить в нем, должен отвечать этим новым культурным запросам. Он должен стремиться овладеть всеми искусствами и знаниями, совершенствуя свой ум, равно как и свое тело. Навсегда послужит к чести гуманизма, что от тех, кто готовил себя к власти, он требовал знакомства со всеми видами искусства. Пожалуй, никогда еще не уделялось столько внимания безукоризненному воспитанию не только мужчин высшего сословия, но и женщин – этим открывалась новая эра. Как и Мария Английская и Елизавета, изучает Мария Стюарт классические языки – греческий и латынь, а также современные – итальянский, английский, испанский. Благодаря острому, живому уму и унаследованному предрасположению ко всему изящному одаренной девочке все дается шутя. Уже тринадцати лет, изучив латынь по «Беседам» Эразма[11], она в Лувре перед всем двором произносит речь собственного сочинения, и ее дядя, кардинал Лотарингский, с гордостью сообщает матери, Марии де Гиз: «Душевное величие,

красота и мудрость вашей дочери столь возросли и возрастают с каждым днем, что она уже сейчас владеет в совершенстве всеми славными и благородными науками, и ни одна из дочерей дворянского или иного сословия в этом королевстве не может с ней сравниться. Я счастлив сообщить Вам, что король очень к ней привязан, иногда он более чем по часу беседует с ней одной, и она так умеет занять его разумными и здравыми речами, как впору и двадцатипятилетней!»

И в самом деле, умственно Мария Стюарт развилась необычайно рано. Она в короткое время настолько овладела французским, что пробует свои силы и в стихах, достойно отвечая на хвалебные оды таких поэтов, как Ронсар и Дю Белле; и не только в придворной игре «на случай» тешит она муз, нет, в самые горькие минуты юная королева, полюбившая поэзию и полюбившаяся поэтам, изливает свои чувства в стихах. Впрочем, тонкий вкус проявляется у нее и в других искусствах: она очаровательно поет, аккомпанируя себе на лютне, и покоряет всех танцами; ее вышивки говорят не только об умении, но и одаренности; она и одевается с отменным вкусом, без той помпезной роскоши, какою чванится Елизавета, щеголяющая в своих широчайших робах, – Мария Стюарт одинаково мила и естественна и в пестрой шотландской юбочке и в торжественном одеянии. Такт и чувство прекрасного у нее природные, а свою величественную, ничуть не театральную осанку – источник поэтического очарования, прославившего ее в веках, – дочь Стюартов сохранит и в самые тяжкие минуты, как драгоценное наследие королевской крови и княжеского воспитания. Но и в телесных упражнениях – неутомимая наездница, страстная охотница, искусный игрок в мяч – она едва ли уступает самым закаленным атлетам этого рыцарственного двора; ее стройное тело отроковицы, при всей своей грации, не знает усталости. Самозабвенно и радостно, блаженно и беззаботно припадает она ко всем источникам романтической юности, не подозревая, что величайшее счастье своей жизни она уже исчерпала без остатка. Вряд ли в ком рыцарско-романтический идеал женщины французского Ренессанса нашел более совершенное воплощение, чем в этой жизнерадостной и пылкой принцессе.

Но не только музы – и боги благословили ее колыбель. Душевные совершенства сочетаются у Марии Стюарт с необычайным телесным очарованием. Едва ребенок стал девушкой, женщиной, как поэты наперебой спешат воспеть ее красоту. «На пятнадцатом году красота ее воссияла, как свет яркого дня», – возглашает Брантом[12], и еще более пламенно –

Дю Белле:

En vôtre esprit le ciel s’est surmonté
Nature et art ont vôtre beauté
Mis tout le beau dont la beauté s’assemble.

Чтобы, как в зеркале, обворожая нас,[*]
Явить нам в женщине величие богини,
Жар сердца, блеск ума, вкус, прелесть форм и линий,
Вас людям небеса послали в добрый час.

Природа, захотев очаровать наш глаз
И лучшее затмить, что видел мир доныне,
Так много совершенств собрав в одной картине,
Все мастерство свое вложила щедро в вас.

Творя ваш светлый дух, бог превзошел себя.
Искусства к вам пришли, гармонию любя,
Ваш облик завершить, прекрасный от природы,

И музой дар певца мне дан лишь для того,
Чтоб сразу в вас одной, на то не тратя годы,
Воспел я небеса, природу, мастерство.

Лопе де Вега восторженно слагает ей гимны: «Звезды даровали ее глазам свой нежнейший блеск, а ланитам – краски, придающие ей столь удивительную прелесть». После смерти Франциска Ронсар вкладывает в уста его брата Карла IX следующие строки, исполненные почти завистливого восхищения:

Avoir joui d’une telle beauté
Sein contre sein, valoit ta royauté.

Кто грудь ее ласкал, забыв на ложе сон,
За эту красоту отдаст, не дрогнув, трон.

Дю Белле как бы суммирует все похвалы, расточаемые Марии Стюарт во многих описаниях и стихах, восторженно восклицая:

Contentez vous yeux,
Vous ne verrez jamais une chose pareille.

Глядите на нее, мои глаза, –

Нет больше в мире красоты подобной.

Но ведь поэты – заведомые льстецы, а особенно придворные пииты, когда они прославляют свою властительницу; с тем большим интересом вглядываемся мы в ее портреты той поры, зная, что залогом их достоверности служит мастерская кисть Клуэ, и хоть не испытываем разочарования, однако и не разделяем и чрезмерных восторгов. Перед нами не блистательная, а скорее пикантная красота: милый нежный овал, которому чуть заостренный нос придает легкую неправильность, сообщающую женскому лицу какое-то особое очарование. Мягкие темные глаза с поволокой загадочно мерцают, безмятежные губы затаили еще неведомую тайну; поистине природа не пожалела для этой принцессы драгоценнейших своих материалов, подарив ей изумительно белую с матовым отливом кожу, густые пепельные волосы, прихотливо перевитые жемчужными нитями, длинные, тонкие, белоснежные пальцы, стройный, гибкий стан, «…dont le corsage laissait entrevoir la neige de sa poitrine et dont le collet relevé droit decouvrait le pur modelé de ses èpaules»[*].

В этом лице не найдешь изъяна, но именно холодная безупречная красота лишает его всякой характерности. Глядя, на портрет этой прелестной девушки, вы ничего о ней не узнаете, да и сама она ничего толком о себе не знает. В ее лице еще не видна женщина – приветливо и ласково глядит на вас хорошенькая кроткая институтка.

Об этой незрелости, этой душевной спячке свидетельствуют, несмотря на велеречивые восторги, и устные отзывы. Превознося изысканные манеры, блестящее воспитание, примерное усердие и светский такт Марии Стюарт, все они характеризуют ее лишь как первую ученицу. Мы узнаем, что она прилежно учится и любезна в разговоре, что она почтительна и набожна и отличается во всех искусствах и играх, не выказывая особого расположения к чему-либо определенному, что она усердно и послушно овладевает всей разнообразной программой, предписанной невесте короля. Но все восхищаются лишь ее безличными, светскими качествами; о человеке, о характере никто ничего не сообщает, и это показывает, что все своеобразное, существенное в ней скрыто от постороннего глаза – просто потому, что ее душа еще не расцвела. И еще долгие годы блестящее воспитание и светский лоск принцессы будут скрывать силу страсти, на какую окажется способна женщина, когда все существо ее раскроется, всколыхнувшись до заветных глубин. От чистого лба веет холодом; приветливо и нежно улыбается рот; грезят и ищут

темные глаза, устремленные пока лишь во внешний мир, еще не заглянувшие в собственную душу: никто не знает – Мария Стюарт сама не знает о роковом наследии в своей крови и таящихся в нем опасностях. Только страсти дано сорвать покров с женской души, только через любовь и страдание вырастает женщина в полный свой рост.

Многообещающее развитие девочки, в которой видна уже будущая королева, приводит к тому, что со свадьбой торопятся, назначая ее раньше срока; даже и тут стрелки на часах жизни Марии Стюарт бегут быстрее, чем у ее сверстниц. Нареченному едва минуло четырнадцать лет, к тому же бледный, тщедушный мальчик слаб здоровьем, но политика в этом случае нетерпеливее природы, она не хочет и не может ждать. Французский двор потому так подозрительно и спешит с завершением брачной сделки, что ему хорошо известна хилость и пагубная болезненность принца, о которой докладывают озабоченные врачи. Для Валуа главное в этом браке – обеспечить себе шотландскую корону; вот почему обоих детей с такой поспешностью тащат к алтарю. По брачному договору, составленному вместе с посланцем шотландского парламента, дофин получает «the matrimonial crown» – корону соправителя Шотландии; но одновременно Гизы, родственники Марии Стюарт, втихомолку вымогают у пятнадцатилетней Марии, которая не ведает, что творит, и другой документ, неизвестный шотландскому парламенту; Мария Стюарт обязуется в нем на случай преждевременной смерти или за отсутствием наследников отписать свою страну по духовной, словно это ее личное владение, а также и свои наследственные права на английский и ирландский престол – французской короне.

Разумеется, этот акт – недаром его подписывают так секретно – недобросовестный маневр. Мария Стюарт не вправе произвольно менять условия преемства, завещать свое отечество чужеземной династии, как плащ или другое личное имущество; но дядья понуждают беспечную руку подписать его. Трагический символ: первая подпись, выведенная Марией Стюарт на политическом документе под давлением своих родичей, становится вместе с тем и первой ложью этой глубоко искренней, доверчивой, открытой натуры. Чтобы стать королевой и пребыть королевой, ей уже нельзя будет держаться правды: человек, который закабалился политике, больше себе не принадлежит и подчиняется иным законам, нежели священные законы сердца.

Эти тайные махинации скрыты от мира великолепным

зрелищем, свадебных торжеств. Уже свыше двухсот лет ни один французский дофин не сочетался браком у себя на родине, и двор Валуа считает долгом потешить свой неизбалованный народ неслыханно пышным празднеством. У Екатерины из дома Медичи сохранились в памяти картины торжественных шествий Ренессанса, которые устраивались в Италии по эскизам известных художников: затмить эти красочные воспоминания детства торжественной свадьбой своего отпрыска – для нее дело чести. В этот день, 24 апреля 1558 года, праздничный Париж становится столицею мира. Перед Нотр-Дам воздвигается открытый павильон с балдахином голубого кипрского шелка, затканного золотыми лилиями, к нему ведет такой же расшитый лилиями ковер. Впереди процессии выступают музыканты в красной и желтой одежде, они играют на различных инструментах, а за ними под ликование восторженных толп следует, сверкая драгоценными уборами, королевский кортеж. Венчание совершается всенародно, тысячи, десятки тысяч глаз устремлены на невесту бледного, чахлого мальчика, изнемогающего под тяжестью своего великолепия. Придворные пииты, конечно, и на сей раз не упускают случая воспеть в восторженных хвалах красоту невесты. «Она предстала перед нами, – в экстазе повествует Брантом, обычно охотнее рассказывающий свои галантные анекдоты, – во сто крат прекраснее, чем небесная богиня», – и возможно, что в зените счастья эта до страсти честолюбивая женщина действительно излучала особое обаяние. В тот час юная цветущая девушка, со счастливой улыбкой кивавшая толпе, вкушала, быть может, величайшее торжество своей жизни. Рядом с первым принцем Европы, в сопровождении блестящей свиты проезжает Мария Стюарт по улицам, до самых крыш гремящим приветственными кликами, – никогда больше подобный прибой богато разодетых, восторженных и ликующих толп не будет кипеть у ее ног. Вечером во Дворце юстиции устраивается открытый банкет, и восхищенные парижане теснятся вокруг, пожирая глазами юную деву, принесшую Франции вторую корону. Знаменательный день завершается балом, для которого художники не пожалели хитрых выдумок. Шесть раззолоченных кораблей с парусами из серебряной парчи, влекомые невидимыми машинистами, словно покачиваясь на бурных волнах, вплывают в зал. В каждом сидит разодетый в золото, скрывшийся под узорчатою маскою принц и грациозным жестом приглашает к себе одну из дам королевской фамилии: Екатерину Медичи – королеву, Марию Стюарт – наследницу престола, королеву Наваррскую и принцесс – Елизавету, Маргариту и Клод. Это представление должно символизировать счастливое плавание по

волнам жизни, полной роскоши и блеска. Но человеку не дано управлять судьбой: после этого единственно беззаботного дня жизненный корабль Марии Стюарт поплывет к иным, опасным берегам.

Первая опасность подкралась неожиданно. Мария Стюарт – давно уже коронованная владычица Шотландии, к тому же le Roi Dauphin, французский наследник, возвел ее в сан своей супруги, и, значит, над ее головой сверкает вторая, еще более драгоценная корона. Но тут судьба шлет ей пагубное искушение, поманив еще и третьей короной, и Мария Стюарт с детской непосредственностью, в ослеплении, не получив своевременного мудрого остережения, потянулась к ней, прельщенная ее коварным блеском. В тот самый 1558 год, когда она стала супругой французского наследника, скончалась Мария, королева Английская, и на престол вступила ее сводная сестра Елизавета. Но действительно ли Елизавета – законная наследница престола? У женолюбивого Генриха VIII[13] – Синей бороды – было трое детей: сын Эдуард и две дочери, Мария – от брака с Екатериной Арагонской и Елизавета – от брака с Анной Болейн. После скоропостижной смерти Эдуарда Мария, как старшая и рожденная в неоспоримо законном браке, стала наследницей престола. Но она умирает бездетной; является ли теперь законной наследницей Елизавета? Да, утверждают юристы английской короны, ибо епископ скрепил брак Генриха VIII и Анны Болейн, а папа признал его. Нет, утверждают юристы французской короны, ибо Генрих VIII впоследствии объявил свой брак с Анной Болейн недействительным, а Елизавету – особым парламентским указом – незаконнорожденной. Если это так, а на том стоит весь католический мир, то, как бастард, Елизавета не может взойти на английский престол, и притязать на него вправе не кто иной, как правнучка Генриха VII – Мария Стюарт.

Итак, шестнадцатилетней неопытной девочке выпало принять решение всемирно-исторической важности. Перед Марией Стюарт два пути. Она может проявить уступчивость и политичность и признать свою кузину Елизавету правомочной королевой Англии, отказаться от своих притязаний, ибо защитить их можно лишь с оружием в руках. Или же она может смело и решительно обвинить Елизавету в захвате короны и призвать к оружию французскую и шотландскую армии для свержения узурпаторши. Роковым образом Мария Стюарт и ее советчики избирают третий, самый пагубный в политике, средний путь. Вместо сильного, решительного удара французский двор лишь хвастливо замахивается на Елизавету: по приказу Генриха II дофин и его супруга вносят в свой герб английскую корону, а Мария Стюарт

официально и в документах титулуется «Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hiberniae»[*].

Таким образом, притязание заявлено, но никто его не отстаивает. С Елизаветой не воюют, ее лишь дразнят. Вместо решительных действий огнем и мечом бессильный жест: перед Елизаветой потрясают размалеванной деревяшкой и исписанным клочком бумаги. Создается нелепое положение: Мария Стюарт и претендует на английский престол и не претендует. О ее притязаниях то молчат, то вдруг извлекают их из-под спуда. Так, на требование Елизаветы воротить ей по договору Кале Генрих II отвечает: «В таком случае Кале следует передать супруге дофина, королеве Шотландской, которую все мы почитаем законной королевой Англии». Однако тот же Генрих II и пальцем не пошевелил, чтобы защитить притязания своей невестки; он и сейчас продолжает вести переговоры с так называемой узурпаторшей, как с равноправной монархиней.

Своим нелепым ребяческим жестом, своим тщеславно намалеванным гербом Мария Стюарт так ничего и не добилась, а погубила все. У каждого в жизни бывают ошибки, которые никогда и ничем не исправишь. Так случилось и с Марией Стюарт: политическая бестактность, совершенная в отрочестве, и скорее из упрямства и тщеславия, чем по обдуманному решению, приводит ее к гибели, ибо, нанеся подобное оскорбление могущественнейшей женщине Европы, она наживает в ней непримиримого врага. Истинная властительница может многое стерпеть и простить, но только не сомнение в своем праве на власть. Естественно, что с этой минуты Елизавета рассматривает Марию Стюарт как опаснейшую соперницу, как тень за своим троном. Отныне, что бы ни говорили и ни писали друг другу обе королевы, все будет притворством и ложью, попыткой замаскировать тайную вражду; но эту трещину ничем уже не закроешь. В политике, как и в жизни, полумеры и влияние причиняют больше вреда, нежели энергичные и решительные действия. Всего лишь символически вписанная в герб Марии Стюарт английская корона будет стоить больше крови, чем пролилось бы ради настоящей короны в настоящей войне. Открытая борьба раз и навсегда внесла бы в дело полную ясность, тогда как подспудная, лукавая борьба постоянно возобновляется, отравляя обеим женщинам жизнь и власть.

Роковой герб с английскими регалиями фигурирует также на турнире по случаю мира, заключенного в Като-Камбрези[14]: в июле 1559 года его горделиво несут для общего обозрения перед le Roi Dauphin et la Reine Dauphine. Рыцарственный король Генрих

II не упускает случая преломить копье pour l'amour des dames[*], и каждый понимает, какую даму он имеет в виду: красавицу Диану де Пуатье[*], горделиво взирающую из ложи на своего царственного возлюбленного. Но безобидная игра внезапно превращается в нечто крайне серьезное. Этому поединку суждено решить судьбу истории. Капитан шотландской лейб-гвардии Монтгомери, чье копье уже раскололось, так неловко хватил древком своего противника – короля, что ранил его в глаз, и король замертво упал с коня. Рану поначалу считают неопасной, но король так и не приходит в себя; охваченные ужасом, стоят у ложа умирающего члены его семьи. Несколько дней могучий организм храброго Валуа борется со смертью, и наконец десятого июля сердце его перестает биться.

Французский двор и и минуты глубокой скорби чтит обычай, как высшего своего властелина. Когда королевская фамилия покидала замок, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, вдруг замедлила шаг у порога: с этого часа, сделавшего ее вдовой, первое место при дворе принадлежит женщине, которую этот же час возвел на трон Франции. Трепетным шагом, смущенная и растерянная, переступает Мария Стюарт порог – супруга нового французского короля проходит мимо вчерашней королевы. Этим единственным шагом семнадцатилетняя отроковица опередила всех своих сверстниц, достигнув высшей ступени власти.

3. Вдовствующая королева и все же королева (июль 1560 – август 1561)

Ничто так резко не повернуло линию жизни Марии Стюарт в сторону трагического, как та коварная легкость, с какою судьба вознесла ее на вершину земной власти. Ее стремительное восхождение напоминает взлет ракеты: шести дней – королева Шотландии, шести лет – нареченная одного из могущественнейших принцев Европы, семнадцати – королева Французская, она уже в зените власти, тогда как ее душевная жизнь еще, в сущности, и не начиналась. Кажется, будто все сыплется на нее из неисчерпаемого рога изобилия, ничто не приобретено собственными силами, не завоевано собственной энергией; здесь нет ни трудов, ни заслуг, а только наследие, дар, благодать. Как во сне, где все проносится в летучей многоцветной дымке, видит она себя то в подвенечных, то в коронационных одеждах, и, раньше чем этот преждевременный расцвет может быть воспринят прозревшими чувствами, весна отцвела, развеялась, миновала, и королева просыпается ошеломленная, растерянная, обманутая, ограбленная. В возрасте; когда другие лишь начинают желать, надеяться, стремиться, она уже познала все радости триумфа, так и не успев душевно ими насладиться. Но в этой скороспелости судьбы кроется, как в зерне, и тайна гложущего ее беспокойства, ее неудовлетворенности; кто так рано был первым в стране, первым в мире, уже не сможет примириться с ничтожной долею. Только слабые натуры покоряются и забывают, сильные же мятутся и вызывают на неравный бой всесильную судьбу.

И в самом деле: промелькнет, как сон, короткая пора ее правления во Франции, как быстрый, беспокойный, тягостный и тревожный сон. Реймский собор, где архиепископ венчает на царство бледного больного мальчика и где прелестная юная королева, украшенная всеми драгоценностями короны, сияет среди придворных, как стройная грациозная полурасцветшая лилия, дарит, ей один лишь сверкающий миг, в остальном летописцы не сообщают ни о каких празднествах и увеселениях. Судьба не дала Марии Стюарт времени создать грезившийся ей двор трубадуров, где процветала бы поэзия и все искусства, ни живописцам времени запечатлеть на полотне монарха и его

прелестную супругу в царственных одеждах, ни летописцам – обрисовать ее характер, ни народу – познакомиться со своими властителями, а тем более их полюбить; словно две торопливые тени, гонимые суровым ветром, проносятся эти детские фигуры в длинной веренице французских королей.

Ибо Франциск II болен и с самого рождения обречен ранней смерти, как меченное лесником дерево. Робко смотрят усталые, с тяжелыми веками глаза, словно испуганно открывшиеся со сна на бледном одутловатом лице мальчика, чей внезапно начавшийся и потому неестественно быстрый рост еще больше подрывает его силы. Постоянно кружат над ним врачи и настойчиво советуют беречь себя. Но в душе этого полуребенка живет мальчишески честолюбивое стремление ни в чем не отставать от стройной, крепкой своей подруги, страстно приверженной охоте и спорту. Чтобы казаться здоровым и мужественным, он принуждает себя к бешеной скачке и непосильным физическим упражнениям: но природу не обманешь. Его отравленная, неизлечимо вялая кровь – проклятое дедовское наследие – словно нехотя течет по жилам; подверженный приступам лихорадки, он осужден в ненастную погоду томиться в четырех стенах, изнывая от страха, нетерпения и усталости, жалкая тень, вечно окруженная заботой бесчисленных врачей. Такой незадачливый король внушает придворным скорее жалость, чем уважение, в народе же, напротив, ползут зловещие слухи, будто он болен проказой и, чтобы исцелиться, купается в крови свежезарезанных младенцев; угрюмо, исподлобья глядят крестьяне на хилого мальчика, с безжизненной миной проезжающего мимо них на рослом скакуне; что же до придворных, то, опережая события, они предпочитают толпиться вокруг королевы-матери Екатерины Медичи и престолонаследника Карла. Слабым, безжизненным рукам трудно удержать бразды правления; время от времени мальчик выводит корявым, нетвердым почерком свою подпись «François» под указами и актами, на деле же правят Гизы, родичи Марии Стюарт, а он только борется за то, чтобы уберечь в себе гаснущее здоровье и жизнь.

Счастливым супружеством – если это было супружество – подобное вынужденное затворничество и вечные опасения и тревоги не назовешь. Но ничто не говорит и о том, что эти, в сущности, дети не ладили меж собой: даже злоязычный двор, давший Брантому материал для его «Vie des dames galantes»[*], не находит оснований обвинять или заподозрить Марию Стюарт в чем-либо предосудительном; еще задолго до того, как соображения государственной пользы соединили их перед алтарем, Франциск и Мария Стюарт были товарищами детских

игр, и вряд ли в отношениях юной четы эротическое играло заметную роль; пройдут годы, прежде чем в Марии Стюарт вспыхнет способность к самозабвенной любви, и, уж во всяком случае, не Франциску, изнуренному лихорадкой юнцу, дано было пробудить эту сдержанную, замкнувшуюся в себе натуру. Конечно, Мария Стюарт с ее добрым, жалостливым сердцем, и мягким, незлобивым характером заботливо ходила за больным супругом; ведь если не чувство, то разум подсказывал ей, что блеск и величие власти зависят для нее от дыхания и пульса бедного хилого мальчика и что, оберегая его жизнь, она защищает и свое счастье. Да, в сущности, недолгая пора их правления и не давала простора для безмятежного счастья; в стране назревает восстание гугенотов, и после Амбуазского заговора[15], угрожавшего самой королевской чете, Мария Стюарт платит печальную дань обязанностям правительницы. Она должна присутствовать на казни мятежников, видеть – и это впечатление глубоко западет ей в душу, чтобы, точно в магическом зеркале, вспыхнуть в ее собственный час, – как живого человека со связанными руками толкают на колени перед плахой и как размахнувшийся топор с тупым гудящим скрежетанием вонзается в затылок, и голова, обливаясь кровью, катится на песок, – видение достаточно страшное, чтобы погасить в ее памяти сверкающее зрелище венчания в Реймском соборе. А затем одна недобрая весть обгоняет другую: ее мать, Мария де Гиз, правящая вместо нее в Шотландии, умирает в июне 1560 года, в то время как страну раздирают жестокие религиозные распри, а на границе кипит война и англичане проникли далеко в глубь страны. И вот уже Мария Стюарт вынуждена облачиться в траурные одежды, она, бредившая, как девочка, праздничными нарядами. Столь любимая ею музыка должна замолкнуть, танец – замереть. И снова костлявою рукою стучится смерть в сердце и в дверь: Франциск II все более слабеет, отравленная кровь беспокойно ударяет в виски и звенит в ушах. Он уже не в силах ходить и сидеть в седле, в постели переносят его с места на место. Наконец воспаление прорывается в ухо гноем, все искусство врачей не в силах ему помочь, и 6 декабря 1560 года злосчастный мальчик упокоился.

Трагическим символом повторяется между обеими женщинами – Екатериной Медичи и Марией Стюарт – сцена у одра смерти. Не успел Франциск II испустить последний вздох, как Мария Стюарт, утратившая французский престол, пропускает вперед в дверях Екатерину Медичи – молодая вдовствующая королева уступает дорогу старшей. Она уже не первая дама королевства, а вторая, как и раньше; только год прошел, а сон уже

рассеялся; Мария Стюарт больше не французская королева, а всего лишь то, чем она была с первой минуты и пребудет до последней: королева Шотландская.

Сорок дней длится по французскому придворному этикету первый, глубокий траур для вдовствующей королевы. Во время этого сурового затворничества ей не дозволено ни на минуту покидать свои покои; в течение первых двух недель никто, кроме нового короля и его ближайших родственников, не должен навещать ее в искусственном склепе – затемненной комнате, освещенной слабым мерцанием свечей. Пусть женщины простонародья одеваются во все черное – всеми признанный траурный цвет: ей одной подобает le deuil blanc – белый траур. В белоснежном чепце, обрамляющем бледное лицо, в белом парчовом платье, белых башмаках и чулках и только в черном флере поверх этого призрачного сияния – такой выступает Мария Стюарт в те дни, такой предстает на знаменитом холсте Жане[16] и такой же рисует ее Ронсар в своем стихотворении:

Un crespe long, subtil et délié
Ply contre ply, retors et replié
Habit de deuil, vous sert le couverture,
Depuis le chef jusques à la ceinture,
Que s'enfle ainsi qu'un voile quand le vent
Soufle la barque et la cingle en avant.
De tel habit vous étiez accoutrée
Partant, hélas! de la belle contrée
Dont aviez eu le sceptre dans la main,
Lorsque, pensive et baignant votre sein
Du beau cristal de vos larmes coulées
Triste marchiez par les longues allées
Du grand jardin de ce royal château
Qui prend son nom de la beauté des eaux.

В прозрачный креп одеты были вы,
На бедра ниспадавший с головы
В обдуманном и строгом беспорядке.
Весь перевит, искусно собран в складки,
Вздувался он, как парус в бурный час,
Покровом скорби облекая вас.
В такой одежде вы двору предстали,
Когда свой трон и царство покидали,
И слезы орошали вашу грудь,
Когда, пускаясь в незнакомый путь,
На все глядели вы печальным взглядом,

В последний раз любуясь дивным садом
Того дворца, чье прозвище идет
От синевы кругом журчащих вод.

В самом деле, прелесть и обаяние юной королевы нигде не выступают так убедительно, как на портрете Жане; созерцательное выражение придает ее взору необычную ясность, а однотонная, ничем не нарушаемая белизна платья подчеркивает мраморную бледность кожи; в этой скорбной одежде ее царственное благородство проступает гораздо отчетливее, чем на ранних портретах, показывающих ее во всем блеске и великолепии высокого сана, осыпанную каменьями и украшенную всеми знаками власти.

Благородная меланхолия звучит в строках, которые сама она посвящает памяти умершего супруга в виде надгробного плача – строках, достойных пера ее маэстро и учителя Ронсара. Даже написанная не рукой королевы, эта кроткая нения[*] трогала бы нас своей неподдельной искренностью. Ибо осиротевшая подруга говорит не о страстной любви – никогда Мария Стюарт не лгала в поэзии, как лгала в политике, – а лишь о чувстве утраты и одиночества:

Sans cesse mon coeur sent
Le regret d'un absent
Si parfois vers les cieux
Viens à dresser ma veue
Le doux traict de ses yeux
Je vois dans une nue;
Soudain je vois dans l'eau
Comme dans un tombeau
Si je suis en repos
Sommeillant sur ma couche,
Je le sens qu'il me touche:
En labeur, en recoy
Toujours est près de moy.

Как тяжко ночью, днем
Всегда грустить о нем!
Когда на небеса
Кидаю взгляд порою,
Из туч его глаза
Сияют предо мною.
Гляжу в глубокий пруд –
Они туда зовут.

Одна в ночи тоскуя,
Я ощущаю вдруг
Прикосновенье рук
И трепет поцелуя.
Во сне ли, наяву –
Я только им живу.

Скорбь Марии Стюарт об ушедшем Франциске II несомненно нечто большее, чем поэтическая условность, в ней чувствуется подлинная, искренняя боль. Ведь она утратила не только доброго, покладистого товарища, не только нежного друга, но также и свое положение в Европе, свое могущество, свою безопасность. Вскоре девочка-вдова почувствует, какая разница, быть ли первой при дворе, королевой, или же отойти на второе место, стать нахлебницей у нового короля. Трудность ее положения усугубляется враждой, которую питает к ней Екатерина Медичи, ее свекровь, ныне снова первая дама французского двора; по-видимому, Мария Стюарт смертельно обидела чванливую, коварную дочь Медичи как-то пренебрежительно отозвавшись о происхождении этой «купеческой дочки», несравнимом с ее собственным, наследственным королевским достоинством. Подобные бестактные выходки – неукротимая шальная девчонка не раз позволит себе то же самое и в отношении Елизаветы – способны посеять между женщинами больше недобрых чувств, чем открытые оскорбления. И едва лишь Екатерина Медичи, двадцать долгих лет обуздывавшая свое честолюбие – сначала ради Дианы Пуатье, а потом ради Марии Стюарт, – едва лишь она становится правительницей, как с вызывающей властностью дает почувствовать свою ненависть к обеим павшим богиням.

Однако никогда Мария Стюарт – и тут ясно выступает на свет самая яркая черта ее характера: неукротимая, непреклонная, чисто мужская гордость, – никогда она не останется там, где чувствует себя лишь второй, никогда ее гордое, горячее сердце не удовлетворится скромной долей и половинным рангом. Лучше ничто, лучше смерть. На мгновение ей приходит мысль удалиться в монастырь, отказаться от высокого сана, раз самый высокий сан в этой стране ей более недоступен. Но слишком велик еще соблазн жизни: отречься навсегда от ее услад значило бы для восемнадцатилетней попрать свою природу. А кроме того, не ушла еще возможность возместить утерянную корону другой, не менее драгоценной. Испанский король поручает своему послу сватать ее за дона Карлоса, будущего властителя двух миров; австрийский двор присылает к ней тайных посредников; короли

шведский и датский предлагают руку и престол. К тому же есть у нее и своя наследственная шотландская корона, да и ее притязание на вторую, английскую корону покамест еще в полной силе. Неисчислимые возможности по-прежнему ждут юную вдовствующую королеву, эту женщину, едва достигшую полного расцвета. Правда, чудесные дары уже не сыплются на нее с неба и не преподносятся ей на блюдце благосклонной судьбой, их приходится с великим искусством и терпением отвоевывать у сильных противников. Но с таким мужеством, с такой красотою, с такой юной душой в горячем, цветущем теле можно отважиться и на самую высшую ставку. Исполненная решимости, приступает Мария Стюарт к битве за свое наследие.

Разумеется, прощание с Францией дается ей нелегко. Двенадцать лет провела она при этом княжеском дворе, и прекрасная, изобильная, богатая чувственными радостями страна для нее в большей мере родина, чем Шотландия ее канувшего детства. Здесь ее опекают родичи по материнской линии, здесь стоят замки, где она была счастлива, здесь творят поэты, что славят и понимают ее, здесь вся легкая рыцарская прелесть жизни, столь близкая ее душе. С месяца на месяц откладывает она возвращение в родное королевство, хотя там давно ее ждут. Она навещает родственников в Жуанвилле и Нанси, присутствует на коронационных торжествах своего десятилетнего шурина Карла IX в Реймсе; словно охваченная таинственным предчувствием, ищет она все новых поводов, чтобы отложить отъезд. Кажется, будто она ждет какого-то внезапного поворота судьбы, который избавил бы ее от возвращения на родину.

Ибо, каким бы новичком в заботах правления ни была эта восемнадцатилетняя королева, одно ей хорошо известно, что в Шотландии ее ждут тяжкие испытания. После смерти ее матери, управлявшей вместо нее страной в качестве регентши, взяли верх протестантские лорды, ее злейшие противники, и теперь они едва скрывают свое нежелание призвать в страну ревностную католичку, приверженную ненавистной мессе[17]. Открыто заявляют они – английский посол с восторгом доносит об этом в Лондон, – что «лучше-де задержать приезд королевы еще на несколько месяцев и что, кабы не долг послушания, они и вовсе рады бы никогда ее больше не видеть». Втайне они уже давно ведут нечестную игру; так, они предлагали английской королеве в мужья ближайшего претендента на престол, протестанта, графа Аранского, чтобы незаконно подкинуть Елизавете корону, по праву принадлежащую Марии Стюарт. Столь же мало может она верить и сводному брату, Джеймсу Стюарту, графу Меррею, по поручению шотландского парламента приезжающему к ней во

Францию: слишком он в хороших отношениях с Елизаветой. Уж не на платной ли он у нее службе? Только неотложное ее возвращение может своевременно подавить эти темные, глухие интриги; только опираясь на наследственную отвагу, отвагу королей Стюартов, может она утвердить свою власть. Итак, не рискуя потерять в один год вслед за первой еще и вторую корону, томимая мрачными предчувствиями, с тяжелой душой решается Мария Стюарт следовать зову, который исходит не от чистого сердца и которому сама она верит лишь наполовину.

Но еще до возвращения на родину Марии Стюарт дают почувствовать, что Шотландия граничит с Англией, где правит не она, а другая королева. Елизавета не видит ни малейшего основания и не чувствует никакой склонности идти в чем-либо навстречу своей сопернице и наследнице престола, да и английский государственный секретарь Сесил с нескрываемым цинизмом поддерживает каждый враждебный ее маневр: «Чем дольше дела шотландской королевы останутся неустроенными, тем лучше для Вашего Величества». Вся беда в том, что нелепые бутафорские притязания Марии Стюарт на английский престол – предмет их распри – все еще не сняты с повестки дня. Правда, между шотландскими и английскими делегатами заключен в Эдинбурге договор, по которому первые от имени Марии Стюарт обязались признать Елизавету «for all times coming», ныне и присно, правомочной английской королевой. Но, когда договор был доставлен во Францию, Мария Стюарт и ее супруг Франциск II уклонились от дачи своей подписи; никогда у Марии Стюарт не поднимется рука скрепить подобное своей подписью, никогда она, выставившая на своем знамени притязание на английский престол и парадировавшая этим знаменем, никогда она его не опустит. Она, пожалуй, готова из политических соображений отложить свое требование до лучших времен, но ни за что Открыто и честно не откажется от наследия предков.

Но такой двойной игры в этом вопросе Елизавета не потерпит. Представители шотландской королевы подписали от ее имени Эдинбургский договор, пусть же и она скрепит его своей подписью. Признанием sub rosa, негласным обещанием Елизавета не удовлетворится, для нее, протестантки и правительницы страны, на добрую половину оставшейся верной католицизму, католическая претендентка означает не только угрозу ее власти, но и самой ее жизни. Пока эта контркоролева не откажется со всей прямотой от своих притязаний, Елизавета не будет чувствовать себя настоящей королевой.

В этом спорном вопросе Елизавета, конечно, права; но она тут

же ставит свою правоту под сомнение, когда столь серьезный политический конфликт стремится решить мелкими, пошлыми средствами. В политической борьбе у женщин неизменно наблюдается опасная склонность ранить булавочными уколами, разжигать распрю личной злобой; так и на сей раз дальновидная правительница впадает в неизбежную ошибку всех женщин-политиков. Мария Стюарт официально испросила для поездки в Шотландию так называемый safe conduct – транзитную визу, как сказали бы мы сейчас: с ее стороны это было скорее любезностью, данью чисто формальной официозной вежливости, поскольку прямой путь в Шотландию морем ей не закрыт; предполагая ехать через Англию, она как бы молчаливо давала противнице возможность для дружеских переговоров. Елизавета, однако, тотчас же ухватилась за случай нанести противнице булавочный укол. На учтивость она отвечает сугубой неучтивостью, заявляя, что до тех пор не даст Марии Стюарт safe conduct, пока та не подпишет Эдинбургский договор. Желая уязвить королеву, она оскорбляет женщину; вместо открытой военной угрозы избирает бессильный и злобный личный выпад.

Итак, завеса, скрывающая конфликт между обеими женщинами, сорвана, с пылающими гневом глазами стала гордость против гордости. Сгоряча призывает к себе Мария Стюарт английского посланника и негодующе набрасывается на него. «Я в крайней на себя досаде, – говорит она ему, – надо же мне было так забыться – просить вашу повелительницу об услуге, в которой я, в сущности, не нуждаюсь. Мне так же мало потребно ее разрешение для поездки, как и ей мое, куда б она ни вознамерилась ехать. Ничто не мешает мне вернуться в мое королевство и без ее охранной грамоты и соизволения. Покойный король пытался перехватить меня по дороге сюда, в эту страну, однако, это не помешало мне, как вы знаете, господин посол, благополучно доехать, и точно так же найдутся у меня теперь средства и пути для возвращения, стоит лишь мне обратиться к друзьям… Вы говорите, что дружба между королевой и мною как нельзя более желательна и полезна для обеих сторон. Но у меня есть основание полагать, что ваша королева держится иного мнения, иначе она не отнеслась бы к моей просьбе столь недружественно. Похоже, что дружба моих непокорных подданных ей во сто крат милее моей, их повелительницы, равного с нею сана, пусть и уступающей ей в мудрости и опыте, однако все же ближайшей родственницы и соседки… Я же ищу одной только дружбы, я не тревожу мира в ее государстве, не вступаю в переговоры с ее подданными, хотя известно мне, что

среди них немало нашлось бы таких, кто с радостью откликнулся бы на любое мое предложение».

Внушительная угроза, скорее внушительная, нежели мудрая. Мария Стюарт еще не успела ступить на берег Шотландии, а уже выдает свое тайное намерение в случае надобности перенести борьбу с Елизаветой на английскую землю. Посол учтиво увиливает от ответа: все эти недоразумения, говорит он, проистекают оттого, что Мария Стюарт включила английский государственный герб в свой собственный. Мария Стюарт тотчас же отводит этот упрек: «В то время, господин посол, я находилась под влиянием короля Генриха, моего свекра, а также моего царственного господина и супруга, я только выполняла их пожелания и приказы. После же их смерти я, как вам известно, воздерживалась носить титул и герб английской королевы. Хотя, к слову сказать, я не вижу ничего оскорбительного для моей августейшей кузины в том, что, будучи такой же королевой, как она, ношу английский герб, ведь носят же его другие лица, и куда с меньшим правом, чем я. Не станете же вы отрицать, что одна из моих бабок была сестрой ее августейшего родителя[*], и к тому же старшей сестрой».

Опять под личиной дружбы блеснуло зловещее напоминание: подчеркивая свое происхождение по старшей линии, Мария Стюарт вновь утверждает свои преемственные права. И когда посол настоятельно просит ее, дабы рассеять это недоразумение, подписать в согласии с данным ей словом Эдинбургский договор, Мария Стюарт, как всегда, чуть речь зайдет об этом щекотливом пункте, находит тысячу причин, чтобы отложить дело в долгий ящик: нет, она ничего не может предпринять, не посоветовавшись с шотландским парламентом; но точно так же и посол избегает каких-либо обещаний от имени Елизаветы. Едва лишь переговоры доходят до этой критической точки, едва лишь одна из королев должна безусловно и непреложно поступиться кое-чем из своих прав, как начинаются увертки и ложь. Каждая придерживает свой козырь; так игра затягивается до бесконечности, клонясь к трагической развязке. Резко обрывает Мария Стюарт переговоры насчет охранной грамоты – вы словно слышите скрежет разрываемой ткани: «Когда б мои приготовления не подвинулись так далеко, быть может, недружественное поведение вашей августейшей госпожи и помешало б моей поездке. Однако теперь я полна решимости отважиться на задуманное, к чему бы это ни привело. Уповаю, что ветер будет благоприятный и нам не придется приставать к английскому берегу. Если же это случится, ваша августейшая госпожа заполучит меня в свои руки. Пусть тогда делает со мной, что хочет, и если она столь жестокосерда,

что жаждет моей смерти, пусть принесет меня в жертву своему произволу. Быть может, такой выход для меня и лучше, чем это земное странствие. Да сбудется же и здесь воля господня!»

И снова в ее словах прорывается все тот же опасный, самонадеянный, решительный тон. Скорее мягкая, беспечная и легкомысленная по натуре, более склонная искать утех жизни, чем борьбы; Мария Стюарт становится тверже стали, упрямой и смелой, едва дело коснется ее чести, ее королевских прав. Лучше погибнуть, чем склонить выю, лучше королевская блажь, чем малодушная слабость. В тревоге доносит посол в Лондон о своей неудаче, и Елизавета, как более, мудрая и гибкая правительница, тотчас же идет на уступки. Сразу же выправляется охранная грамота и отсылается в Кале. Однако она приходит с двухдневным опозданием. Мария Стюарт тем временем отважилась пуститься в дорогу, хоть в Ла-Манше ей угрожает встреча с английскими каперами: лучше смело и независимо избрать опасный путь, чем ценою унижения – безопасный. Елизавета упустила единственную представившуюся ей возможность миром разрешить конфликт, обязав благодарностью ту, кого она страшится как соперницы. Но политика и разум редко следуют одним путем: быть может, именно такими упущенными возможностями и определяется драматическое развитие истории.

Словно обманчивое сияние вечернего солнца, одевающее ландшафт в пурпур и золото, предстает перед Марией Стюарт в прощальном спектакле, данном в ее честь, вся пышность и великолепие французского церемониала. Ибо не одинокой и всеми оставленной придется той, что царственной невестой ступила на эту землю, покинуть места своего былого владычества; да будет ведомо всем, что не бедной сирой вдовой, не слабой беспомощной женщиной возвращается на родину шотландская королева, но что меч и честь Франции на страже ее судьбы. От Сен-Жерменского дворца и до самого Кале провожает ее блестящая кавалькада. На конях под богатыми чепраками, щеголяя расточительной роскошью французского Ренессанса, бряцая оружием, в золоченых доспехах с богатой инкрустацией, провожает вдовствующую королеву весь цвет французской нации – впереди в парадной карете трое ее дядей, герцог де Гиз и кардиналы Лотарингский и Гиз. Марию Стюарт окружают четыре верные Марии, знатные дамы, служанки, пажи, поэты и музыканты; следом за пестрым поездам везут тяжелые сундуки с драгоценной утварью и в закрытом ковчежце – сокровища короны. Королевой, во всем блеске и славе, среди почестей и поклонения,

такой же, какой она прибыла сюда, покидает Мария Стюарт отчизну своего сердца. Отлетела только радость, когда-то сиявшая в глазах ребенка. Проводы – это всегда лишь закатное сияние, последняя вспышка света на пороге ночи.

Большая часть княжеского поезда остается в Кале. Дворяне возвращаются домой. Завтра им предстоит в Лувре служить другой королеве, ведь для царедворца важен сан, а не человек, его носящий. Все они забудут Марию Стюарт; едва лишь ветер надует паруса галеонов, от нее отвернутся сердцем все те, кто сейчас, возведя горе восторженные очи и пав на колени, клянется ей в вечной преданности и на расстоянии. Проводы для этих всадников – всего лишь пышная церемония, подобная коронации или погребению. Искреннюю печаль, неподдельное горе ощущают при отъезде Марии Стюарт только поэты, чьей более чуткой душе дан вещий дар предвидеть и пророчить. Они знают: с отъездом этой молодой женщины, грезившей о дворе – прибежище радости и красоты, музы покинут Францию; наступает темная пора как для них, так и для других французов – пора политической борьбы, междоусобиц и распрей, пора гугенотских восстаний, Варфоломеевской ночи[*], фанатиков и изуверов. Уходит все рыцарское и романтическое, все светлое и беспечально прекрасное – вместе с этим юным видением уходит и расцвет искусств. Созвездие «Плеяды»[18], поэтический семисвечник, скоро померкнет под омраченным войною небом. С Марией Стюарт, печалуются поэты, отлетают столь любезные нам радости духа:

Ce jour le même voile emporta loin de France
Les Muses, qui songoient y faire demeureance.

В тот день корабль унес от наших берегов
Всех муз, во Франции нашедших верный кров.

И снова Ронсар, чье сердце молодеет при виде юности и красоты, в своей элегии «Au départ»[*] прославляет очарование Марии Стюарт, словно хочет удержать в стихах то, что навек утрачено для его восхищенных взоров, и в искренней скорби создает поистине красноречивую жалобу:

Comment pourroient chanter les bouches des poètes,
Quand, par vostre départ les Muses sont muettes?
Tout ce qui est de beau ne se garde longtemps,
Les roses et les lys ne régnent qu’un printemps.
Ainsi votre beauté seulement apparue

Quinze ans en notre France, est soudain disparue,
Comme on voit d'un éclair s'évanouir le trait,
Et d'elle n'a laissé sinon le regret,
Sinon le déplaisir qui me remet sans cesse
Au coeur le souvenir d'une telle princesse.

Как может петь поэт, когда, полны печали,
Узнав про ваш отъезд, и музы замолчали?
Всему прекрасному приходит свой черед,
Весна умчится прочь, и лилия умрет.
Так ваша красота во Франции блистала
Всего пятнадцать лет, и вдруг ее не стало,
Подобно молнии, исчезнувшей из глаз,
Лишь сожаление запечатлевшей в нас,
Лишь неизбывный след, чтоб в этой жизни бренной
Я верность сохранил принцессе несравненной.

Двор, знать и благородное рыцарство забудут отсутствующую, одни лишь поэты останутся верны своей королеве; ибо в глазах поэтов несчастье – это истинное благородство, и та, чью гордую красоту они воспели, станет им вдвое дороже в своей печали. Верные провожатые, восславят они ее Жизнь и смерть. Когда человек возвышенной души проживет свою жизнь, уподобив ее стихам, драме или балладе, всегда найдутся поэты, которые все снова и снова станут воссоздавать ее для новой жизни.

В гавани в Кале уже дожидается великолепно разукрашенный, сверкающий свежей белизной галеон; на этом адмиральском судне, на котором вместе с шотландским развевается и французский королевский штандарт, сопровождают Марию Стюарт ее вельможные дядья, избранные царедворцы и четыре Марии, верные подруги ее детских игр; два других корабля его эскортируют. Галеон еще не выбрался из внутренней гавани, еще не поставлены паруса, а первый же взгляд, обращенный Марией Стюарт в неведомую морскую даль, натыкается на зловещее знамение; только что вошедший в гавань баркас терпит крушение у прибрежных скал, его пассажирам грозит смерть в волнах. Итак, первая картина, которую видит Мария Стюарт, оставляя Францию, чтобы принять бразды правления, становится мрачным символом: плохо управляемый корабль погружается в морскую пучину.

Внушает ли ей это знамение безотчетный трепет, гнетет ли ее тоска об утраченной отчизне или предчувствие, что прошлому

нет возврата, но Мария Стюарт не в силах отвести затуманенных глаз от земли, где она была так молода и наивна, а следовательно, и счастлива. Проникновенно описывает Брантом захватывающую грусть этого прощания: «Как только судно вывели из гавани, задул бриз, и матросы развернули паруса. Сложив обе руки на корме у руля, она громко зарыдала, обращая взоры к тому месту на берегу, откуда мы отчалили, и повторяя все тот же грустный возглас: «Прощай, Франция!» – пока над нами не сгустилась тьма. Когда ей предложили сойти в каюту, чтобы отдохнуть, она решительно отказалась. Ей приготовили постель на фордеке. Отходя ко сну, она строго наказала помощнику рулевого, чтобы, едва рассветет, если французский берег будет еще в виду, он тотчас же ее разбудил, хотя бы ему пришлось кричать над самым ее ухом. И судьба благословила ее горячее желание. Ибо ветер вскоре улегся, пришлось идти на веслах и за ночь судно ушло недалеко. При восходе солнца вдали еще виднелся французский берег. Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и, не отрываясь, глядела вдаль, без конца повторяя все те же слова: «Прощай, Франция! Франция, прощай! Я чувствую, что больше тебя не увижу!»

4. Возвращение в Шотландию (август 1561 года)

Непроницаемо густой туман – редкое явление летом у этих северных берегов – окутывает все кругом, когда Мария Стюарт 19 августа 1561 года высаживается в Лейте. Но как же отличается ее прибытие в Шотландию от расставания с la douce France[*]. Там с нею в торжественных проводах прощался цвет французской знати: князья и графы, поэты и музыканты соперничали в изъявлении преданности и подобострастной почтительности. Здесь же никто ее не ждет; и только, когда суда пристают к берегу, собирается изумленная толпа – несколько рыбаков в своей грубой одежде, кучка слоняющихся без дела солдат, какие-то лавочники да крестьяне, пригнавшие в город на продажу свой скот. Скорее робко, чем восторженно, следят они, как богато разодетые именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Угрюмая встреча, мрачная и суровая, как душа этой северной страны! Чужие смотрят на чужих. С первого же часа стесненной душой познает Мария Стюарт ужасающую бедность своей родины: за пятидневный переход по морю она удалилась вспять на целое столетие – из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной, упивающейся своей культурой страны попала в темный, тесный, трагический мир. В городе, десятки раз спаленном дотла, разграбленном англичанами и повстанцами, нет не только дворца, но даже господского дома, где ее могли бы достойно приютить; и королева, чтобы обрести кров, вынуждена заночевать у простого купца.

Первым впечатлениям присуща особая власть, неизгладимо запечатлеваются они в душе. Должно быть, молодая женщина не отдает себе отчета, что за неизъяснимая грусть сковала ей сердце, когда после тринадцатилетнего отсутствия она, как чужая, снова ступила на родную землю. Тоска ли об утраченном доме, бессознательное сожаление о той полной тепла и сладости жизни, которую научилась она любить на французской земле; давит ли ее это чужое серое небо или предчувствие грядущих бед? Кто знает – но только, оставшись одна, королева, по словам Брантома, залилась безутешными слезами. Не так, как Вильгельм Завоеватель[19], не с гордой самонадеянностью властителя ступила она уверенной и твердой стопой на британский берег, нет, первое ее ощущение – растерянность, недоброе предчувствие и страх перед событиями, таящимися во мгле.

На следующий день прискакал уведомленный о ее приезде регент, ее сводный брат Джеймс Стюарт, более известный как граф Меррей; он прибыл с несколькими дворянами, чтобы, спасая положение, хотя бы с какой-то видимостью почета проводить королеву в уже недалекий Эдинбург. Но парадного шествия не получилось. Англичане под неуклюжим предлогом, будто они отправляются на поиски пиратов, задержали корабль с лошадьми ее двора, здесь же, в захолустном Лейте, удается найти только одного пристойного коня в более или менее сносной сбруе, которого и подводят королеве, женщинам же и дворянам ее свиты приходится довольствоваться простыми деревенскими клячами, набранными по окрестным конюшням и стойлам. Со слезами глядит Мария Стюарт на это зрелище, и снова ей приходит на ум, сколь много утратила она со смертью своего супруга и какая скромная доля – оказаться всего лишь королевой Шотландской, после того как ты побыла королевой Франции. Гордость не дозволяет ей явиться своим подданным с таким жалким обозом, и вместо joyeuse entrée[*] по улицам Эдинбурга она сворачивает со своей свитой в замок Холируд, стоящий за городскими стенами. Дом, построенный ее отцом, тонет в вечерней мгле, выделяются только круглые башни и зубчатая линия крепостных стен; суровые очертания фасада, сложенного из массивного камня, производят при первом взгляде почти величественное впечатление.

Но с какой ледяной будничностью встречают свою хозяйку, избалованную французской роскошью, эти пустынные, угрюмые покои! Ни гобеленов, ни праздничного сияния огней, которые, отражаясь в венецианских зеркалах, отбрасывают свет от стены к стене, ни дорогих драпировок, ни мерцания золота и серебра. Здесь годами не держали двора, в покинутых покоях давно заглох беззаботный смех, никакая королевская рука после кончины ее отца не подновляла и не украшала этот дом; отовсюду ввалившимися очами глядит нищета, извечное проклятие ее королевства.

Однако едва в Эдинбурге услыхали, что королева прибыла в Холируд, как жители, несмотря на поздний час, высыпали из домов и потянулись за городские ворота ее приветствовать. Не удивительно, что изысканным, изнеженным французским придворным эта встреча показалась грубоватой и неуклюжей: ведь у эдинбургских обывателей нет своих musiciens de la cour[*], чтобы позабавить ученицу Ронсара сладостными мадригалами и искусно положенными на музыку канцонами. Только по стародавнему обычаю могут они восславить свою королеву. Натаскав валежника – единственное, чем богата эта

негостеприимная местность, – они раскладывают на площадях костры, свои излюбленные Bonfires, и жгут их до глубокой ночи. Толпами собираются они под ее окнами и на волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их языке зовется музыкой, изощренному же слуху гостей представляется какой-то адской какофонией; грубыми мужскими голосами распевают они псалмы и духовные гимны – единственное, чем они могут приветствовать гостей, так как мирские песни строго-настрого заказаны им кальвинистскими пастырями. Но Мария Стюарт рада сердечному приему, во всяком случае, она смеется и благосклонно приветствует свой народ. Так, по крайней мере на первые часы прибытия, между государыней и ее подданными воцаряется единомыслие, какого здесь не знавали уже десятки лет.

В том, что неискушенную в политике правительницу ждут огромные трудности, отдавали себе отчет и сама королева и ее советники. Пророческими оказались слова умнейшего из шотландских вельмож Мэйтленда Летингтонского, писавшего по поводу приезда Марии Стюарт, что он послужит причиною многих удивительных трагедий (it could not fail to raise wonderful tragedies). Даже энергичный, решительный мужчина, правящий железной рукой, не мог бы надолго умиротворить эту страну, а тем более девятнадцатилетняя, несведущая в делах правления женщина, ставшая чужой в собственной стране! Нищий край; развращенная знать, радующаяся любому поводу для смуты и войны; бесчисленные кланы, только и ждущие случая превратить свои усобицы и распри в гражданскую войну; католическое и протестантское духовенство, яростно оспаривающее друг у друга первенство; опасная и зоркая соседка, искусно разжигающая всякую искру недовольства в открытый мятеж, и ко всему этому враждебные происки мировых держав, бесстыдно втравливающих Шотландию в свою кровавую игру – в таком положении застает страну Мария Стюарт.

В тот момент, когда она появляется в Шотландии, борьба достигла высшего накала. Вместо набитых деньгами сундуков ей досталось от матери пагубное наследие (поистине damnosa hereditas) – религиозная вражда, свирепствующая в этой стране с особенной силою. За те годы, что она, баловница счастья, беспечно жила во Франции, Реформации удалось победоносным маршем войти в Шотландию. Через дома и усадьбы, через города и веси, через родство и свойство пролегла чудовищная трещина: дворяне – одни католики, другие протестанты; города прилежат к новой вере, деревни – к старой; клан восстал против клана, род

против рода; вражда между обоими лагерями постоянно разжигается фанатичными священниками и поддерживается кознями иноземных государей. Особенную опасность для Марии Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере; возможность разжиться богатыми церковными землями вскружила головы властолюбивым мятежникам. Наконец-то представился им случай выступить против своей монархини в тоге добродетели, на положении «лордов конгрегации», заступников веры, тем более что содействие Англии им обеспечено. Скуповатая Елизавета уже более двухсот фунтов пожертвовала на то, чтобы с помощью смут и вооруженных походов вырвать Шотландию из-под власти католиков Стюартов, и даже сейчас, после торжественно заключенного мира, большинство подданных соперницы тайно состоит у нее на службе. Мария Стюарт может одним ударом восстановить равновесие, стоит ей лишь перейти в протестантскую веру, и часть ее советников усиленно на этом настаивает. Но недаром Мария Стюарт из дома Гизов. По матери она в кровном родстве с самыми горячими поборниками католицизма, да и сама она, хоть и чужда, фарисейскому благочестию, все же горячо и убежденно привержена вере отцов и предков. Никогда не откажется она от своего исповедания и даже в минуты величайшей опасности, по обычаю смелой натуры, предпочтет неугасимую борьбу хотя бы одному трусливому шагу, противному ее совести и чести. Но тем самым между ней и ее дворянством пролегла непроходимая пропасть; когда властителя и его подданных разделяют религиозные верования, это к добру не приводит; весы не могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. В сущности, у Марии Стюарт один только выбор – возглавить в стране Реформацию или пасть ее жертвой. Неудержимый раскол между Лютером[20], Кальвином[21] и Римом неисповедимою волею судеб именно в ее участи получает свое драматическое разрешение; личный конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой, между Англией и Шотландией призван решить – и в этом его огромное значение – также и конфликт между Англией и Испанией, между Реформацией и контрреформацией.

Это положение, и само по себе пагубное, отягчено еще тем, что религиозный раскол проник в семью королевы, в ее замок, ее совещательную палату. Влиятельнейший шотландский вельможа, ее сводный брат Джеймс Стюарт, коему она вынуждена доверить все дела правления, – и сам убежденный протестант, сберегатель той «кирки», которую она, верующая католичка, считает

погрязшей в ереси. Уже четыре года, как он первым поставил свою подпись под присягою заступников веры, так называемых «лордов конгрегации», присягою, коей они «отрекались от сатанинского учения и обязывались открыто противиться его суеверству и идолопоклонству». Сатанинское же учение, от которого они отреклись, и есть католическое, то самое, что исповедует Мария Стюарт. Между королевой и регентом с первой же минуты разверста непроходимая пропасть в наиболее важном, основоположном для них вопросе, а это не обещает мира. Ибо в глубине души королева лелеет одно заветное желание – искоренить Реформацию в Шотландии, а у ее регента и брата одна цель – провозгласить протестантизм единственной господствующей религией в Шотландии. Такое резкое идейное расхождение неминуемо должно привести к открытому конфликту.

Означенный Джеймс Стюарт призван стать в драме «Мария Стюарт» одним из ведущих персонажей; судьба уготовила ему в ней важнейшую роль, и он мастерски ее проводит. Сын того же отца, рожденный им в многолетнем сожительстве с Маргаритою Эрскин из родовитейшей шотландской фамилии, он и по крови, и по своей железной энергии как бы самой природою предназначен стать достойнейшим наследником престола. Однако политическая зависимость вынудила Иакова V в свое время отказаться от мысли узаконить свою связь с горячо любимою леди Эрскин; ради укрепления своей власти и своих финансов он женится на французской принцессе, ставшей впоследствии матерью Марии Стюарт. Над честолюбивым старшим сыном тяготеет проклятье незаконного рождения, навсегда преграждающее ему дорогу к престолу. Хоть папа по просьбе Иакова V и признал за старшим сыном, равно как и за другими его внебрачными детьми, все права королевского происхождения, все же Меррей остается бастардом без всяких прав на отцовский престол.

История и ее величайший подражатель Шекспир дали миру немало примеров душевной трагедии бастарда, этого сына и несына, у которого закон государственный, церковный и человеческий безжалостно отнял те права, что сама природа запечатлела в его крови и обличье. Осужденные трибуналом предрассудков, самым страшным и непреклонным из судов человеческих, внебрачные дети, зачатые не на королевском ложе, обойдены в пользу других наследников, порою слабейших, так как последних произвела на свет не любовь, а политический расчет; вечно гонимые и изгоняемые, они обречены клянчить там, где им надлежало бы владеть и властвовать. Но если человека

открыто заклеймить как неполноценного, то вечно преследующее его чувство неполноценности должно либо совсем его согнуть, либо чудесным образом укрепить. Трусливые и вялые души становятся под ярмом унижения еще мельче, еще ничтожнее; попрошайки и лизоблюды, они клянчат подачек и милостей у тех, кто благоденствует под сенью закона. Когда же обделен человек волевой, это высвобождает в нем связанные темные силы: если добром не подпустить его к власти, он постарается сам стать властью.

Меррей – волевая натура. Неистовая решимость Стюартов, его царственных предков, их гордость и властность неукротимо бродят в его крови; как человек, как личность он незаурядным умом и твердой волею на голову выше, чем разбойничье племя остальных графов и баронов. Его честолюбие метит высоко, его планы политически обоснованы; умный, как и сестра, этот тридцатилетний искатель власти неизмеримо превосходит ее практической сметкой и мужским опытом. Словно на играющее дитя, смотрит он на нее сверху вниз и не мешает ей резвиться, доколе ее игра не путает его планов. Зрелый муж, он не подвержен, как она, страстным, нервическим, романтическим порывам; как правитель он лишен всего героического, но зато умеет терпеливо ждать и, следовательно, владеет подлинной тайной успеха, более надежным его залогом, чем внезапный жаркий порыв.

Мудрого политика всегда отличает умение заранее отказаться от несбыточных мечтаний. Для незаконнорожденного такой мечтой является царская корона. Никогда Меррею – и он это прекрасно знает – не именоваться Иаковым Шестым. Трезвый политик, он наперед отказывается от притязаний на престол Шотландии, чтобы с тем большим основанием стать ее правителем – регентом (regent), поскольку ему нельзя быть королем (rex). Он отказывается от королевских регалий и внешнего блеска, но лишь для того, чтобы крепче удерживать в руках власть. С ранней молодости рвется он к богатству, как наиболее осязаемому воплощению могущества, выговаривает себе у отца огромное наследство, не брезгает богатыми дарами и на стороне, использует в своих интересах секуляризацию церковных владений и войну – словом, при каждом лове первым наполняет свою сеть. Без зазрения совести принимает он от Елизаветы щедрые субсидии, и вернувшаяся в Шотландию королевой Мария Стюарт находит в нем самого богатого и влиятельного вельможу, которого уже не спихнешь с дороги. Скорее по необходимости, чем по внутренней склонности, ищет она его дружбы и, радея о собственной выгоде, отдает сводному брату в его ненасытные

руки все, что он ни попросит, всячески утоляя его жажду богатства и власти. По счастью для Марии Стюарт, руки у Меррея и впрямь надежные, они умеют натягивать вожжи, умеют и отпускать. Прирожденный государственный деятель, он держится золотой середины: он протестант, но не буйный иконоборец; шотландский патриот, но отлично ладит с Елизаветой; свой брат с лордами, но, когда нужно, умеет им пригрозить; короче говоря, этот холодный, расчетливый человек с железными нервами не гонится за престижем власти, так как удовлетворить его может только подлинная власть.

Такой незаурядный человек – незаменимая опора для Марии Стюарт, доколе он ее союзник. И величайшая опасность, когда он держит руку ее врагов. Как брат, связанный с ней узами крови, он и сам не прочь поддержать ее, ведь никакой Гордон или Гамильтон, оказавшись на ее месте, не предоставит ему такую неограниченную и бесконтрольную власть; охотно позволяет он ей парадировать и блистать, без тени зависти наблюдая, как она выступает на торжествах в предшествии скипетра и короны, лишь бы никто не вмешивался в дела правления. Но как только она попытается взять власть в свои руки и тем умалить его авторитет, гордость Стюартов необоримо столкнется с гордостью Стюартов. Ибо нет вражды страшнее, чем та, когда сходное борется со сходным, движимое одинаковыми стремлениями и с одинаковой силою.

Мэйтленд Летингтонский, второй по значению придворный вельможа и статс-секретарь Марии Стюарт, тоже протестант. Но и он поначалу держит ее сторону. Мэйтленд, человек незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов, «the flower of wits»[*], как называет его Елизавета, не отличается гордостью и честолюбием Меррея. Дипломат, он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и комбинаций; такие незыблемые принципы, как религия и отечество, королевская власть и государство, не его забота; его увлекают виртуозное искусство одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей воле узелки интриг. На удивление преданный Марии Стюарт лично (одна из четырех Марий, Мэри Флеминг, становится его женой), он непоследователен как в верности, так и в неверности. Он будет служить королеве, пока ей сопутствует успех, и покинет ее в минуту опасности; как флюгер, он показывает ей, попутный или противный дует ветер. Как истинный политик, он служит не ей – королеве и другу, – а единственно ее счастью.

Итак, нигде, ни в городе, ни у себя дома – плохое предзнаменование! – не находит Мария Стюарт по приезде

надежного друга. И тем не менее с помощью Меррея, с помощью Мэйтленда можно править, с ними можно как-то сговориться; зато непримиримо, неумолимо, обуянный беспощадной, кровожадной ненавистью, противостоит ей с первой же минуты могущественный выходец из низов Джон Нокс, популярнейший проповедник Эдинбурга, основоположник и глава шотландской «кирки», мастер религиозной демагогии. Между ним и Марией Стюарт завязывается смертельный поединок, борьба не на жизнь, а на смерть.

Ибо кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформатское обновление церкви, это закостенелая государственно-религиозная система, в известной мере nec plus ultra[*] протестантизма. Он выступает как повелитель, фанатически требуя даже от монархов рабского подчинения своим теократическим заповедям. С англиканской церковью, с лютеранством, с любой менее суровой разновидностью реформатского учения Мария Стюарт при своей мягкой, уступчивой натуре, возможно, и столковалась бы. Но самовластные повадки кальвинизма исключают всякую возможность соглашения с истинным монархом, и даже Елизавета, охотно прибегающая к услугам Нокса, чтобы елико возможно пакостить Марии Стюарт, терпеть его не может за несносную спесь. Тем более это фанатическое рвение должно претить гуманной и гуманистически настроенной Марии Стюарт! Ей, жизнерадостной эпикурейке, наперснице муз, чужда и непонятна трезвая суровость пресловутого женевского учения, его враждебность всем радостям жизни, его иконоборствующая ненависть к искусству, ей чуждо и непонятно надменное упрямство, казнящее смех, осуждающее красоту, как постыдный порок, нацеленное на разрушение всего, что ей мило, всех праздничных сторон общежития, музыки, поэзии, танцев, вносящее в сумрачный и без того уклад жизни дополнительную сугубо сумрачную ноту.

Именно такой угрюмый, ветхозаветный отпечаток накладывает на эдинбургскую «кирку» Джон Нокс, самый чугуноголовый, самый фанатично безжалостный из всех основателей церкви, неумолимостью и нетерпимостью превзошедший даже своего учителя Кальвина. В прошлом захудалый католический священник, он с неукротимой яростью истинного фанатика ринулся в волны Реформации, оказавшись последователем того самого Джорджа Уишарта, который как еретик терпел гонения и был заживо сожжен на костре матерью Марии Стюарт. Пламя, пожравшее учителя, продолжает неугасимо гореть в душе ученика. Как один из вожаков восстания

против правящей регентши, он попадает в плен к вспомогательным французским войскам, и во Франции его сажают на галеры. Хоть он и закован в цепи, воля его мужает, и вскоре она уже тверже его железных оков. Отпущенный на свободу, он бежит к Кальвину; там постигает он силу проповедуемого слова, заражается непоколебимой ненавистью пуританина к светлому эллинскому началу и по возвращении в Шотландию, взяв за горло со свойственной ему гениальной напористостью простонародье и дворянство, за несколько считанных лет насаждает в стране Реформацию.

Джон Нокс, быть может, самый законченный образец религиозного фанатика, какой знает история; он тверже Лютера, у которого были свои минуты душевной разрядки, суровее Савонаролы[22], ибо лишен блеска и мистических воспарений его красноречия. Безусловно честный в своей прямолинейности, он вследствие надетых на себя шор, стесняющих мысль, становится одним из тех ограниченных, суровых умов, кои признают только истину собственной марки, добродетель, христианство собственной марки, все же прочее почитают не истиной, не добродетелью, не христианством. Всякий инакомыслящий представляется ему злодеем; всякий, хоть на йоту отступающий от буквы его требований – прислужником сатаны. Ноксу свойственна слепая неустрашимость маньяка, страстность исступленного экстатика и омерзительная гордость фарисея; в его жестокости сквозит опасное любование своим жестокосердием, в его нетерпимости – мрачное упоение своей непогрешимостью. Шотландский Иегова с развевающейся бородой, он каждое воскресенье в Сент-Джайлском соборе[23] мечет с амвона громы и молнии на тех, кто не пришел его слушать; «убийца радости» (kill-joy), он нещадно поносит «сатанинское отродье», беспечных, безрассудных людей, служащих богу не по его указке. Ибо этот старый фанатик не знает иной радости, как торжество собственной правоты, иной справедливости, как победа его дела. С наивностью дикаря предается он ликованию, узнав, что какой-то католик или иной его враг претерпел кару или поношение; если рукою убийц сражен враг «кирки», то, разумеется, убийство совершилось попущением или соизволением божьим. Он затягивает на своем амвоне благодарственный гимн, когда у малолетнего супруга Марии Стюарт, бедняжки Франциска II, гной прорвался в ухо, «не желавшее слышать слово господне»; когда же умирает Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, он с увлечением проповедует: «Да избавит нас бог в своей великой милости и от других порождений той же крови, от всех потомков Валуа! Аминь! Аминь!» Не ищите ни кротости, ни евангельской доброты в его

проповедях, коими он оглушает, как дубинкою: его бог – это бог мести, ревнивый, неумолимый; его библия – кровожаждущий, бесчеловечно жестокий Ветхий завет. О Моаве, Амалеке[24] и других символических врагах Израиля, коих должно предать огню и мечу, неумолчно твердит он в остережение врагам истинной, иначе говоря, его веры. А когда он ожесточенно поносит библейскую королеву Иезавель[25], слушатели ни минуты не сомневаются в том, кто эта королева. Подобно тому как темные, величественные грозовые облака заволакивают небо, и повергают душу в трепет неумолчными громами и зигзагами молний, так кальвинизм навис над Шотландией, готовый ежеминутно разразиться опустошительной грозой.

С таким непреклонным, неподкупным фанатиком, который только повелевает и требует беспрекословного подчинения, невозможно столковаться; любая попытка его вразумить или улестить лишь усиливает в нем жестокость, желчную насмешку и надменность. О каменную стену такого самодовольного упрямства разбивается всякая попытка взаимопонимания. И всегда эти вестники господни – самые неуживчивые люди на свете; уши их отверсты для божественного глагола, поэтому они глухи к голосу человечности.

Мария Стюарт и недели не пробыла дома, а зловещее присутствие этого фанатика уже дает себя знать. Еще до того, как принять бразды правления, она не только даровала своим подданным свободу вероисповедания – что при терпимости ее натуры не представляло большой жертвы, – но и приняла к сведению закон, запрещающий открыто служить мессу в Шотландии, – мучительная уступка приверженцам Джона Нокса, которому, по его словам, «легче было бы услышать, что в Шотландии высадилось десятитысячное вражеское войско, чем знать, что где-то служилась хотя бы одна-единственная месса». Но набожная католичка, племянница Гизов, разумеется, выговорила себе право совершать в своей домашней часовне все обряды и службы, предписываемые ее религией, и парламент охотно внял этому справедливому требованию. Тем не менее в первое же воскресенье, когда у нее дома, в Холирудской часовне, шли приготовления к службе, разъяренная толпа проникла чуть ли не в самый дворец; у ризничего вырывают из рук освященные свечи, которые он нес для алтаря, и ломают на куски. Толпа все громче ропщет, раздаются требования изгнать «попа-идолопоклонника», и даже предать его смерти, все явственнее слышны проклятия «сатанинской мессе», еще минута – и дворцовая часовня будет разнесена в щепы. К счастью, лорд Меррей, хоть он и приверженец «кирки», бросается навстречу толпе и задерживает

ее у входа. По окончании службы, прошедшей в великом страхе, он уводит испуганного священника в его комнату целым и невредимым: несчастье предотвращено, авторитет королевы кое-как удалось спасти. Но веселые празднества в честь ее возвращения, «Joyousities», как иронически называет их Джон Нокс, сразу же, к величайшему его удовольствию, обриваются: впервые чувствует романтическая королева сопротивление действительности в своей стране.

Мария Стюарт не на шутку разгневана, слезами и яростными выкриками дает она волю своему возмущению. И тут на ее все еще неясный характер снова проливается более яркий свет. Такая юная, с ранних лет избалованная счастьем, она, в сущности, нежная и ласковая натура, покладистая и обходительная; окружающие, от первых вельмож двора до камеристок и служанок, не могут нахвалиться ее простотой и сердечностью. Своей доступной манерой обращения, без тени надменности, она покоряет всех, каждого заставляя забыть о своем высоком Сане. Однако за этой сердечностью и приветливостью скрыто горделивое сознание собственного избранничества, незаметное до тех пор, пока никто ее не задевает, но прорывающееся со всей страстностью, едва кто-либо осмелится оскорбить ее ослушанием или прекословием. Эта необычайная женщина порой умела забывать личные обиды, но никогда не прощала она ни малейшего посягательства на свои королевские права.

Ни минуты не станет она терпеть это первое оскорбление. Такую дерзость должно пресечь сразу же, подавить в корне. И она знает, к кому адресоваться, знает, что бородач из церкви еретиков натравливает народ на ее веру, это он подослал шайку богохульников к ней в дом. Отчитать его как следует – и сию же минуту! Ибо Мария Стюарт, вскормленная французскими традициями неограниченного абсолютизма, с детства привыкшая к безусловному повиновению, выросшая в понятиях неотъемлемой божественной благодати, и представить себе не может ослушания со стороны одного из своих подданных, какого-то простого горожанина. Она чего угодно ждет, но только не того, что кто-либо осмелится открыто, а тем более грубо ей перечить. А Джону Ноксу только этого и нужно, он рвется в бой! «Мне ли убояться смазливого личика высокородной аристократки, мне, который и перед многими гневными мужами не опускал глаз и постыдно не робел!» С воодушевлением спешит он во дворец, ибо спорить – во имя божие, как он считает, – самое милое дело для фанатика. Если господь дает королям корону, то своим пастырям и посланцам он дарует слово огненное. Для Джона Нокса священнослужитель «кирки» выше короля, ибо он заступник прав

господних. Его дело – защищать царство божие на земле; без колебаний избивает он непокорных увесистой дубинкой гнева своего, как во времена оны Самуил и судьи библейские[26]. Так разыгрывается сцена совсем в духе Ветхого завета, сцена, где королевская гордыня и поповское высокомерие сшибаются лбами; не женщина борется здесь с мужчиной за верховенство, нет, две древние идеи уже который раз встречаются в яростном поединке. Мария Стюарт приступает к беседе со всей мягкостью. Она ищет взаимопонимания и подавляет в себе раздражение, так как хочет мира в своей стране; учтиво начинает она переговоры. Однако Джон Нокс заранее настроился на неучтивость, желая доказать этой «idolatress»[*], что он не клонит головы перед сильными мира. Угрюмо и молчаливо, не как обвиняемый, но как обвинитель, выслушивает он королеву, которая обращается к нему с упреком по поводу его книги «The first blast of trumpet against the monstrous regiment of women»[*], отрицающей право женщины на престол. Но тот же самый Нокс, который по поводу той же самой книги будет вымаливать прощение у протестантки Елизаветы, здесь, перед своей государыней «паписткой», упрямо стоит на своем, приводя весьма двусмысленные доводы. Разгорается перепалка. Мария Стюарт в упор спрашивает Нокса: обязаны подданные повиноваться своему властелину или нет? Но вместо того чтобы сказать: да, обязаны, на что и рассчитывает Мария Стюарт, сей искусный тактик ограничивает необходимость повиновения некоей притчей: когда отец, утратив разум, хочет убить своих детей, то дети вправе, связав ему руки, вырвать у него меч. Когда князья преследуют детей божиих, те вправе воспротивиться гонению. Королева сразу же чует за этой оговоркой восстание теократа против ее державных прав.

– Стало быть, мои подданные, – допытывается она, – должны повиноваться вам, а не мне? Стало быть, я подвластна вам, а не вы мне?

Собственно, именно таково мнение Джона Нокса. Но он остерегается в присутствии Меррея высказать его ясно.

– Нет, – отвечает он уклончиво, – и князь и его подданные должны повиноваться господу. Королям надлежит быть кормильцами церкви, а королевам – ее мамками.

– Но я не вашу церковь хочу кормить, – возражает королева, возмущенная двусмысленностью его ответа. – Я хочу лелеять римско-католическую церковь, для меня она единственная церковь божия.

Итак, противники схватились грудь с грудью. Спор зашел в тупик, ибо не может быть понимания между верующей католичкой и фанатичным протестантом. Нокс идет в своей

неучтивости еще дальше, он называет римско-католическую церковь блудницей, недостойной быть невестой божией. Когда же королева запрещает ему подобные выражения, как оскорбительные для ее совести, он отвечает с вызовом: «Совести потребно познание», – он же боится, что королеве как раз не хватает познания. Так вместо примирения эта первая беседа только обострила взаимную вражду. Нокс знает теперь, что «сатана силен» и что юная властительница никогда ему не покорится. «При этом объяснении я натолкнулся на решимость, какой еще не встречал в возрасте, столь незрелом. С того дня у меня со двором все покончено, равно как и у них со мной», – пишет он в раздражении. Но и молодая женщина впервые ощутила предел своей королевской власти. С гордо поднятой головой покидает Нокс дворец, довольный, что оказал сопротивление королеве; в растерянности смотрит ему вслед Мария Стюарт и, чувствуя свое бессилие, разражается горькими слезами. И это не последние слезы. Вскоре она узнает, что власть не наследуют с кровью, а непрестанно завоевывают вновь и вновь в борьбе и унижениях.

5. Камень покатился (1561-1563)

Первые три года в Шотландии, проведенные Марией Стюарт на положении вдовствующей королевы, проходят при полном штиле, без сколько-нибудь заметных потрясений; такова уж особенность этой судьбы (недаром привлекающей драматургов), что все великие ее события как бы сжимаются в короткие эпизоды стихийной силой. В эту пору правят Меррей и Мейтленд, а Мария Стюарт только представительствует – удачное разделение власти для всего государства. Ибо как Меррей, так и Мейтленд правят разумно и осмотрительно, а Мария Стюарт отлично справляется со своими обязанностями по части репрезентации. От природы красивая и обаятельная, искушенная во всех рыцарских забавах, мастерски играющая в мяч, не по-женски смелая наездница, страстная охотница, она уже внешними своими данными завоевывает сердца: с гордостью глядят эдинбуржцы, как эта дочь Стюартов поутру, с соколом на высоко поднятом кулачке, выезжает во главе празднично пестреющей кавалькады, с ласковой готовностью отвечая на каждое приветствие. Что-то светлое и радостное, что-то трогательное и романтичное озарило суровую, темную страну с появлением этой королевы, словно солнце юности и красоты, а ведь красота и юность правителя всегда таинственно пленяют сердца подданных. Лордам, в свою очередь, внушает уважение ее мужественная отвага. Целыми днями способна эта молодая женщина в бешеной скачке мчаться без устали впереди своей свиты. Как душа ее под чарующей приветливостью таит еще не раскрывшуюся железную гордость, так и гибкое, словно лоза, нежное, легкое женственно-округлое тело скрывает необычайную силу. Никакие трудности не страшны ее жаркой отваге; однажды, наслаждаясь быстрой скачкой, она сказала своему спутнику, что хотела б быть мужчиной, изведать, каково это – всю ночь провести в поле на коне. Когда регент Меррей выезжает в поход против мятежного клана Хантлей, она бесстрашно скачет с ним рядом с мечом на боку, с пистолетами за поясом: отважные приключения неотразимо манят ее неведомым очарованием чего-то дикого и опасного, ибо отдаваться чему-либо всеми силами своего существа, всем пылом своей любви, всей своей необузданной страстью – сокровеннейшее призвание этой энергичной натуры. Но, неприхотливая и выносливая, точно воин, точно охотник, во всех этих скачках и похождениях, она умеет быть совсем другой в

своем замке, повелительница во всеоружии искусства и культуры, самая веселая, самая очаровательная женщина в своем маленьком мирке; поистине в этой короткой юности воплотился идеал века – мужество и нежность, сила и смирение, явленные нам рыцарской романтикой. Последним, предзакатным сиянием куртуазной chevalerie, воспетой трубадурами, светится это прекрасное видение в тумане холодного северного края, уже омраченного тенями Реформации.

Но никогда романтический образ этой женщины-отроковицы, этой девочки-вдовы, не сверкал так лучезарно, как на двадцатом, двадцать первом ее году, – и здесь торжество приходит к ней слишком рано, непонятное и ненужное. Ибо все еще не пробудилась вполне ее внутренняя жизнь, еще женщина в ней не знает велений крови, еще не развилась, не сложилась ее личность. Только в минуты волнений и опасностей раскрывается истинная Мария Стюарт, а эти первые годы в Шотландии для нее лишь время безразличного ожидания, и она коротает его в праздных забавах, как бы пребывая в постоянной готовности еще неизвестно к чему и для чего. Это словно вдох перед решающим усилием, бесцветный, мертвый интервал. Марию Стюарт, уже полуребенком владевшую всей Францией, не удовлетворяет убогое владычество в Шотландии. Не для того, чтобы править этой бедной, тесной, заштатной страной, возвратилась она на родину; с первых же шагов смотрит она на эту корону лишь как на ставку во всемирной игре, рассчитывая выиграть более блестящую. Сильно заблуждается, кто думает или утверждает, будто Мария Стюарт не желала ничего лучшего, как тихо и мирно управлять наследием своего отца в качестве примерной девочки, преемницы шотландской короны. Тот, кто приписывает ей столь утлое честолюбие, умаляет ее величие, ибо в этой женщине живет неукротимая, неудержимая воля к большой власти; никогда та, что пятнадцати лет венчалась в Нотр-Дам с французским наследным принцем, та, кого в Лувре чествовали с величайшей пышностью, как повелительницу миллионов, никогда она не удовлетворится участью госпожи над двумя десятками непокорных мужланов, именуемых графами и баронами, – королевы каких-то двухсот тысяч пастухов и рыбарей. Искусственная, фальшивая натяжка – приписывать ей задним числом некое национально-патриотическое чувство, открытое веками позднее. Князьям пятнадцатого, шестнадцатого веков – всем, не исключая ее великой антагонистки Елизаветы, – дела нет до их народов, а лишь до своей личной власти. Империи перекраиваются, как платья, государства создаются войнами и браками, а не пробуждением национального самосознания. Не

надо впадать в сентиментальную ошибку; Мария Стюарт той поры готова променять Шотландию на испанский, французский, английский, да, в сущности, на любой другой престол; вероятно, ни слезинки не проронила б она, расставаясь с лесами, озерами и романтическими замками своей отчизны; ее неумное честолюбие рассматривает это маленькое государство всего лишь как трамплин для более высокой цели. Она знает, что по своему рождению призвана к власти, знает, что красота и блестящее воспитание делают ее достойной любой европейской короны, и с той беспредметной мечтательностью, с какой ее сверстницы грезят о безграничной любви, грезит ее честолюбие лишь о безграничной власти.

Потому-то она вначале и бросает на Меррея и Мэйтленда все государственные дела – без малейшей ревности, без участия и интереса; ни капли не завидуя – что ей, так рано венчанной, так избалованной властью, эта бедная, тесная страна! – позволяет она им править и владеть по-своему. Никогда управление, приумножение своего достояния – это высшее политическое искусство – не было сильной стороной Марии Стюарт. Она может только защищать, но не сохранять. Лишь когда ущемляется ее право, когда задета ее гордость, когда чужая воля угрожает ее притязаниям, в ней пробуждается дикая, порывистая энергия; только в решительные мгновения становится эта женщина великой и деятельной; обыкновенные времена находят ее обыкновенной и безучастной.

В эту пору затишья стихают и козни ее великой противницы; ибо всегда, когда пылкое сердце Марии Стюарт осеняют мир и покой, успокаивается и Елизавета. Одним из величайших политических достоинств этой великой реалистки было умение считаться с фактами, умение не восставать своевольно против неизбежного. Всеми средствами пыталась она помешать возвращению Марии Стюарт в Шотландию, а потом делала все возможное, чтобы его отодвинуть; но теперь, когда оно стало непреложным фактом, Елизавета больше не борется, наоборот, она не жалеет стараний, чтобы завязать с соперницей, которую устранить бессильна, дружественные отношения. Елизавета – и это одна из самых положительных особенностей ее причудливого, своевольного нрава, – как и всякая умная женщина, не любит войны, всегда, чуть дело доходит до ответственных насильственных мер, она теряется и робеет; расчетливая натура, она предпочитает искать преимуществ в переговорах и договорах, добиваясь победы в искусном поединке умов. Едва лишь достоверно выяснилось, что Мария Стюарт приезжает, лорд

Меррей обратился к Елизавете с проникновенными словами увещания, призывая ее заключить с шотландской королевой честную дружбу: «Обе вы молодые, преславные королевы, и уже ваш пол возбраняет вам умножать ваше величие войной и кровопролитием. Каждая из вас знает, что послужило поводом для возникшей меж вами распри. Видит бог, больше всего я желал бы, чтобы моя державная госпожа никогда не заявляла претензий как на государство Вашего Величества, так и на титул. И все же вам должно пребыть и остаться друзьями. Однако, поскольку с ее стороны было изъявлено такое притязание, боюсь, как бы это недоразумение не стало меж вами, доколе причина его не устранена. Ваше Величество не может пойти на уступки в этом вопросе, но и ей трудно стерпеть, что на нее, столь близкую Англии по крови, смотрят там, как на чужую. Нет ли здесь какого-то среднего пути?» Елизавета готова внять совету; в качестве всего лишь королевы Шотландской, да еще под контролем английского прихлебателя Меррея, Мария Стюарт не так уж ей страшна – прошли те времена, когда она носила двойную корону, монархини Французской и Шотландской. Так почему бы не выказать приязнь, хотя бы и чуждую ее сердцу? Вскоре между Елизаветой и Марией Стюарт завязывается переписка, обе dear sisters[*] доверяют многотерпеливой бумаге свои нежнейшие чувства. Мария Стюарт посылает Елизавете в знак любви бриллиантовое кольцо, а та шлет ей взамен перстень еще более драгоценный; обе успешно разыгрывают перед публикой и собой утешительное зрелище родственной привязанности. Мария Стюарт заверяет, что «самое заветное ее желание в этом мире – повидать свою добрую сестрицу», она готова разорвать союз с Францией, так как ценит благосклонность Елизаветы «more than all uncles of the world»[*], тогда как Елизавета затейливым крупным почерком, к коему она обращается лишь в самых торжественных случаях, выводит велеречивые изъяснения в преданности и дружбе. Но едва лишь дело доходит до того, чтобы договориться о личной встрече, как обе осторожно увиливают. Их старые переговоры так и завязли на мертвой точке: Мария Стюарт согласна подписать Эдинбургский договор о признании Елизаветы лишь при условии, что та подтвердит ее права преемства; для Елизаветы же это все равно что подписать собственный смертный приговор. Ни одна из сторон ни на йоту не отступает от своих притязаний, цветистые фразы в конечном счете лишь прикрывают непроходимую пропасть. Завоеватель мира Чингисхан сказал: «Не бывать двум солнцам в небе и двум ханам на земле». Одна из них должна уступить – Елизавета или Мария Стюарт. Обе в глубине души знают это, и каждая ждет

своего часа. Но пока решительный час не настал, почему не воспользоваться короткой передышкой? Там, где недоверие неистребимо живет в душе, всегда отыщется повод раздуть подспудный огонь во всепожирающее пламя.

Нередко в эти годы юную королеву удручают мелочные заботы, утомляют докучные государственные дела, все чаще и чаще чувствует она себя чужой среди забияк дворян, ей не по себе от брани и лая воинствующих попов и от их тайных козней – в такие минуты бежит она во Францию, свою отчизну сердца. Разумеется, Шотландии ей не покинуть, но в своем Холирудском замке она создала себе маленькую Францию, крошечный мирок, где свободно и невозбранно отдается самым заветным своим влечениям, – собственный Трианон[27]. В круглой Холирудской башне держит она романтический двор во французском вкусе; она привезла из Парижа гобелены и турецкие ковры, затейливые кровати, дорогую мебель и картины, а также любимые книги в роскошных переплетах, своего Эразма и Рабле, своего Ариосто и Ронсара[28]. Здесь говорят и живут по-французски, здесь в трепетном сиянии свечей вечерами музицируют, затевают светские игры, читают стихи, поют мадригалы. При этом миниатюрном дворе впервые по сю сторону Ла-Манша разыгрываются «маски», маленькие классические пьесы «на случай», впоследствии, уже на английских подмостках, увидевшие свой пышный расцвет. До глубокой ночи танцуют переодетые дамы и кавалеры, и во время одного из таких танцев в масках, «The purpose»[*], королева появляется даже в мужском костюме, в черных облегающих шелковых панталонах, а ее партнер, поэт Шателяр[29], переодет дамой – зрелище, которое повергло бы Джона Нокса в неописуемый ужас.

Но пуритане, фарисеи и им подобные ворчуны на выстрел не подпускаются к этим увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая премерзостные «souparis» и «dansaris» и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его мотается, что твой маятник. «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать мамону, чем внимать священному слову божию или читать его. Музыканты и льстецы, погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, – кого же имеет в виду сей самонадеянный муж? – те, что целительными увещаниями тщатся хоть отчасти истребить в них первозданный грех гордыни». Но юный веселый кружок не ищет «целительных увещаний» этого «kill-joy», убийцы радости; четыре Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь, в ярко освещенном уютном зале – приюте дружбы, о

сумраке неприветливой, трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счастлива сбросить холодную личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и единомышленников.

Такое желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в сущности, качество – неумение скрывать свои чувства – «Je ne sais point déguiser mes sentiments», как она кому-то пишет, – приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой бессознательно поощряя его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой женщине, чье очарованье так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, вполне уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность, – так иной раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности – ласковое прикосновение, поцелуй, манящий взгляд, – нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим ее молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки неуклюжую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария Стюарт мимо этого досадного инцидента, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.

Это приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при

французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые и новые нежные стихи – игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения, да и какой молодой, знающейся с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:

Oh Déesse immortelle
Escoute donc ma voix
Toy qui tiens en tutelle
Mon pouvoir sous tes loix
Afin que si ma vie
Se voie en bref ravie,
Ta cruauté
La confesse périe
Par ta seule beauté.

К тебе, моей богине,
К тебе моя мольба.
К тебе, чья воля ныне –
Закон мой и судьба.
Верь, если б в дни расцвета
Пресекла путь мой Лета,
Виновна только ты,
Сразившая поэта
Оружьем красоты! –

тем более что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателяр похвалиться не может – его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:

Et néansmoins la flâme
Que me brûle et enflâme
De passion
N’émeut jamais ton âme

D’aucune affection.

Ничто не уничтожит
Огня, который гложет
Мне грудь,
Но он любовь не может
В тебя вдохнуть.

Вероятно, лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных ласкательств с улыбкой приемлет Мария Стюарт – она и сама поэтесса и знает, сколь условны эти лирические воспарения, – прочувствованные строфы своего пригожего Селадона, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателяром, как и с четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того, кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим партнером в танцах и как-то в фигуре фокинганса слишком близко склоняется к его плечу; она дозволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в трех кварталах от амвона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»[*], она, быть может, даже дарит Шателяру мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты. Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке; подобно Торквато Тассо[30], юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку. Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре никто уже и не помышляет. Однако потворство не пошло безумцу на пользу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть

превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина, поднимает крик, переполошив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и маловероятно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздается за него тоже всенародно – на городской площади; только этим и можно доказать невиновность властительницы – как ее подданным, так и всему миру.

Несколько дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии – черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой лютой каре – к смерти под топором палача. Мария Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.

Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что:

Mon malheur déplorable
Soit sur moy immortel.

Я жалок, но мое
Страдание бессмертно.

С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:

Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extrêmes douleurs médecin et confort.

О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий от непосильных мук.

Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть – и это скорее вздох, чем жалоба: «O cruelle dame!»[*], а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.

Но злополучный Шателяр – лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину взошел на эшафот, вовлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой. Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна[31], за черным костяным барабаном – шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее, принесенные в жертву во имя ее – той, что безвинно виновата в их мрачном шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, вовлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен несчастью и насильственной смерти. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше платились за свою смелость дерзавшие ее любить.

А потому гибель Шателяра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой, репрезентативной фигурой, игрушкою в мировой игре, и то, что на первых порах Казалось благословением неба – раннее коронование, высокое рождение, – обернулось на деле проклятием. Всякий раз как она пытается быть верной себе, отдаться своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость.

Шателяр лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, как в третий раз ее теле, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, – пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою собственную участь.

6. Оживление на политическом аукционе невест (1563-1565)

Две молодые женщины в ту пору – самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется обладатель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов – будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши, и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне – по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия – тот, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и «ecclesia universalis»[*] вновь восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой важности.

Решение мировой важности… Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраниться, пока обе не замужем и одна – лишь королева Английская, а другая – лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них станет сильнее – победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на жизнь, а

на смерть может разрешить этот безысходный спор.

Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, – редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени – аскетически закостенелый Филипп II Испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский – кажутся актерами на вторые роли; ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам. Обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски – Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров – письма Елизаветы несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства, вся их царственная повадка способны удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону[32], то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается: тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую.

Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт – в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносятся легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно свершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма – недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героинею трагедии, – в то время как восхождение Елизаветы свершается медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей ничто не

давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.

Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты – законная королева, вторая – королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какою – увы, слишком рано! – ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от бога и лишь богу ответ дает. Ее дело – повелевать, а других – повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сгоряча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления – это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, сочинителей баллад и трагедий, послужили причиной ее безвременной гибели.

Ибо Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, проницательными, птичьими глазами она – взгляните на ее портрет – недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно, то взад, то вперед,

катится шар Фортуны[33]: всего лишь шаг отделяет престол от эшафота, и опять-таки только шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозит настороженность и робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо, неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной каменьями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек – и все ее величие спадет, останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями – где уж ей править миром! Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки – боязливость, осторожность – оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны, реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм – над романтикой.

Но в этом споре различие сестер идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария

Стюарт – полярные противоположности, как будто природе заблагорассудилось воплотить в двух великих образах всемирно-историческую антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.

Как женщина Мария Стюарт – женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что особенно ее характеризует, – это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она легко возбудима и подвержена вспышкам волнения, краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина. Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви – единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. Ибо в великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам. И в своей наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.

Елизавета, напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви – и это по особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековечной virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя

некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно-хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью. Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи даже калекой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнущей под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками – честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком, шулером, но только не борцом. Обе они – Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера – предпочли бы жить в Мире, пусть бы даже это был худой, ложный мир. Но конфигурация звезд на небе в тот исторический момент не допускала половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной

личности, сильнейшая воля истории часто втравливает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.

Ибо за антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета – защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения: Мария Стюарт – умирающий мир рыцарского средневековья, Елизавета – мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.

Мария Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без возврата, – за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, – тогда как Елизавета прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косно привержена традиции, она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее мнению, страна прилежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавания или военной мощи. Как языкам ее в поэтических опытах и повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о еврей жизни.

Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя

помощниками – надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищавший ее от порывов и срывов ее нервического темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетие, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт – это Мария Стюарт и только, Елизавета – это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того, шекспировского, века – Англия или Елизавета, настолько они слились в некое, замечательное единство. Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое – сословные гильдии, купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход из душевных затруднений – выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастье в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величием Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сгорела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.

А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что олицетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на новых

путях. В ее жизни воплощена энергия наций, которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт – в поэзии и предании.

Блистательна эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо, хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость – враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, – коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе «Илиады», это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли[34], пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.

Бесчестная игра начинается со сватовства Марии Стюарт и появления на сцене августейших женихов. Мария Стюарт согласна на любого из них, женщина в ней еще дремлет и не участвует в выборе. Она охотно пошла бы за пятнадцатилетнего дона Карлоса, хотя молва рисует его злобным мальчишкой, страдающим припадками ярости, но так же легко согласилась бы и на малолетнего Карла IX. Молод или стар, красив или уродлив, – безразлично ее честолюбию, лишь бы этот союз возвысил ее над ненавистной соперницей. Не проявляя большого интереса, она поручает все переговоры своему сводному брату Меррею, и тот ведет их с корыстным рвением, ибо стоит его сестре заполучить

корону в Париже, Вене или Мадриде, как он избавится от нее и снова станет некоронованным королем Шотландии. Елизавета мигом узнает – ведь ее шпионы не дремлют – об этих чужеземных сватовствах и тотчас же накладывает на них свое грозное вето. Без околичностей заявляет она шотландскому посланнику, что, коль скоро Мария Стюарт примет королевское предложение из Австрии, Франции или Испании, она, Елизавета, сочтет это враждебным актом, но это не мешает ей в то же время обратиться к своей дорогой кузине с нежным увещанием, умоляя довериться ей одной, «какие бы горы блаженства и земного великолепия ей ни сулили другие». О, она нисколько не возражала бы против принца протестантской веры, против короля Датского или герцога Феррары – понимай: против недостойных, безопасных претендентов, – но больше всего желала бы, чтобы Мария Стюарт нашла себе супруга «дома» – какого-нибудь шотландского или английского дворянина. В этом случае ей навеки обеспечена ее сестринская любовь и помощь.

Позиция Елизаветы – это, конечно, беззастенчивая foul play[*], и ее скрытое намерение очевидно: королева-девственница поневоле, она старается лишить соперницу ее крупного шанса. Столь же искусным приемом отбивает Мария Стюарт брошенный ей мяч. Она, разумеется, ни минуты не думает о том, чтобы признать за Елизаветой overlordship – право решающего голоса в ее матримониальных прожектах. Но великая сделка повисла в воздухе, главный кандидат, дон Карлос, все еще медлит с решением. И Мария Стюарт лицемерно благодарит Елизавету за материнскую заботу. «For all uncles of the world»[*] не стала бы она рисковать драгоценной дружбой английской королевы, оскорбив ее самовольным решением, – о нет, боже сохрани! – она готова следовать любому ее совету, пусть только Елизавета вразумит ее, которые женихи дозволены («allowed»), а которые нет. Поистине трогательная покорность, но словно между строк вставляет Мария Стюарт невинный вопрос: каким образом намерена Елизавета вознаградить ее покорность? Она как бы говорит: «Изволь, я исполню твое желание и не выйду за человека, знатностью и могуществом превосходящего тебя, о возлюбленная сестра. Но и ты соблаговоли дать мне гарантию и не откажи разъяснить: как обстоит дело с моими правами преемства?»

Тем самым конфликт по-прежнему благополучно застрял на мертвой точке. Как только Елизавете надо сказать что-то членораздельное на тему о преемстве, она прячется в свою скорлупу, и клещами не вырвешь у нее ясного слова. Кружа и петляя, лепечет она что-то сугубо косноязычное: «она-де сердечно предана интересам своей сестрицы» и намерена позаботиться о

ней, как о родной дочери; потоком сладчайших слов исписываются целые страницы, но нет среди них искомого, решительного, обязывающего слова: точно два левантинских купца[35], хотят они сварганить дельце, так сказать, из рук в руки – ни одна не рискует разжать горсть первой. Избери того, кого я тебе прикажу, говорит Елизавета, и я объявлю тебя своей преемницей. Назови меня своей преемницей, и я изберу, кого ты мне велишь, отвечает ей Мария Стюарт. И ни одна не верит другой, потому что каждая намерена обмануть соперницу.

Целых два года тянутся переговоры о замужестве, женихах и преемстве. Но, как ни странно, оба шулера, сами того не желая, подыгрывают друг другу. Елизавете только и нужно, что водить Марию Стюарт за нос, а Марии Стюарт, к ее несчастью, приходится иметь дело с самым медлительным из монархов, Филиппом II. И лишь когда переговоры с Испанией окончательно заходят в тупик и надо уже думать о других предложениях, Мария Стюарт решает покончить с намеками и экивоками и безоговорочно приставляет своей милой сестрице к груди пистолет. Она приказывает ясно и недвусмысленно спросить, кого же предлагает Елизавета как достойного претендента.

Елизавете очень уж неповадно отвечать на вопросы, заданные в столь категорической форме, а тем более на этот вопрос. Ибо давно уже обиняками дала она понять, кого имеет в виду для Марии Стюарт. В одном из писем она многозначительно промямлила: она-де «намерена предложить ей такого жениха, что никто и не подумал бы, что она может на это решиться». Однако шотландский двор делает вид, будто не понимает намеков, и требует позитивного предложения – назовите имя! Припертая к стене, Елизавета уже не может ограничиться намеками. С усилием выдавливает она из себя имя избранника: Роберт Дадлей.

И тут дипломатическая комедия рискует на минуту превратиться в фарс. Предложение Елизаветы можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже одно предположение, что королева Шотландская, вдовствующая королева Французская, может удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного, subject своей сестры-королевы, захудалого дворянчика без единой капли королевской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. Однако наглость предложения усугубляется особым обстоятельством: всей Европе известно, что Роберт Дадлей уже многие годы состоит у Елизаветы в потешных любовниках, в партнерах ее эротических игр, и, стало быть, королева Английская, словно свой

обносок, дарит королеве Шотландской как раз того человека, с которым сама она погнушалась вступить в брак. Впрочем, всего лишь несколько лет назад тяжелодумная Елизавета играла этой мыслью (именно играла: для нее это всегда игра). И только когда Эйми Робсарт, жена Дадлея, была найдена убитой при загадочных обстоятельствах, она поспешила отказаться от этого плана, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии. Сватать дважды скомпрометированного человека – во-первых, той темной историей, а также некими интимными отношениями с ней, Елизаветой, – предложить его в мужья Марии Стюарт было из многих грубых и бестактных выходок, ознаменовавших ее правление, пожалуй, наиболее бестактной.

Чего Елизавета, собственно, добивалась этим непонятным сватовством – вряд ли когда-либо станет ясно. Кто возьмется перевести на язык логики взбалмошную прихоть истерической натуры? Мечтала ли она как преданная любовница наградить любовника, которого не осмеливалась взять в мужья, отписав ему по духовной, вместе с правами преемства, самое ценное, чем она располагала, – свое королевство? Хотела ли просто избавиться от прискучившего ей cicisbeo?[*] Надеялась ли через преданного человека вернее держать соперницу в узде? А может быть, она лишь испытывала любовь Дадлея? Мечтала ли она о partie à trois[*] – объединенном любовном хозяйстве? Или же это просто фортель, рассчитанный на то, что Мария Стюарт своим отказом проявит себя неблагодарной? Каждое из этих предположений законно, но скорее всего причудница и сама не знала, чего она, собственно, хочет: по-видимому, то была опять лишь игра воображения, ведь ей так свойственно играть решениями и людьми. Трудно себе представить, что произошло бы, отнесись Мария Стюарт серьезно к предложению выйти замуж за отставного любовника английской королевы. Быть может, Елизавета, внезапно одумавшись, запретила бы Дадлею этот брак и, унизив соперницу оскорбительным сватовством, осрамила бы ее вдобавок позорным отказом.

Для Марии Стюарт предложение выйти замуж за претендента некоролевской крови – это нечто вроде дерзостного богохульства. Неужто его госпожа серьезно думает, что она, помазанница божия, позарится на какого-то «лорда Роберта», спрашивает она посланца под впечатлением свежей обиды. Но она сдерживает недовольство и мило улыбается: такую опасную противницу, как Елизавета, не стоит преждевременно гневить столь резким отказом. Надо сперва выйти за испанского или французского престолонаследника, а там она сполна рассчитается за оскорбление. В этом поединке сестер один нечестный поступок

неизменно вызывает ответный – на коварное предложение Елизаветы следует лживое заверение Марии Стюарт в дружбе и признательности. Итак, Дадлея не отвергают в Эдинбурге, как претендента, боже сохрани, королева делает вид, будто клюнула на эту удочку, что позволяет ей разыграть презабавный второй акт. Сэр Джеймс Мелвил откомандировывается с официальным поручением в Лондон, якобы для того, чтобы начать переговоры о кандидатуре Дадлея, а на самом деле – чтобы еще больше запутать этот клубок лжи и притворства.

Мелвил, самый преданный из дворян Марии Стюарт – искусный дипломат, но еще более искусное перо: он умеет не просто писать, но и живописать, за что мы ему особенно благодарны. Его поездка к английскому двору подарила миру самое живое и яркое изображение Елизаветы в приватной обстановке, а также одну из самых блестящих исторических комедий. Елизавете хорошо известно, что этот светский человек провел долгие годы при французском и германском дворах, и она пускается во все тяжкие, чтобы блеснуть перед ним именно своими женскими достоинствами, не подозревая, что его беспощадная память удержит и увековечит для истории все ее кокетливые благоглупости и ужимки. Женское тщеславие частенько подводит Елизавету; так и сейчас неисправимая кокетка, вместо того чтобы убеждать посла шотландской королевы доводами политической мудрости, старается прежде всего очаровать мужчину своими личными совершенствами. Она показывается ему во всем блеске. В необъятном своем гардеробе – три тысячи платьев насчитали после ее смерти – она выбирает самые дорогие туалеты и появляется одетая то по английской, то по французской, то по итальянской моде, в щедром декольте, открывающем обширные перспективы, щеголяет своей латынью, своим французским и итальянским и с ненасытной жадностью вбирает в себя безграничное, по-видимому, восхищение посла. А все же его комплименты, хоть и выраженные в превосходной степени, – она-де чудо как хороша, и умна, и образованна – ее не удовлетворяют, ей непременно хочется – «Скажи, зеркальце на стене, кто красивее во всей стране» – именно от посла шотландской королевы услышать, что он восхищен ею как женщиной больше, чем своей госпожой. Пусть скажет, что она либо красивее, либо умнее, либо образованнее, нежели Мария Стюарт. И она распускает перед ним свои необычайно густые волнистые волосы, рыжие с красноватым отливом, и спрашивает, лучше ли волосы у Марии Стюарт, – каверзный вопрос для посланца королевы! Мелвил с честью выходит из затруднения, ответствуя с соломоновой мудростью, что в Англии ни одна

женщина не сравнится с Елизаветой, а в Шотландии ни одна не превосходит красотой Марию Стюарт. Но такое «и нашим и вашим» не удовлетворяет тщеславную кокетку: снова и снова расточает она перед ним свои чары – садится за клавесин и даже поет под лютню. Волей-неволей Мелвил, памятуя поручение обвести Елизавету вокруг пальца, снисходит до признания, что лицо у нее белее, что она искуснее играет на клавесине и в танцах держится лучше, чем Мария Стюарт. Увлеченная самовосхвалением, Елизавета забывает о настоящей цели их свидания, когда же Мелвил сворачивает на эту щекотливую тему, Елизавета уже опять играет роль: прежде всего она достает из ящика миниатюру Марии Стюарт и нежно ее целует. Со слезой в голосе принимается она рассказывать, как мечтает лично встретиться с Марией Стюарт, своей возлюбленной сестрицей (на самом деле она всю свою жизнь не жалела усилий, чтобы так или иначе расстроить все предстоящие им свидания); если верить словам этой отпетой актрисы, то дороже всего для нее знать, что ее соседка королева счастлива. Но у Мелвила трезвая голова и ясный взгляд. Разученной декламацией его не обманешь; подытоживая все виденное и слышанное, он сообщит в Эдинбург, что Елизавета всеми своими речами и поступками лишь увиливала от правды, проявляя великое притворство, смятение и страх. Когда же Елизавета отважилась на вопрос, что думает Мария Стюарт о браке с Дадлеем, опытный дипломат воздержался как от решительного «нет», так и от ясного «да». Уклончиво заявляет он, что Мария Стюарт еще недостаточно обдумала это предложение. Но чем больше он уклоняется, тем резче настаивает Елизавета. «Лорд Роберт, – говорит она, – мой лучший друг. Я люблю его как брата и никогда бы не искала себе другого мужа, если бы решилась выйти замуж. Но так как я не чувствую к сему склонности и бессильна себя побороть, то я желала бы, чтобы, по крайней мере, сестра моя избрала его, ибо я не знаю никого более достойного делить с ней мое наследие. А для того, чтобы моя сестра не ценила его слишком низко, я намереваюсь через несколько дней возвести его в сан графа Лестерского и барона Денбийского».

И действительно, по прошествии нескольких дней – третий акт комедии – совершается со всей пышностью и блеском означенная церемония. Лорд Роберт Дадлей преклоняет колена перед своей, государыней и возлюбленной, чтобы встать с колен уже графом Лестером. Но даже в эту патетическую минуту женщина в Елизавете сыграла с королевою недобрую шутку. Возлагая на верного слугу графскую корону, любовница не может удержаться, чтобы не потрепать по головке милого дружка; так

торжественная церемония оборачивается фарсом, и Мелвил лукаво усмехается в бороду: он уже предвидит, какой забавный доклад пошлет своей госпоже в Эдинбург.

Но Мелвил прибыл в Лондон не только для того, чтобы как летописец наслаждаться комедией, разыгрываемой коронованной особою: у него тоже своя роль в этом qui pro quo[*]. В его дипломатическом портфеле имеются потайные карманы, которых он ни за что не откроет Елизавете; льстивая болтовня о графе Лестере – лишь дымовая завеса, скрывающая поручение, с которым он, собственно, и приехал в Лондон. Прежде всего ему надлежит энергично постучаться к испанскому послу и выяснить, каковы, наконец, намерения Дона Карлоса, – Мария Стюарт не согласна больше ждать. Кроме того, ему поручено со всей осторожностью позондировать почву насчет возможных переговоров с еще одним второсортным кандидатом – Генри Дарнлеем.

Означенный Генри Дарнлей пока еще стоит на запасном пути. Мария Стюарт придерживает его в резерве на тот случай, если провалятся все ее многообещающие планы. Ибо Генри Дарнлей никакой не король и даже не князь; отец его, граф Ленокс, как исконный враг Стюартов, был изгнан из Шотландии и лишен всех поместий. Зато с материнской стороны в жилах восемнадцатилетнего юноши течет истинно королевская кровь Тюдоров; правнук Генриха VII, он первый prince of blood[*] при английском королевском дворе и потому вполне приемлемая партия для любой государыни; кроме того, у него еще то преимущество, что он католик. В качестве третьего, четвертого или пятого претендента Дарнлей вполне возможен, и Мелвил ведет туманные, ни к чему не обязывающие разговоры с Маргаритой Ленокс, честолюбивой матушкой этого кандидата на всякий случай.

Но таково условие любой удачной комедии: хотя все ее персонажи обманывают друг друга, а все же кое-кому случается и запустить глаза в карты соседа. Елизавета не так уж наивна, чтобы думать, что Мелвил лишь с тем приехал в Лондон, чтобы отпускать ей комплименты насчет ее волос и искусной игры на клавесине. Она знает, что предложение сдать с рук на руки Марии Стюарт ее, Елизаветы, отставленного дружка не слишком восхищает шотландскую королеву; ей также хорошо известны честолюбие и практическая сноровка леди Ленокс. Кое-что, надо думать, пронюхали и ее шпионы. И как-то, во время обряда посвящения в рыцари, когда Генри Дарнлей в качестве первого принца двора несет перед ней королевский меч, Елизавета в

приливе искренности обращается к Мелвилу и говорит ему, не сморгнув: «Мне очень хорошо известно, что вам больше приглянулся сей молодой повеса». Однако Мелвил при такой попытке бесцеремонно залезать к нему в потайной карман не теряет обычного хладнокровия. Плох тот дипломат, который не способен в трудную минуту соврать, не краснея. Сморщив умное лицо в презрительную гримасу и с пренебрежением глядя на того самого Дарнлея, ради которого он еще только вчера хлопотал, Мелвил замечает спокойно: «Ни одна умная женщина не изберет в мужья повесу с такой стройной талией и таким пригожим безбородым лицом, более подобающим женщине, чем зрелому мужу».

Сдалась ли Елизавета на искусный маневр опытного дипломата? Поверила ли его притворному пренебрежению? Или же она ведет в этой комедии еще более непроницаемую двойную игру? Но только вот что удивительно: сначала лорду Леноксу, отцу Дарнлея, дозволено вернуться в Шотландию, а в январе 1565 года разрешение получает и сам Дарнлей. Елизавета не то из каприза, не то из коварства посылает ко двору противницы как раз самого опасного кандидата. Забавно, что ходатаем по этому делу выступает не кто иной, как граф Лестер – он тоже ведет двойную игру, чтобы незаметно выскользнуть из брачных силков, расставленных его госпожой. Четвертый акт этого фарса тем самым переносится в Шотландию, но тут искусно нарастающая путаница обрывается, и комедия сватовства приходит к внезапному концу, неожиданному для всех участников.

Ибо политика, эта земная, искусственная сила, сталкивается в тот зимний день с некоей извечной, изначальной силой: жених, явившийся к Марии Стюарт с визитом, неожиданно находит в королеве женщину. После долгих лет терпеливого, безучастного ожидания она наконец пробудилась к жизни. До сей поры она была лишь королевской дочерью, королевской невестой, просто королевой и вдовствующей королевой – игрушка чужой воли, послушный объект дипломатических торгов. Впервые в ней просыпается чувство, одним рывком сбрасывает она с себя коросту честолюбия, словно тяготящее ее платье, чтобы свободно распорядиться своим юным телом, своей жизнью. Впервые слушается она не чужих советов, а лишь голоса крови – требований и подсказки своих чувств. Так начинается история ее внутренней жизни.

7. Второе замужество (1565)

То неожиданное, что произошло, в сущности, самая обыкновенная вещь на свете: молодая женщина влюбляется в молодого человека. Нельзя надолго подавить природу: Мария Стюарт, женщина с нормальными чувствами и горячей кровью, в этот поворотный миг стоит на пороге своей двадцать третьей весны. Четыре года вдовства протекли для нее в строгом воздержании, без единого сколько-нибудь серьезного любовного эпизода. Но страсти можно лишь до поры до времени держать в узде: даже в королеве женщина в конце концов предъявляет самое священное свое право – любить и быть любимой.

Предметом первого увлечения Марии Стюарт стал – редкий в мировой истории случай – не кто иной, как политический искатель невест, Дарнлей, в 1565 году по поручению своей матушки объявившийся в Шотландии. Мария Стюарт не впервые встречает этого юношу: четыре года назад, пятнадцатилетним подростком, он прибыл во Францию, чтобы принести в затененный покой вдовы de deuil blanc соболезнования своей матушки. И как же вытянулся с тех пор этот долговязый, широкоплечий юнец с соломенно-желтыми волосами, с девически гладким, безбородым, но и девически красивым лицом, на котором большие, круглые мальчишеские глаза с каким-то недоумением смотрят на мир. «Il n'est possible de voir un plus beau prince»[*], – сообщает о нем Мовиссьер, да и на взгляд юной королевы Дарнлей – «на редкость пригожий и статный верзила» – «the lustiest and bestproportioned long man». Марии Стюарт, с ее пылкой, нетерпеливой душой, свойственно обольщаться иллюзиями. Романтические натуры ее склада редко видят людей и жизнь в истинном свете; мир обычно представляется им таким, каким они хотят его видеть. Непрестанно бросаемые от чрезмерного увлечения к разочарованию, эти неисправимые мечтательницы никогда не отрезвляются полностью. Освободившись от иных иллюзий, они тут же поддаются другим, ибо в иллюзиях, а не в действительности для них настоящая жизнь. Так и Мария Стюарт в скороспелом увлечении этим гладким юношей не замечает вначале, что его красивая внешность не скрывает большой глубины, что тугие мускулы не говорят о подлинной силе, а придворный лоск не знаменует душевной утонченности. Мало избалованная своим пуританским окружением, она видит лишь, что этот юный принц мастерски

сидит в седле, что он грациозно танцует, любит музыку и прочие тонкие развлечения и при случае может накропать премилый мадригал. Малейший намек на артистичность в человеке всегда много для нее значит; она от души радуется, что нашла в молодом принце товарища по танцам и охоте, по всевозможным играм и упражнениям в искусствах, которыми увлекаются при дворе. Его присутствие вносит разнообразие и свежее дыхание юности в затхлость и скуку придворной жизни. Но не только королеву пленил Дарнлей – недаром, следуя наставлениям сметливой матушки, он ведет себя с примерной скромностью: повсюду в Эдинбурге он вскоре желанный гость, «well liked for his personage»[*], как доносит Елизавете ее недальновидный соглядатай Рандольф. С поразительной ловкостью добивается он успеха не только у Марии Стюарт, но и у всех вокруг.

Так, он завязывает дружбу с Давидом Риччо, новым доверенным секретарем королевы, агентом контрреформации: днем они вместе играют в мяч, ночью делят ложе. Но, заискивая у католической партии, он ластится и к протестантам. По воскресеньям сопровождает регента Меррея в реформатскую «кирку», где с хорошо разыгранным волнением слушает проповедь Джона Нокса; днем, для отвода глаз, обедает с английским посланником и славит доброе сердце Елизаветы, а вечером танцует с четырьмя Мариями. Короче говоря, долговязый, недалекий, но хорошо вышколенный юноша отлично справляется со своей задачей; и, будучи круглым ничтожеством, ни в ком не возбуждает преждевременных подозрений.

Но вот искра перекинулась, и занялся пожар – Мария Стюарт, чьей благосклонности ищут государи и князья, сама теперь ищет любви глупого девятнадцатилетнего мальчика. Долго сдерживаемая, нетерпеливая страсть пробивается с вулканической силой, как это бывает с цельными характерами, не растратившими и не промотавшими своих чувств в пустых интрижках и легкомысленных увлечениях; благодаря Дарнлею впервые в Марии Стюарт заговорило женское естество – ведь ее супружество с Франциском II так и осталось ничем не разрешившейся детской дружбой, и все эти годы женщина в королеве прозябала в каких-то сумерках чувств. Наконец-то перед ней человек, мужчина, на которого оттаявший, запруженный переизбыток ее страстности может излиться кипящей стремниной. Не размышляя, не рассуждая, она, как это часто бывает с женщинами, видит в первом попавшемся шалопае единственного возлюбленного, посланного ей судьбой. Конечно, умнее было бы повременить, проверить человека, узнать ему настоящую цену. Но требовать логики от страстно влюбленной

молодой женщины – все равно что искать солнце в глухую полночь. Тем-то и отличается истинная страсть, что к ней неприменим скальпель анализа и рассудка. Ее не вычислишь наперед, не сбалансируешь задним числом. Выбор, сделанный Марией Стюарт, лежит, без сомнения, за гранью ее обычно столь трезвого разума. Ничто в этом незрелом, тщеславном и разве что красивом мальчике не объясняет такого бурного разлива чувств. Как и у многих мужчин, которых не по заслугам любят превосходящие их духовно женщины, единственная заслуга Дарнлея, его приворотный корень в том, что ему посчастливилось в критическую минуту, исполненную величайшего напряжения, подвернуться этой женщине, в которой еще только дремала воля к любви.

Итак, понадобилось немало времени, чтобы кровь гордой дочери Стюартов взыграла. Зато теперь она бурлит и клокочет в нетерпении. Уж если Мария Стюарт что задумала, долго тянуть и откладывать она не станет. Что ей Англия, что Франция, что Испания, что все ее будущее по сравнению со счастьем этой минуты! Довольно с нее скучной игры в дурачки с Елизаветой, довольно полусонного сватовства из Мадрида, хотя бы и сулящего ей корону двух миров: ведь рядом он, этот светлый, юный и такой податливый, сластолюбивый мальчик с алым чувственным ртом, глупыми ребячьими глазами и еще только пробующей себя нежностью! Поскорее связать себя, принадлежать ему – вот единственная мысль, владеющая королевой в этом блаженно-чувственном ослеплении. Из придворных знает на первых порах о ее склонности, о ее сладостных тревогах лишь новый доверенный ее секретарь Давид Риччо, не жалеющий сил, чтобы искусно направить ладью влюбленных в гавань Цитеры[36]. Тайный агент папы видит в супружестве королевы с католиком верный залог владычества вселенской церкви в Шотландии и с усердием сводника хлопочет не столько о счастье юной пары, сколько о политических интересах контрреформации. В то время как оба хранителя печати, Меррей и Мэйтленд, еще и не подозревают о намерениях королевы, он сносится с папой, испрашивая разрешения на брак, поскольку Мария Стюарт состоит с Дарнлеем в четвертой степени родства. В предвидении неизбежных осложнений он зондирует почву в Мадриде, может ли королева рассчитывать на помощь Филиппа II, если Елизавета захочет помешать этому браку, – словом, исполнительный агент трудится не покладая рук в надежде, что успех послужит к его собственной славе и к славе католического дела. Но как он ни трудится, как ни роет землю, расчищая дорогу к заветной цели, королеве не терпится – ей противна эта медлительность, эта

осторожность и оглядка. Ведь пройдут бесконечные недели, пока письма со скоростью черепахи доползут туда и обратно через моря и океаны. Она более чем уверена в разрешении святого отца, так стоит ли ждать, чтобы клочок пергамента подтвердил то, что ей необходимо сейчас, сию минуту. В решениях Марии Стюарт всегда чувствуется эта слепая безоглядность, этот великолепный безрассудный задор. Но и эту волю королевы, как и всякую другую, сумеет выполнить расторопный Риччо; он призывает к себе католического священника, и хотя у нас нет доказательств того, что был совершен некий предварительный обряд – в истории Марии Стюарт нельзя полагаться на свидетельства отдельных лиц, – какое-то обручение состоялось, союз между влюбленными был как-то скреплен. «Laudato sia Dio, – восклицает их бравый приспешник Риччо, – теперь уже никому не удастся disturbare le nozze»[*]. При дворе и не догадываются о матримониальных планах Дарнлея, а он уже поистине стал господином ее судьбы; а может быть, и тела.

Matrimonio segreto[*] держится в строгой тайне; не считая священника, обязанного молчать, посвящены только эти трое. Но как дымок выдает невидимое пламя, так нежность обличает скрытые чувства; прошло немного времени, и весь двор уже глаз не сводит с влюбленной пары. Каждому бросилось в глаза, с каким рвением и какой тревогой ухаживала Мария Стюарт за своим родичем, когда бедный юноша – как ни смешно это звучит для жениха – заболел корью. Все дни просиживает она у постели больного, и он, поправившись, ни на шаг от нее не отходит. Первым насупил брови Меррей. До сего времени он от души поощрял (радея главным образом о себе) все матримониальные проекты своей сестрицы; будучи правоверным протестантом, он даже не возражал против того, чтобы породниться с испанским отпрыском Габсбургов, этим оплотом и щитом католицизма, не видя для себя в том большой помехи, – от Холируда не ближний свет до Мадрида. Но кандидатура Дарнлея для него зарез. Проницательному Меррею не надо объяснять, что едва лишь тщеславный слабохарактерный юнец станет принц-консортом, как он захочет самовластия, будто настоящий король; Меррей к тому же достаточно политик, чтобы чуять, куда ведут тайные происки секретаря-итальянца, агента папы: к восстановлению католического суверенитета, к искоренению Реформации в Шотландии. В этой непреклонной душе властолюбивые планы перемешаны с религиозными верованиями, жажда власти – с тревогой о судьбах отечества; Меррей ясно видит, что с Дарнлеем в Шотландии установится чужеземная власть, а его собственной

придет конец. И он обращается к сестре со словами увещания, предостерегая ее против брака, который вовлечет еще не замиренную страну в неисчислимые конфликты. И когда убеждается, что предостережениям его не внемлют, в гневе покидает двор.

Да и Мэйтленд, второй испытанный советник королевы, сдается не сразу. И он понимает, что его высокое положение и мир в Шотландии под угрозой, и он, как министр-протестант, восстает против принца-консорта[37] католика; постепенно вокруг обоих вельмож собирается вся протестантская знать. Открылись глаза и у английского посла Рандольфа. В смущении оттого, что оплошал и время упущено, ссылается он в своих донесениях на witchcraft – смазливый юноша якобы околдовал королеву – и бьет в набат, прося помощи. Но что значат недовольство и ропот всех этих мелких людишек по сравнению с неистовым, яростным и бессильным гневом Елизаветы, когда она узнает о выборе, сделанном противницей! Дорого же она поплатилась за свою двойную игру; во всей этой комедии сватовства ее попросту одурачили, сделали общим посмешищем. Под видом переговоров о Лестере выманили у нее истинного претендента и контрабандой увезли в Шотландию; она же со всей своей архидипломатией села в лужу и может теперь пенять только на себя. В приступе ярости она велит заточить в Тауэр леди Ленокс, мать Дарнлея, зачинщицу сватовства, она грозно приказывает своему «подданному» Дарнлею немедля вернуться в Англию, она стращает его отца конфискацией всех поместий, она созывает коронный совет, и он, по ее требованию, объявляет этот брак опасным для дружбы между обоими государствами, иначе говоря, угрожает войной. Но обманутая обманщица так растерялась в душе и так напугана, что тут же начинает клянчить и торговаться; спасаясь от позора, она торопится бросить на стол свой последний козырь, заветную карту, которую до сих пор прятала в рукаве. Впервые в открытой и обязывающей форме предлагает она Марии Стюарт (теперь, раз уже игра все равно проиграна) подтвердить ее право на английский престол, она даже отряжает в Эдинбург (так ей не терпится) нарочного с торжественным обещанием: «If the Queen of Scots would accept Leicester, she would be accounted and allowed next heir to the crown as though she were her own born daughter»[*]. Это ли не образчик извечной бессмыслицы всяких дипломатических торгов и ухищрений: то, чего Мария Стюарт долгие годы добивалась от своего недруга всеми силами ума, всей настойчивостью и хитростью, а именно: признания ее наследственных прав, само теперь плывет ей в руки и как раз благодаря величайшей глупости, какую она сотворила в

жизни.

Но такова судьба всех политических уступок: они всегда запаздывают. Не далее как вчера Мария Стюарт была политиком, сегодня она только женщина, только возлюбленная. Стать признанной наследницей английского престола было лишь недавно ее заветной мечтой; сегодня это честолюбивое стремление оттеснено куда более легковесным, но и более пламенным желанием женщины – поскорее завладеть этим статным красавцем, этим мальчиком. Запоздали угрозы и прельстительные посулы Елизаветы, запоздали и увещания честных друзей, таких, как герцог Лотарингский, ее дядя, который советует ей отказаться от этого «joli hutaudeau» – «смазливого шалопая». Ни доводам разума, ни соображениям государственной важности уже не совладать с ее пылким нетерпением. Иронически звучит ее ответ разъяренной Елизавете, запутавшейся в собственных сетях: «Мне поистине странно, что я не угодила моей доброй сестрице: ведь выбор, который она порицает, ни в чем не расходится с ее волей. Разве не отвергла я всех чужеземных искателей и не предпочла им англичанина, в жилах которого течет кровь обоих наших правящих домов, первого принца Англии?» Против этого Елизавете трудно возразить, ведь Мария Стюарт чуть не буквально – но только по-своему – выполнила ее волю. Она остановила свой выбор на английском дворянине, том самом, которого Елизавета прислала к ней с двусмысленными намерениями. Но так как соперница, не владея собой, засыпает ее все новыми предложениями и угрозами, Мария Стюарт высказывается уже грубо и откровенно. Слишком долго ее кормили обещаниями и обманывали в лучших надеждах: наскучив этим, она, с одобрения всей страны, сама сделала выбор. Невзирая на то, что из Англии шлют то кислые, то сладкие письма, в Эдинбурге на всех парах готовятся к свадьбе, Дарнлею наспех жалуют еще титул герцога Росского; английский посланник, который в последнюю минуту прискакал из Англии с кипой протестов и нот, еще не вылезая из кареты, слышит, что Генри Дарнлею отныне надлежит именоваться и титуловаться (namet and stylith) не иначе, как королем.

Двадцать девятого июля колокола возвещают о венчании. В маленькой домашней капелле Холируда священник благословляет молодых. Мария Стюарт, неистощимо изобретательная в устройстве торжественных церемоний, приводит всех в изумление, появившись в траурном одеянии, том самом, в котором она провожала гроб своего усопшего супруга, короля Франции, – этим она как бы подчеркивает, что не по

легкомыслию идет она вторично к алтарю, не потому, что забыла первого супруга, а единственно выполняя волю своего народа. И только прослушав мессу и вернувшись к себе в опочивальню, она – вся эта сцена мастерски задумана, и пышные уборы лежат наготове, – уступая нежным мольбам Дарнлея, соглашается снять траур и сменить его на цвета радости и веселья. Внизу осаждает замок ликующая толпа, в которую щедрыми горстями кидают деньги, и с легким сердцем королева и ее народ спешат упиться праздничным весельем. К великой досаде Джона Нокса, кстати лишь недавно, на пятьдесят седьмом году жизни, вторично вступившего в брак и взявшего девицу восемнадцати лет – но радости он признает только для себя, – четыре дня и четыре ночи кипит веселье, и пиршества сменяют друг друга, как будто все темное, гнетущее ушло навек и отныне начинается блаженное царство юности.

Отчаянию Елизаветы нет границ, когда она, незамужняя и неспособная к замужеству, слышит, что Мария Стюарт вновь взошла на брачное ложе. Сама же она своими хитроумными маневрами только осрамила себя на весь мир: сватала королеве Шотландской своего сердечного дружка, а его оконфузили всенародно; возражала против кандидатуры Дарнлея, а ее советами пренебрегли; послала нарочного с последним предупреждением, а ее посланца продержали у запертых дверей, пока не кончился обряд. Необходимо было что-то предпринять для спасения своего престижа. Порвать дипломатические отношения и объявить войну? Но под каким предлогом? Ведь Мария Стюарт абсолютно и неоспоримо права, она достаточно посчиталась с волею Елизаветы, не отдав своей руки чужеземцу, к тому же Дарнлей и безупречная партия: ближайший кандидат на английский престол, правнук Генриха VII – чем не достойный супруг? Нет, всякая попытка протестовать, ввиду полного ее бессилия, только изобличит перед миром личную досаду Елизаветы.

Однако двойная игра всегда была и пребудет душой всех поступков Елизаветы. Только что потерпев жестокую неудачу, она все же остается верна себе. Она, конечно, воздержится от объявления войны, не отзовет и своего посланника, но втихомолку постарается, елико возможно, пакостить счастливой паре. Слишком нерешительная и осторожная, чтобы открыто выступить против своих лютых врагов, Дарнлея и Марии Стюарт, она действует с помощью интриг и подкупов. В Шотландии всегда найдутся недовольные, восстающие против наследственной власти, а на сей раз с ними заодно человек, головой выше прочей

мелюзги, выделяющийся своей незаурядной энергией и открыто заявивший протест. Меррей демонстративно не явился на свадьбу сестры, и посвященные сочли это недобрым знаком. Ибо Меррею – что немало способствует притягательности и загадочности этой фигуры – в удивительной мере присуще умение предугадывать внезапные изменения политической погоды; какой-то верный инстинкт предупреждает его о назревающей опасности, и в этих случаях он делает самое умное, что может сделать умудренный политик, – исчезает. Он выпускает из рук кормило власти и становится невидим и неуловим. Подобно тому как внезапное высыхание рек и иссякание источников предвещает в природе стихийные бедствия, – так исчезновение Меррея неизменно предрекает – история Марии Стюарт тому наглядное доказательство – политическую непогоду. На первых порах Меррей ведет себя скорее пассивно. Он запирается в своем замке, он упрямо избегает двора, показывая, что, как регент и сберегатель протестантизма, решительно осуждает возведение Дарнлея на шотландский престол. Но Елизавете мало одного протеста. Ей нужен бунт; в Меррее и в столь же, как и он, недовольных Гамильтонах ищет она союзников и помощников. Со строжайшим наказом ни в коем случае ее не скомпрометировать, «in the most secret way», поручает она агенту поддержать лордов деньгами и людьми «as if from himself», якобы по его личному почину, ей же, Елизавете, будто ничего о том не известно. Деньги, как благодатная роса на жухнущие луга, падают в жадные руки лордов, сердца их снова загораются мужеством, и обещанная военная помощь способствует назреванию мятежа, которого с таким нетерпением ждут в Англии.

Пожалуй, единственная ошибка Меррея, этого умного и дальновидного политика, в том, что он и в самом деле понадеялся на ненадежнейшую из правительниц и стал во главе мятежа. Разумеется, осторожный заговорщик не спешит ударить и лишь тайно вербует сообщников; он не прочь повременить, пусть Елизавета открыто выскажется за возмутившихся лордов, и тогда не как мятежник, но как сберегатель веры станет он против сестры. Однако Мария Стюарт, встревоженная двусмысленным поведением брата и по праву не желая терпеть его враждебной безучастности, торжественно призывает его к ответу, требуя, чтоб он оправдался перед парламентом. Меррей, гордостью не уступающий сестре, не признает себя обвиняемым и надменно отказывается покориться; и тогда на него и его приверженцев налагается опала (put to the horn), глашатай возвещает об этом на рыночной площади. Так снова призвано решать оружие, а не разум.

И тут, как всегда в минуты ответственных решений, проявляется с неотразимой ясностью различие обоих темпераментов – Марии Стюарт и Елизаветы. Мария Стюарт не знает колебаний, ее мужество нетерпеливо, у него жаркое дыхание и быстрая поступь. Елизавета же, скованная робостью, медлит и тянет с решением; она еще только размышляет, не вмешаться ли открыто, не повелеть ли государственному казначею снарядить войско в помощь бунтовщикам, как Мария Стюарт уже нанесла удар. Всенародно оглашает она грамоту, в которой начисто изобличает бунтовщиков. «Мало того что они без счету захватили почестей и богатств, они бы и Нас, и все Наше Королевство рады прибрать к рукам, чтобы владеть им по своей воле, а Нам бы слушаться во всем их указки, – словом, они не прочь завладеть престолом, а Нам разве что оставить титул, исправлять же все дела в государстве предерзостно берутся сами».

Не теряя ни минуты, вскакивает отважная амазонка в седло. Сунув пистолеты за пояс, в сопровождении закованного в золоченые латы молодого супруга и верных присяге дворян, торопится она во главе наспех собранного войска навстречу бунтовщикам. Не успели веселые гости отрезвиться, как свадебный поезд превратился в военный поход. И эта безоглядная решимость приносит свои плоды. Кое-кого из мятежных баронов оторопь берет перед этой новоявленной энергией, тем более что подкреплений из Англии не видно, Елизавета вместо обещанной помощи отделывается смущенными отговорками. Один за другим возвращаются они с повинной к своей законной государыне, и только Меррей не хочет покориться; всеми покинутый, он не успевает сколотить мало-мальски годное войско, как уже разбит наголову и вынужден скрыться. До самой границы преследует его в безумной, бешеной скачке победоносная королевская чета. Меррей едва уносит ноги и в середине октября находит убежище на английской земле.

Полная победа – все бароны и лорды ее владений тесно сомкнулись вокруг Марии Стюарт, впервые за долгое время Шотландия вновь припала к ногам своего государя и государыни. На какой-то миг уверенность в своих силах так захлестывает Марию Стюарт, что она подумывает, не перейти ли в наступление, не вторгнуться ли в Англию, где, как она знает, католическое меньшинство с ликованием встретит освободительницу; трезвые советчики с трудом сдерживают ее разгулявшуюся удаль. Зато учтивостям конец – с тех пор как она выбила из рук противницы все ее карты, в том числе и ту, что Елизавета прятала в рукаве. Брак по собственному выбору был

первой победой Марии Стюарт, разгром мятежников – второй; открыто, уверенно может она теперь смотреть в глаза своей «доброй сестрице» за кордоном.

Если положение Елизаветы и раньше было незавидным, то после разгрома ею выпестованных и обнадеженных бунтовщиков ей приходится и вовсе туго. Разумеется, всегда существовал и существует у правителей обычай – в случае поражения тайно навербованных в соседней стране повстанцев открыто их дезавуировать, предоставив собственной участи. Но уж если кому не повезет, так не везет до конца. Надо же случиться, чтобы какие-то деньги Елизаветы, предназначенные для лордов, – явная улика – благодаря смелому нападению попали в руки Босуэлу, заклятому недругу Меррея. А тут еще и вторая неприятность: спасаясь от преследования, Меррей, естественно, бежал в страну, где его открыто и тайно ласкали, – в Англию. Мало того, у побежденного хватило смелости пожаловать в Лондон. Какой конфуз – попасться в двойной игре, когда до сих пор ей все сходило с рук! Ведь допустить ко двору опального Меррея – значит задним числом благословить мятеж. Если же она отвернется от тайного союзника и Тем нанесет ему открытую обиду, чего только оскорбленный не способен наклепать на свою милостивицу, о чем при иностранных дворах и знать не должно. Никогда еще Елизавета не попадала в такую ловушку из-за своей двойной игры. Но недаром это век прославленных комедий, и не случайно Елизавета дышит тем же пряным, пьянящим воздухом, что Шекспир и Бен Джонсон. Природная актриса, она, как ни одна королева, знает толк в театре и эффектных сценах. Хэмптон-корт и Вестминстер[38] того времени могли смело поспорить с «Глобусом» и «Фортуной»[39] по части эффектных сцен. Едва лишь становится известно о прибытии неудобного союзника, как его в тот же вечер призывает к себе Сесил, чтобы прорепетировать с ним роль, которую тому завтра предстоит исполнить для реабилитации Елизаветы.

Трудно выдумать что-либо более наглое, чем эта разыгранная наутро комедия. У королевы сидит французский посланник, разговор идет – ведь ему и невдомек, что он зван на веселый фарс, – о политических делах. Вошедший слуга докладывает о прибытии графа Мелвила. Королева высоко вздергивает брови. Что такое? Не ослышалась ли она? Неужто и вправду лорд Меррей? Да как же он осмелился, презренный мятежник, обманувший ее «добрую сестрицу», явиться в Лондон? И что за неслыханная наглость показаться на глаза ей, которая – весь мир это знает – телом и душой предана своей милой кузине. Бедная

Елизавета! Она не может опомниться от удивления и негодования. И лишь после долгих колебаний решается принять этого «наглеца», но только не с глазу на глаз. Нет, боже упаси! И она не отпускает французского посланника, чтобы заручиться свидетелем своего «искреннего» возмущения.

Выход Меррея. Серьезно и добросовестно ведет он свою роль. Уже самое его появление говорит о том, что человек пришел с повинной головой. Смиренно и нерешительно, отнюдь не обычной своей горделивой и смелой походкой, облаченный во все черное, приближается он, склоняет колено, как проситель, и обращается а королеве на своем родном шотландском языке. Елизавета обрывает его и приказывает говорить по-французски, дабы посланник мог следить за их беседой, – пусть никто не посмеет сказать, что у королевы какие-то секреты с отъявленным бунтовщиком. Меррей что-то смущенно бормочет, но Елизавета сразу же переходит в наступление: она-де не понимает, как он, беглец и бунтовщик, восставший против ее лучшего друга, отважился без зова явиться во дворец. Правда, у нее с Марией Стюарт бывали разногласия, но ничего серьезного. Она всегда видела в шотландской королеве родную сестру и надеется, что так будет и впредь. И если Меррей не докажет, что лишь по недоразумению или защищая свою жизнь восстал он против своей госпожи, она повелит бросить его в тюрьму и будет судить как изменника. Пусть же Меррей перед ней оправдается.

Натасканный Сесилом, Меррей прекрасно понимает, что волен говорить решительно все, кроме правды. Он знает: всю вину ему должно принять на себя, чтобы обелить Елизавету в глазах посланника, доказать ее полную непричастность к ею же инспирированному заговору, Он должен подтвердить ее алиби. И вместо того чтобы жаловаться на сводную сестру, он превозносит ее до небес. Она свыше меры наградила его землями, осыпала почестями и щедрыми дарами, да и он служил ей не за страх, а за совесть, и только опасение, что против него злоумышляют, боязнь за свою жизнь затуманили его разум. К Елизавете же он явился лишь затем, чтобы она, по милости своей, помогла ему исхлопотать прощение у его повелительницы, королевы Шотландской.

Уже эти слова ласкают слух тайной подстрекательницы. Но Елизавете все еще мало. Не для того она инсценировала комедию, чтобы Меррей в присутствии посланника принял всю вину на себя, а для того, чтобы, как главный свидетель, он удостоверил, что Елизавета ничего не знала о заговоре. Прожженный политик солжет – недорого возьмет, и Меррей клятвенно заверяет посланника, что Елизавета «ни сном ни духом не ведала о

заговоре, никогда она не наущала ни его, Меррея, ни его друзей нарушить свой верноподданнический долг, возмутиться против Ее Величества королевы».

Елизавета добилась своего алиби. Она полностью обелена. С чисто актерским пафосом напускается она на своего сценического партнера: «Вот когда ты сказал правду! Ибо ни я, ни кто другой от моего имени не подстрекал вас против вашей королевы. Такое предательство могло бы дурно кончиться и для меня. Ведь, наученные дурным примером, и мои подданные могли бы восстать против меня. А теперь с глаз долой, бунтовщик!»

Меррей низко склонил голову – уж не для того ли, чтобы скрыть мелькнувшую на губах улыбку? Он хорошо помнит, сколько десятков тысяч фунтов были всучены ему и другим лордам через их жен от имени королевы Английской, помнит письма и заверения Рандольфа и обещания государственной канцелярии. Но он знает: если он возьмет на себя роль козла отпущения, Елизавета не изгонит его в пустыню. Да и французский посол с выражением почтительности на лице хранит учтивое молчание; человек светский и образованный, он умеет ценить хорошую комедию. Лишь дома, у себя в кабинете, восседая за конторкой и строча донесение в Париж, позволит он себе лукавую усмешку. Не совсем легко на душе в эту минуту, пожалуй, только у Елизаветы; должно быть, ей не верится, что кто-то ей поверил. Но, по крайней мере, ни одна душа не решится открыто высказать сомнение – видимость соблюдена, а кому нужна правда! Исполненная величия, шурша пышными юбками, покидает она в молчании зал.

То, что Елизавета вынуждена прибегнуть к таким жалким увертками, чтобы, потерпев поражение, обеспечить себе хотя бы моральное отступление, – вернейшее свидетельство сегодняшнего могущества Марии Стюарт. Горделиво поднимает она голову – все устроилось по желанию ее сердца. Ее избранник носит корону. Восставшие бароны либо вернулись, либо преданы опале и блуждают на чужбине. Звезды благоприятствуют ей, а если от нового союза родится наследник, сбудется ее заветная, великая мечта: Стюарт станет преемником объединенного престола Шотландии и Англии.

Звезды благоприятствуют ей, благословенная тишина воцарилась наконец в стране. Мария Стюарт могла бы теперь вздохнуть, вкусить завоеванное счастье. Но жить в вечной тревоге и порождать тревогу – закон ее неукротимой натуры. Тот, у кого своенравное сердце, не знает счастья и мира, идущих извне. Ибо в своем буйстве оно неустанно порождает все новые беды и

неотвратимые опасности.

8. Роковая ночь в Холируде (9 марта 1566 года)

Если чувство в самой поре, то такова уж его природа, что оно не рассчитывает и не скаредничает, не колеблется и не сомневается; когда любит царственно щедрая натура, это – полное самоотречение и саморасточение. Первые недели замужества у Марии Стюарт только и заботы, как излить на молодого супруга свое благоволение. Каждый день приносит Дарнлею новую нечаянную радость – то лошадь, то богатый наряд, – сотни маленьких нежных даров любви, после того как она отдала ему самый большой – королевский титул и свое неуемное сердце. «Чем только может женщина возвеличить мужчину, – сообщает английский посол в Лондон, – он взыскан в полной мере… Вся хвала, все награды и почести, какими она располагает, – все сложено к его ногам. На каждого она смотрит его глазами, да что говорить – даже волю свою она отдала ему». Верная своей неистовой натуре, Мария Стюарт ничего не умеет делать наполовину, всему отдается она безоговорочно, целиком. Когда она дарит свою любовь, то уж без робости, без оглядки, очертя голову, в неудержимом порыве давать и давать без конца и меры. «Она во всем покорна его воле, – пишет дальше Рандольф, – он вертит ею, как хочет». Страстная любовница, она вся растворяется в послушании, в смирении, переходящем в экстаз. Только безграничная гордость может в душе любящей женщины обратиться в столь безграничное смирение.

Однако великие дары лишь тому во благо, кто их достоин, для недостойного они опасны. Сильные характеры крепнут благодаря возросшей власти (поскольку власть – их естественная стихия), слабые же гибнут под бременем незаслуженного счастья. Успех пробуждает в них не скромность, а заносчивость; в каждом свалившемся с неба подарке видят они по детской наивности собственную заслугу. Как вскоре выясняется, опрометчивая и безудержная щедрость Марии Стюарт фатально растрачена на ограниченного, тщеславного мальчишку, которому приличнее бы иметь гувернера, чем повелевать королевой с большой душой и большим сердцем. Ибо стоило Дарнлею заметить, какую силу он приобрел, и он становится нагл и заносчив; Он принимает милости Марии Стюарт, словно причитающуюся ему дань, а великий дар ее царственной любви – как неотъемлемую привилегию мужчин. Став ее господином, он считает, что вправе ее третировать. Ничтожная душонка, «heart of wax»[*], как с

презрением скажет о нем сама Мария Стюарт, избалованный мальчишка, ни в чем не знающий меры, он напускает на себя важность и бесцеремонно вмешивается в государственные дела. Побоку стишки и приятные манеры, они ему больше не нужны, он пытается командовать в коронном совете, кричит и сквернословит, он бражничает в компании забулдыг, а когда королева как-то захотела увести его из этого недостойного общества, он грубо выругался, и, оскорбленная публично, она не могла сдержать слезы. Мария Стюарт даровала ему королевский титул – только титул, а он и вправду возомнил себя королем и настойчиво требует равной с ней власти – the matrimonial crown; безбородый девятнадцатилетний мальчишка притязает на то, чтобы править Шотландией, точно своей вотчиной. При этом каждому ясно: за вызывающей грубостью не кроется и тени мужества, за похвальбой – ни намека на твердую волю. Марии Стюарт не уйти от постыдного сознания, что свое первое, прекраснейшее чувство она растратила зря, на неблагодарного балбеса. Слишком поздно, как это часто бывает, пожалела она, что не послушалась добрых советов.

А между тем нет для женщины большего унижения, нежели сознание, что она чересчур поспешно отдалась человеку, не достойному ее любви; никогда настоящая женщина не простит этой вины ни себе, ни виновнику. Но столь великая страсть, связывающая двух любовников, не может сразу смениться простой холодностью и бездушной учтивостью: раз воспламенившись, чувство продолжает тлеть и только меняет окраску; вместо того чтобы пылать любовью и страстью, оно распространяет чад ненависти и презрения. Едва осознав ничтожество этого шалопая, Мария Стюарт, всегда неукротимая в своих порывах, сразу же лишает его своих милостей, делая это, быть может, резче и внезапнее, чем позволила бы себе женщина более осмотрительная и расчетливая. Из одной крайности она впадает в противоположную. Одну за другой отнимает она у Дарнлея все привилегии, какие в первом увлечении страсти, не размышляя, без счета дарила ему. О подлинном совместном правлении, о matrimonial crown, которую она когда-то принесла шестнадцатилетнему Франциску II, теперь уже и речи нет. Дарнлей вскоре с гневом замечает, что его больше не зовут на заседания государственного совета; ему запрещают включить в свой герб королевские регалии. Низведенный на амплуа принца-консорта, он уже играет при дворе не первую роль, о какой мечтал, а в лучшем случае роль оскорбленного резонера. Вскоре пренебрежительное отношение передается и придворным: его друг Давид Риччо больше не показывает ему важных

государственных бумаг и, не спросясь его, скрепляет письма железной печатью (iron stamp) с росчерком королевы; английский посол уже не титулует его «величеством» и не далее как в сочельник, всего лишь полгода спустя после медового месяца, сообщает о «strange alterations»[*] при шотландском дворе. «Еще недавно здесь только и слышно было, что «король и королева», а теперь его именуют «супругом королевы». Дарнлей уже привык к тому, что в королевских рескриптах его имя стоит первым, а теперь ему приходится довольствоваться вторым местом. Были вычеканены монеты с двойным изображением: «Henricus et Maria», но их тут же изъяли из обращения и заменили новыми. Между супругами чувствуется какое-то охлаждение, но поколе это лишь amantium irae[*], или, как говорят в народе, household words[*], этому не надо придавать значения, лишь бы дело не пошло дальше».

Но оно пошло дальше! К тем горьким обидам, какие картонный король вынужден терпеть при собственном дворе, присоединяется тайная и наиболее чувствительная – обида оскорбленного мужа. Что в политике не обойдешься без лжи, к этому Мария Стюарт притерпелась за долгие годы. Не то в сфере чувства: ее глубоко честной натуре не свойственно притворство. Едва лишь ей становится ясно, как она продешевила свое чувство, свою страсть, едва лишь из-за вымышленного Дарнлея поры жениховства выступает недалекий, тщеславный, наглый и неблагодарный юнец, как физическое тяготение сменяется гадливостью. Охладев к этому человеку, она не выносит больше его близости.

Едва королева замечает, что беременна, она под всевозможными предлогами уклоняется от супружеских объятий. То она больна, то устала, вечно у нее находятся отговорки, чтобы отделаться от него. И если в первые месяцы их супружества (разгневанный Дарнлей сам разоблачает эти интимные подробности) именно она была требовательна в своей страсти, то теперь она оскорбляет его частыми отказами. Так что и в самой интимной сфере, в которой ему сперва удалось завоевать эту женщину, Дарнлей чувствует себя – и это наиболее глубокая, потому что наиболее болезненная обида, – обездоленным и отвергнутым.

У Дарнлея не хватает душевной выдержки, чтобы скрыть свое поражение. Глупо и тупо плачется он всем и каждому на свою отставку, он ропщет, вопит, бьет себя в грудь и клянется, что месть его будет ужасна. Но чем громогласнее трубит он о своей обиде, тем нелепее звучат его угрозы; проходит несколько месяцев, и, невзирая на королевский титул, недавний кумир

низведен в глазах придворных на роль скучного, озлобленного приживальщика, от которого каждый норовит отвернуться. Никто уже не гнет перед ним спину – какое там, все смеются, когда этот Henricus, Rex Scotiae[*], чего-нибудь желает, или просит, или требует. Но даже ненависть не так страшна для властителя, как всеобщее презрение.

Жестокое разочарование, постигшее Марию Стюарт в ее втором браке, помимо человеческой, имеет еще и политическую сторону. Она надеялась, что, опираясь на молодого, преданного ей душой и телом супруга, избавится наконец от опеки Меррея, Мэйтленда и баронов. Но вместе с медовым месяцем миновали и эти иллюзии. Ради Дарнлея оттолкнула она Меррея и Мэйтленда и теперь более чем когда-либо чувствует себя одинокой. Как бы ни было велико постигшее ее разочарование, Мария Стюарт с ее открытой душой должна кому-то верить; неустанно ищет она помощника не за страх, а за совесть, на которого можно было бы целиком положиться. Лучше уж приблизить к себе человека низкого происхождения, пусть у него не будет представительности Меррея или Мэйтленда, лишь бы он обладал достоинствами куда более необходимыми при шотландском дворе, неотъемлемыми достоинствами всякого доброго слуги – безусловной преданностью и надежностью.

Случай привел к ней такого человека. Маркиз Моретта, савойский посол, привез в Шотландию среди своей многочисленной свиты молодого смуглого пьемонтца (in visage very black) Давида Риччо, лет двадцати восьми, черноглазого, с румяными губами, весьма искусного певца (particolarmente era buon musico). Как известно, поэты и музыканты – самые желанные гости при романтическом дворе Марии Стюарт. От матери и отца унаследовала она горячую любовь к изящным искусствам, и ничто так не утешает и не радует молодую королеву в ее сумрачном окружении, как возможность послушать прекрасное пение, насладиться звуками скрипки или лютни. В то время придворной капелле как раз требовался бас, и, поскольку сеньор Дейви (как именовали итальянца в кругу друзей) не только хорошо пел, но и умел перекладывать стихи на музыку, королева попросила посла отдать ей своего «buon musico» в личное услужение. Моретта не возражал, да и Риччо улыбалось место, обещавшее шестьдесят пять фунтов в год. То, что его провели по книгам как «Davide le chantre»[*] и зачислили камердинером по штату придворной челяди, нисколько его не принижает – вплоть до времени Бетховена музыканты, будь то даже полубоги, занимают при княжеских дворах положение челядинцев. Еще

Вольфганг Амадей Моцарт и седовласый Гайдн, хоть слава их гремит по всей Европе, едят не за княжьим столом вместе с дворянством и высшей знатью, а на голых досках, с конюшими и камеристками.

Однако у Риччо не только сладкозвучный голос, но и прекрасная голова, ясный, живой ум и тонкий вкус. Латынь он знает не хуже, чем английский и французский, к тому же у него пребойкое перо – один из сохранившихся его сонетов свидетельствует о подлинном поэтическом даровании и чувстве формы. Вскоре Риччо представляется случай покинуть лакейскую. Доверенный секретарь королевы Роле не проявил должной стойкости в отношении свирепствующей при шотландском дворе эпидемии – английского подкупа. Пришлось весьма поспешно с ним расстаться. И вот на опустевшее место в кабинете королевы пролезает расторопный Риччо; с этой минуты он быстро поднимается по чиновной лестнице. Из обыкновенного писца он становится доверенным писцом королевы. Мария Стюарт уже не диктует пьемонтцу-секретарю свои письма, он набрасывает их сам, по своему усмотрению. Спустя несколько недель его влияние дает себя знать в шотландских делах. Скоропалительный союз с католиком Дарнлеем – в значительной мере его детище, а ту необычайную твердость, с какой королева отказывается помиловать Меррея и других бунтовщиков, опальные вельможи не зря относят за счет его интриг. Был ли Риччо агентом папы при шотландском дворе, сказать трудно, возможно, это только подозрение; но, ярый приверженец католичества и папы, он все же с большей преданностью служит Марии Стюарт, чем ей когда-либо служили в Шотландии. А настоящую преданность Мария Стюарт умеет ценить. Тот, на чью верность она может рассчитывать, вправе рассчитывать на ее милости. Открыто, слишком открыто поощряет она Риччо, дарит ему дорогое платье, доверяет королевскую печать и государственные тайны. Оглянуться не успели, а Давид Риччо уже один из первых вельмож; нимало не смущаясь, садится он за стол вместе с королевой и ее подругами; как в свое время Шателяр (зловещее родство судеб!), он в качестве доброхотного maître de plaisir, министра пиров и увеселений, помогает устраивать при дворе концерты и другие изящные развлечения, из слуги все больше превращаясь в друга. На зависть придворной челяди, низкорожденный иноземец засиживается в покоях королевы до глубокой ночи, беседуя с нею с глазу на глаз; одетый по-княжески, недоступно надменный, он поставлен очень высоко, а давно ли нищим проходимцем в потертой лакейской ливрее явился ко двору – только что песни петь горазд! Теперь же ни

одно дело в Шотландии не делается без его ведома и спроса. Но и вознесенный над всеми, Риччо остается преданнейшим слугою своей госпожи.

Есть у нее и второй надежный столп ее самостоятельности – не только политическая, но и военная власть отдана ею в верные руки. Опорою ей и на этот раз становится новое лицо – лорд Босуэл; протестант, он уже в юности отстаивал интересы ее матери, Марии де Гиз, против протестантской конгрегации и от гнева Меррея бежал из Шотландии. После падения своего смертельного врага он вернулся и отдал себя и своих приверженцев в распоряжение королевы, а это нешуточная сила. Безоглядно смелый, готовый на любое приключение рубака, железный воин, равно горячий в ненависти и любви, Босуэл ведет за собою своих borderers – пограничников. Да он и сам по себе представляет несокрушимую армию. Благодарная Мария Стюарт дает ему звание генерал-адмирала, зная, что он схватится с любым врагом, чтобы защитить ее и ее право на престол.

Опираясь на этих верных паладинов, двадцатитрехлетняя Мария Стюарт может крепко натянуть поводья власти – политической и военной. Наконец-то она рискует править одна против всех – нет такого риска, на который не отважилась бы эта безрассудная душа.

Но всякий раз как монарх в Шотландии вздумает править самовластно, лорды встают на дыбы. Ничто так не поперек души этим ослушникам, как королева, которая не заискивает и не трепещет перед ними. Из Англии рвутся домой Меррей и другие опальные вельможи. Они ведут подкупы и подкладывают мины, в том числе серебряные и золотые, но Мария Стюарт проявляет неожиданную твердость, и гнев дворян обрушивается в первую голову на временщика Риччо: тайный ропот и возмущение распространяются по замкам. С негодованием чуют протестанты, что в Холируде плетется тончайшая сеть дипломатических интриг макиавеллиевской чеканки. Они не столько знают, сколько догадываются, что Шотландия включилась в обширный тайный заговор контрреформации; быть может, Мария Стюарт в сговоре с католическим союзом и связала себя какими-то обязательствами. Первым в ответе за это чужак Риччо, проходимец, которого так жалует королева, а между тем при дворе у него не найдется ни одного доброжелателя. Поистине удивительно, как умных людей всегда подводит собственное неразумие. Вместо того чтобы скрыть свою силу, Риччо – вечная ошибка всякого выскочки – тщеславно выставляет ее напоказ. Но едва ли не больше всего страдает самолюбие у гордых вельмож, когда они видят, как

прощелыга лакей, приблудный шарманщик без роду и племени проводит долгие часы в покоях государыни рядом с ее опочивальней, услаждая сердце задушевной беседой. Все больше терзает их подозрение, что эти тайные беседы клонятся к тому, чтобы с корнем вырвать Реформацию и утвердить в стране католицизм. И дабы своевременно расстроить эти гнусные замыслы, несколько протестантских лордов вступают в тайный заговор.

Веками повелось, что шотландское дворянство знает одно только средство для расправы с неугодным противником – убийство. Лишь когда паук, ткущий невидимую паутину, будет раздавлен, когда увертливый, неуязвимый итальянский искатель приключений будет убран с дороги, только тогда удастся им вновь захватить власть и Мария Стюарт станет сговорчивей. План извести Риччо, видимо, довольно давно засел в голове у шотландской знати; за много месяцев до убийства английский посол сообщает в Лондон: «Либо Господь приберет его до времени, либо им уготовит ад на земле». Но заговорщики долго не решаются выступить открыто. У них еще поджилки трясутся при воспоминании, как быстро и решительно пресекла Мария Стюарт их недавний бунт, им вовсе не улыбается разделить участь Меррея и прочих эмигрантов. Не меньше страшатся они железной руки Босуэла, зная, как он скор на расправу, и понимая, что надменный временщик не унизится до того, чтобы вступить с ними в тайный сговор. Поэтому они только ворчат да стискивают кулаки в карманах, пока у кого-то не возникает план – поистине дьявольская выдумка – изобразить убийство Риччо не актом крамолы, а наоборот, вполне законным и истинно патриотическим деянием, для чего воспользоваться Дарнлеем как прикрытием, поставив его во главе заговора. На первый взгляд нелепая затея! Властитель королевства вступает в заговор против собственной супруги, король против королевы! Но психологически она вполне оправдана, ибо сильнейшим стимулом у Дарнлея, как у всякого слабого человека, является неудовлетворенное тщеславие. Да и Риччо слишком вознесся, чтобы отвергнутый Дарнлей не кипел злобой и ненавистью на своего бывшего приятеля. Приблудный бродяга ведет дипломатические переговоры, о которых он, Henricus, Rex Scotiae, даже не ставится в известность; до часу, до двух ночи просиживает у королевы, отнимая у супруга его законные часы, и власть фаворита прибывает со дня на день, в то время как его собственная власть на глазах у всего двора с каждым днем идет на убыль. Нежелание Марии Стюарт сделать его соправителем, передать ему matrimonial crown, Дарнлей, быть может и

справедливо, приписывает влиянию Риччо, а ведь одного этого достаточно, чтобы разжечь ненависть в обиженном человеке, не отличающемся особым душевным благородством. Но бароны подливают еще злейшего яду в отверстые раны его тщеславия, они растравляют в Дарнлее самое чувствительное место – его оскорбленную мужскую честь. Они пробуждают в нем ревность, всячески давая понять, что королева делит с Риччо не только трапезы, но и ложе. И хотя доказательств у них нет, Дарнлей тем легче клюет на эту наживку, что Мария Стюарт в последнее время то и дело уклоняется от выполнения супружеского долга. Неужто – жестокая мысль! – она предпочла ему этого чумазого музыканта? Ущемленное честолюбие, у которого не хватает мужества для открытых, членораздельных обвинений, легко склонить к подозрительности: человек, который сам себе не верит, не станет верить и другим. Лордам не приходится долго подзуживать Дарнлея, чтобы довести его до исступления и безумия. Вскоре Дарнлей уже не сомневается, что «ему причинена злейшая обида, какую можно нанести мужчине». Так невозможное становится фактом: король соглашается возглавить заговор, обращенный против королевы, его супруги.

Был ли черномазый музыкант Риччо действительно любовником королевы, так и осталось неразрешимой загадкой. То открытое благоволение, которым Мария Стюарт дарит своего доверенного писца на глазах у всего двора, скорее красноречиво опровергает это подозрение. Если даже допустить, что духовная близость женщины и мужчины отделена от физической лишь незаметной чертой, которую иная взволнованная минута или неосторожное движение могут легко стереть, то все же Мария Стюарт, уже носящая под сердцем ребенка, так уверенно и беззаботно отдается дружбе с Риччо, что трудно счесть это искусной личиной неверной жены. Находясь со своим секретарем в предосудительной связи, для нее было бы естественно избегать всего, что наводит на подозрение: не засиживаться с итальянцем до утра за музыкой или за картами, не запираться с ним в своем рабочем кабинете для составления дипломатических депеш. Но и здесь, как в случае с Шателяром, Марию Стюарт подводят как раз наиболее располагающие ее черты – презрение к пересудам, поистине царственное нежелание считаться с наговорами и сплетнями, искренняя непосредственность. Опрометчивость и мужество обычно соединены в одном характере, подобно добродетели и наивности, являя две стороны одной медали; только трусы и сомневающиеся в себе страшатся даже подобия вины и действуют с оглядкой и расчетом.

Но стоит кому-либо пустить молву о женщине, хотя бы самую нелепую и вздорную, как ее уже не остановишь. Переносясь из уст в уста, она ширится и растет, раздуваемая ветром любопытства. Целых полвека спустя клевету эту подхватит Генрих IV[40]; в насмешку над Иаковом VI, сыном Марии Стюарт, которого она тогда носила во чреве, он скажет: «Ему правильнее было бы называться Соломоном[41], ведь он тоже «Давидов сын». Так репутация Марии Стюарт вторично терпит тяжкий ущерб и опять не по ее вине, а исключительно по опрометчивости.

Заговорщики, натравливавшие Дарнлея, сами не верили в свою выдумку – это явствует уже из того, что два года спустя они торжественно провозгласят мнимого бастарда королем. Вряд ли стали бы надменные лорды присягать на верность незаконному отпрыску заезжего музыканта. Ослепленные ненавистью, обманщики и тогда уже знали правду, и клевещут они лишь затем, чтобы пуще растравить в Дарнлее обиду. А он уже и без того не владеет собой; у него уже и без того какой-то ералаш в голове из-за вечно грызущего чувства неполноценности – и вспыхнувшее подозрение его ослепляет: огненной волной накатила ярость, как бык, устремился он на красный лоскут, которым размахивали у него перед носом, и, унося его на себе, ринулся в расставленную западню. Не задумываясь, дает он себя вовлечь в заговор против собственной жены. Проходит день-другой, и Дарнлей больше всех жаждет крови Риччо, своего бывшего друга, с которым он делил хлеб и постель, да и короной он в немалой степени обязан приблудному итальянскому музыкантишке.

Политическое убийство подготовляется шотландской знатью обстоятельно, как некое долгожданное торжество. Никакой спешки и горячности под впечатлением минуты: партнеры заранее обмениваются письменными обязательствами – на честь и совесть здесь надежды плохи, для этого они слишком хорошо знают друг друга, – скрепляя их по всей форме подписью и печатью, словно это не рыцарское дело, а нотариальный акт. При всех таких злодейских начинаниях, словно при торговой сделке, пишется на пергаменте контракт, так называемый «covenant», или «bond», в котором вельможные бандиты клянутся в верности друг другу до гробовой доски, ибо только скопом, только как банда или клан дерзают они подняться на своих властителей. На сей раз, впервые в истории Шотландии, заговорщики удостоились невиданной чести: на их «бондах» стоит подпись короля. Между Дарнлеем и лордами заключены два честных, добропорядочных контракта, в коих отставленный король и обойденные бароны пункт за пунктом обязуются отнять у Марии Стюарт власть. В

первом «бонде» Дарнлей при любом исходе гарантирует заговорщикам полную безнаказанность (shaithless), обещая лично ходатайствовать за них и защищать их перед самой королевой. Далее он изъявляет согласие на возвращение изгнанных лордов и на отпущение им всех провинностей (faults), как только он получит королевскую власть, ту самую matrimonial crown, в которой Мария Стюарт так упорно ему отказывала; кроме того, он обязуется оберегать «кирку» от малейших посягательств. В свою очередь, заговорщики обещают во втором «бонде», или, как выражаются коммерсанты, во взаимном обязательстве, признать за Дарнлеем всю полноту власти, более того, в случае смерти королевы (из дальнейшего видно, что не наобум предусмотрели они эту возможность) сохранить за ним власть. Но за ясными, казалось бы, словами сквозит нечто, что не доходит до ушей Дарнлея, а вот английский посол слышит то, что в тексте и за текстом, – намерение вообще избавиться от Марии Стюарт и с помощью «несчастного случая» обезвредить королеву заодно с ее итальянцем.

Еще не просохли все подписи под позорной сделкой, а в Англию уже скачут гонцы оповестить Меррея, чтоб он готовился к возвращению. Да и английский посол, играющий в заговоре не последнюю роль, торопится упредить Елизавету о кровавом сюрпризе, ожидающем соседнюю королеву. «Мне доподлинно известно, – писал он уже тринадцатого февраля и, значит, задолго до убийства, – что королева сожалеет о своем замужестве и ненавидит как его, так и все их племя. Известно мне также, что он подозревает, будто кто-то охотится в его владениях (partaker in play and game) и у них с отцом состряпан некий комплот – они намерены захватить власть против ее воли. Известно мне, что, ежели все у них сойдет успешно, Давиду с согласия короля не далее как на той неделе перережут глотку». Но соглядатай Елизаветы, по всему видно, посвящен и в более сокровенные помыслы заговорщиков: «Дошли до меня слухи и о делах более страшных, будто покушение готовится и против ее особы». Письмо показывает со всей достоверностью, что заговор ставил себе куда более обширные цели, чем сочли нужным рассказать дурачку Дарнлею его сообщники, что меч, занесенный якобы над одним только Риччо, метит и в Марию Стюарт, и жизни ее угрожает, пожалуй, не меньшая опасность, чем жизни ее секретаря. Бесноватый Дарнлей – ибо никто не превзойдет лютостью труса, почувствовавшего за собой какую-то силу, – жаждет особенно изощренной мести человеку, похитившему у него государственную печать и доверие его супруги. Для посрамления непокорной он требует, чтобы убийство свершилось

у нее на глазах – бредовая идея труса, который надеется «примерным наказанием» сломить строптивый дух ослушницы и зрелищем зверского насилия усмирить женщину, его презирающую, По личному желанию короля решено и в самом деле произвести расправу в покоях беременной королевы, назначив 9 марта как наиболее подходящий день: гнусность исполнения должна превзойти даже низость замысла.

В то время как Елизавета и ее министры уже много недель как посвящены во все подробности заговора (она, однако, забывает остеречь «сестрицу»), в то время как Меррей держит на границе оседланных лошадей, а Джон Нокс готовит проповедь, где прославляет свершившееся убийство как деяние, «заслуживающее всяческой хвалы» («most worthly of all praise»), всеми преданная Мария Стюарт и не подозревает о готовящемся покушении. Как раз за последние дни Дарнлей (предательство вдвойне презренно своим притворством) на удивление кроток, и ничто не предвещает ей ночи ужасов и роковых предопределений на долгие, долгие годы – ночи, что наступит вслед за гаснущим вечером 9 марта. Риччо, правда, получил остережение, писанное незнакомой рукой, но не обратил на него внимания, так как, желая усыпить его недоверие, Дарнлей после обеда предлагает ему партию в мяч; весело и беспечно откликается итальянец на зов своего бывшего доброго Друга.

Тем временем спустился вечер. Мария Стюарт, как всегда, распорядилась сервировать ужин в малой башенной комнате, смежной с ее опочивальней, во втором этаже; это – небольшое помещение, где собираются только самые близкие. Вот они расположились в тесной привычной компании, несколько дворян и сводная сестра Марии Стюарт, окружая тяжелый дубовый стол, освещенный свечами в серебряных жирандолях. Против королевы, богато разодетый, словно знатный вельможа, сидит Давид Риччо, в шляпе a la mode de France[*], в узорчатом кафтане с меховой опушкой; он острит и развлекает общество, а после ужина они немного помузицируют или еще как-нибудь с приятностью проведут время. Поначалу никого не удивляет, что занавес, скрывающий вход в королевскую опочивальню, отдергивается и входит Дарнлей, король и муж; все встают, редкому гостю освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная беседа не смолкла, ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы.

И тут снова поднимается занавес. Но на этот раз все вскакивают в удивлении, в досаде, испуге: на пороге, словно

черный ангел, в полном вооружении стоит с обнаженным мечом в руке один из заговорщиков, лорд Патрик Рутвен, которого все боятся и считают чернокнижником. Сегодня его бледное лицо кажется восковым; хворый, в горячке, встал он с одра болезни, чтоб не упустить столь славного дела. Неумолимо оглядывают всех его налитые кровью глаза. Охваченная недобрым предчувствием, королева – ибо никому, кроме ее мужа, не разрешено пользоваться потайной витой лесенкой, что ведет в опочивальню, – грозно спрашивает, кто позволил ему войти без доклада. Хладнокровно и сдержанно возражает Рутвен, что ни ей, ни кому другому нечего опасаться. Он явился сюда только ради «yonder poltroon David»[*].

Риччо бледнеет под своей роскошной шляпой и конвульсивно хватается за стол. Он понял, что его ждет. Только его госпожа, только Мария Стюарт может его спасти, король не делает и попытки указать наглецу на дверь, а сидит, безучастный и смущенный, как будто это его не касается. И Мария Стюарт действительно заступается за него. Она спрашивает, в чем обвиняют Риччо, какое он совершил преступление.

Рутвен только презрительно пожимает плечами.

– Спросите у вашего мужа. «Ask your husband».

Мария Стюарт невольно поворачивается к Дарнлею; Но в решительную минуту это ничтожество, которое уже неделями только и делает, что призывает к убийству, сразу съеживается. Он не решается открыто и прямо присоединиться к своим сотоварищам.

– Ничего я не знаю, – мямлит он смущенно и прячет глаза.

Но из-за занавеса снова доносятся гулкие шаги и бряцание оружия. Заговорщики гуськом поднялись по тесной лестнице, и теперь их латы железной стеной преграждают Риччо выход. Бежать невозможно. И Мария Стюарт пускается в переговоры, чтобы выручить верного слугу. Если Давид в чем виноват, она сама привлечет его к суду, и он ответит перед дворянами в парламенте, а сейчас, приказывает она, пусть Рутвен и прочие очистят ее покои. Но бунтовщики не внемлют. Рутвен двинулся к помертвевшему Риччо, чтобы схватить его, но тут кто-то накинул на итальянца петлю и потащил его к выходу. В поднявшейся суматохе перевернулся стол и погасли свечи. Слабосильный безоружный Риччо, никакой не герой и не воин, вцепился в платье королевы, пронзительно звучит в общей свалке его истошный, дикий вопль:

– Madonna, io sono morto, giustizia, giustizia![*]

Кто-то из заговорщиков поднимает пистолет и наводит на королеву, и он, конечно, спустил бы курок, как предусмотрено

заговором, если бы его не толкнул под руку сосед, а Дарнлей, обхватив руками отяжелевшее тело беременной женщины, держит ее, пока остальные тащат из комнаты дико визжащую и отчаянно сопротивляющуюся жертву. Последний раз, когда его волокут через спальню королевы, делает Риччо попытку ухватиться за ножку кровати, и бессильная Мария Стюарт слышит его крики о помощи, но тут ему безжалостно обрубают пальцы и тащат в соседнюю парадную палату. Там они, озверев, наваливаются на него. Предполагалось будто бы только взять секретаря под стражу и на следующий день всенародно повесить на рыночной площади. Но заговорщики обезумели от возбуждения. Взапуски набрасываются они на беззащитного итальянца, снова и снова колют его кинжалами; пролитая кровь ударила им в голову; не помня себя от ярости, они и друг другу наносят раны. Весь пол в крови, а они все не унимаются. И только когда судорожно бьющееся тело, истекающее кровью из пятидесяти с лишним ран, совсем затихает и последнее дыхание жизни уходит из него, они отваливаются от своей жертвы. Истерзанной жуткой грудой мяса выбрасывают они из окна во двор труп того, кто был верным другом Марии Стюарт.

В неистовстве ловит Мария Стюарт каждый предсмертный вопль преданного слуги. Она не в состоянии оторваться неповоротливым телом от ненавистного мужа, держащего ее в железных тисках, но всеми силами неукротимой души восстает она против неслыханного унижения, которое собственные подданные нанесли ей в ее доме. Дарнлей может стиснуть ей руки, но не зажать рот. Задыхаясь, в безрассудной ярости, она выплевывает ему в лицо всю смертельную ненависть. Изменником называет она его и сыном изменника и казните, себя за то, что такое ничтожество возвела на трон: если до сих пор в этой женской душе жила только смутная антипатия к мужу, то теперь это чувство крепнет и кристаллизуется в непреходящее, неугасимое презрение. Тщетно старается Дарнлей перед ней оправдаться. Он осыпает ее упреками: сколько раз за эти месяцы она не подпускала его к себе, да она этому чужаку Риччо уделяла куда больше времени, чем ему, своему супругу. Но и Рутвена, который входит в комнату и, обессиленный кровавой работой, в изнеможении падает на стул, не щадит Мария Стюарт, она угрожает ему великими опалами. Будь Дарнлей способен читать в ее взоре, он ужаснулся бы убийственной ненависти, которая неприкрыто в нем пылает. Да, будь он хоть немного прозорливее и умнее, он должен был бы почуять всю опасность ее клятвы, что она больше не считает его своим мужем и не даст себе ни сна, ни

покоя, пока он не узнает таких же страданий, какие рвут ее сердце на части. Но нет, Дарнлей способен лишь на мизерные, плоские чувства и побуждения, он не в силах понять, как смертельно ранена ее гордость, он и не подозревает, что она в этот миг произнесла ему приговор. Дряблая душонка, мелкий изменник, позволяющий каждому водить себя за нос, он воображает, что теперь, когда эта обессилевшая женщина умолкла и как будто безвольно дает увести себя в опочивальню, ее гордый дух окончательно сломлен и она снова ему покорится. Но скоро он узнает, что ненависть, умеющая молчать, во сто крат опаснее, чем самые неистовые речи, и что тот, кто смертельно оскорбит эту неукротимую женщину, сам себя обречет смерти.

Крики итальянца о помощи, звон оружия в королевских покоях всполошили весь замок: с обнаженными мечами выскакивают из своих спален верные слуги королевы – Босуэл и Хантлей. Но заговорщики и это предусмотрели: Холируд со всех сторон окружили их вооруженные слуги, они сторожат подступы к замку, чтобы никто из города не подоспел на выручку королеве. Босуэлу и Хантлею ничего не остается – столько же для спасения своей жизни, сколько и для того, чтобы вызвать подмогу, – как выскочить в окно. Когда они прискакали с тревожной вестью, что жизнь королевы в опасности, городской профос[42] приказал бить в набат, и встревоженные обыватели поспешили за городские ворота, стремясь увидеть свою королеву и говорить с ней. Но, вместо королевы к ним выходит Дарнлей и облыжно заверяет, будто ничего не случилось: просто в замке пойман иностранный шпион, намеревавшийся ввести в страну испанские войска, но с ним удалось расправиться. Профос, конечно, не смеет усомниться в королевском слове: притихнув, расходятся честные горожане по домам, а между тем Мария Стюарт, которая тщетно рвалась передать весточку своим верным, надежно заперта у себя в опочивальне. Ни придворным дамам, ни горничным и камеристкам нет доступа к королеве, у всех дверей и ворот замка выставлен тройной караул: впервые в жизни в эту ночь Мария Стюарт превращается из королевы в пленницу. Заговор удался на славу. Во дворе замка валяется в луже крови истерзанный труп ее лучшего слуги, шайку ее врагов возглавляет король Шотландии в чаянии завладеть обещанной короной, тогда как сама она не вправе переступить порог своей опочивальни. В мгновение сброшена она с головокружительной высоты, бессильная, всеми покинутая, без помощников и друзей, окруженная ненавистью и насмешкой. Казалось, все рухнуло для нее в эту страшную ночь. Но под молотом судьбы только крепнет и закаляется пламенное

сердце. Всегда и неизменно, когда на карту поставлена ее свобода, ее честь и корона, Мария Стюарт обретает в себе больше сил, чем найдется у всех ее помощников и слуг, вместе взятых.

9. Преданные предатели (март – июнь 1566)

Опасность всегда благотворна для Марии Стюарт как личности. Лишь в самые трудные минуты, требующие величайшей внутренней собранности, становится ясно, какие незаурядные дарования кроются в этой женщине: нерассуждающая железная решимость, быстрый, живой ум, схватывающий все на лету, неукротимая, можно сказать, геройская, отвага. Но для того чтобы эти силы взыграли, должны быть потревожены глубинные залежи, таящиеся в этой богатой натуре. Только тогда ее способности, рассыпанные с детской беспечностью, сгустятся в несокрушимую энергию. Кто хочет согнуть эту женщину, лишь помогает ей выпрямиться во весь рост. Любой удар судьбы; если смотреть вглубь, ей на пользу, как нечаянное богатство, как бесценный подарок.

Эта ночь ее первого унижения меняет в корне характер Марии Стюарт, меняет навсегда. В горниле жестоких испытаний, когда ее слишком беспечная доверчивость была обманута одновременно мужем, братом, друзьями и подданными, эта женственная, мягкая натура приобретает твердость стали и вместе с тем упругую податливость хорошо откованного на огне металла. Но как добрый меч двуостр, так душа ее двулика с той страшной ночи, положившей начало всем ее невзгодам. Великая кровавая трагедия началась.

Только мысль о возмездии владеет королевой, когда, запертая в своей спальне, узница вероломных подданных, она мечется из угла в угол, перебирая и взвешивая в уме все одно и то же: как ей прорвать кольцо своих врагов, как отметить за кровь верного слуги, которая еще теплыми каплями стекает в щели пола, как обуздать, поставить на колени или перед плахой тех, кто святотатственно поднял руку на нее, помазанницу божию? Рыцарственная воительница, жестоко потерпев от людской неправды, она считает, что против врагов все средства дозволены и хороши. С ней происходит превращение: неосторожная, она становится осторожной, скрытной; слишком честная по натуре, чтобы сказать неправду, она учится притворяться и хитрить; всегда справедливая и прямая с людьми, она теперь приложит все свои незаурядные способности, чтобы обратить против врагов их собственные козни. Бывает, что за день человек выучится тому, чему его не научили месяцы и годы; именно такой суровый урок преподан Марии Стюарт на всю жизнь; кинжалом заговорщиков

прикончили на ее глазах не только верного слугу Риччо, они убили беззаботную доверчивость и непосредственность ее души. Какая ошибка – довериться предателям, быть честной с лжецами, какая непростительная глупость – открыть свое сердце тем, кто вовсе лишен сердца! Нет, притворяться, скрывать свои чувства, хоронить злобу, уверять в любви тех, кого навек возненавидел, и, затаив ненависть, ждать часа, когда удастся отомстить за убитого друга, – часа возмездия! Все силы приложить к тому, чтобы скрыть собственные помыслы и усыпить подозрения врагов, пока еще опьяненных победой; лучше на день, на два притворно смириться перед негодяями, чтобы потом окончательно их усмирить! За такое чудовищное предательство можно отплатить лишь предательством, но только еще более смелым, дерзостным, циничным.

Во внезапном озарении, которое в виду смертельной опасности подчас нисходит даже на беззаботные и вялые души, составляет Мария Стюарт свой план. Доколе Дарнлей держит руку заговорщиков, ее положение безвыходно, это ясно ей с первого взгляда. Только одно может ее спасти: пока еще не поздно, расколоть блок заговорщиков, вбить в него клин. Если цепь, стягивающую ее шею, нельзя разорвать махом, значит, надо исхитриться перепилить ее в самом слабом звене: пусть один из предателей предаст остальных. А кто среди жестковыйных мятежников самый малодушный, ей слишком хорошо известно: конечно же, Дарнлей, heart of wax, восковое сердце, которое любая сильная рука лепит по своему произволу.

Первый же ход Марии Стюарт мастерски задуман и психологически верен. Она объявляет, что чувствует приближение схваток. Волнение прошедшей ночи, зверское убийство, совершенное на глазах у женщины на пятом месяце беременности, с полным основанием подсказывали возможность преждевременных родов. Мария Стюарт делает вид, будто ей очень плохо, и ложится в постель – никто не посмеет навлечь на себя обвинение в чудовищном бессердечии, отказав страждущей в уходе ее камеристок и врача. А это, собственно, все, что ей покамест нужно, ее строгое заключение нарушено. Наконец-то у нее появляется возможность послать с надежной служанкой весточку Босуэлу и Хантлею и все подготовить к задуманному побегу. Более того, угроза преждевременных родов поставила заговорщиков, и в особенности Дарнлея, в крайне затруднительное положение. Ведь дитя, что она носит под сердцем, – наследный принц Шотландии, наследный принц Англии; какая ответственность падет на голову отца-садиста, который для удовлетворения своей личной мести повелел

злодеянию совершиться на глазах у беременной женщины, тем самым убив младенца в ее чреве! Теряя голову от страха, спешит Дарнлей в опочивальню королевы.

И тут разыгрывается совершенно шекспировская по масштабам сцена, своей блистательной смелостью идущая в сравнение разве лишь с той, где Ричард III перед гробом убитого им супруга домогается любви его вдовы[43] – и в том преуспевает. И здесь непогребенное тело все еще валяется на земле, и здесь убийца и соучастник убийц стоит перед жертвой, которую он подло, бесчеловечно предал, и здесь искусное притворство извергает каскады дьявольского красноречия. Никто не присутствовал при этой сцене; известны лишь ее начало и исход. Дарнлей спешит к жене, которую лишь вчера нещадно унизил и которая в первом неподдельном гневе поклялась ему в такой же беспощадной мести. Как Кримгильда над трупом Зигфрида[44], она еще вчера потрясала стиснутыми кулаками, грозя врагам расправой, но, так же как Кримгильда, за одну эту ночь научилась скрывать свой гнев. Сегодня Дарнлей не находит вчерашней Марии Стюарт, этой гордо восстающей противницы и мстительницы; перед ним лишь бедная, сломленная женщина, смертельно усталая, больная, с робкой нежностью взирающая на него, своего неумолимого тирана-мужа, который показал ей, чего он стоит. Тщеславный глупец уже мнит себя победителем, ведь он достиг всего, о чем только смел мечтать: наконец-то Мария Стюарт снова у его ног. Едва почувствовав его железную руку, она гордая, надменная, покорилась. Стоило ему убрать этого итальянского проходимца, как она вновь готова служить своему истинному господину и повелителю.

Человека умного и рассудительного такое внезапное превращение, верно, заставило б насторожиться. У него бы не отзвучал еще в ушах пронзительный крик этой женщины, которая только вчера, сверкая глазами, как смертоносной сталью, называла его предателем и сыном предателя. Он вспомнил бы, что гордая дочь Стюартов не прощает оскорблений и не забывает обид. Но, как все тщеславные люди, упивающиеся лестью, Дарнлей легковерен, и, как у всякого глупца, у него короткая память. К тому же – о, каверзная судьба! – из всех мужчин, когда-либо любивших Марию Стюарт, он, этот пылкий мальчик, особенно к ней вожделеет: с какой-то собачьей преданностью льнет чувственный юноша к ее телу: ничто так не раздражало и не оскорбляло его все это время, как пренебрежение, с каким она столь явно уклонялась от его объятий. И вдруг – о, неслыханное чудо! – желанная любовница снова в его власти. Пусть не уходит, пусть остается с ней этой ночью, молит строптивица, – и вмиг он

растаял, он снова нежен и покорен, ее слуга, ее верный холоп. Никто не знает, какой прельстительной ложью свершила Мария Стюарт это чудесное превращение. Не прошло и двадцати четырех часов после убийства, а Дарнлей, обманувший ее вместе с лордами, смиренно готов на все и будет из кожи лезть, стремясь обмануть вчерашних сообщников; с еще большей легкостью, чем те сманили его на свою сторону, возвращает королева к себе своего раба. Он выдает ей имена всех участников, он готов содействовать ее побегу, малодушно идет он и на то, чтобы стать орудием мести, которая в конце концов сразит и его самого, архипредателя и коновода. Послушным орудием покидает эту спальню тот, кто вошел в нее, казалось, господином и повелителем. Одним усилием разорвала Мария Стюарт душившую ее цепь – и это лишь несколько часов спустя после жестокого унижения: глава заговора неведомо для заговорщиков стал их заклятым врагом, гениальное притворство победило притворство низменное.

Итак, полдела сделано для освобождения Марии Стюарт, а между тем в Эдинбург прискакали Меррей и другие опальные лорды; великий тактик и дипломат, Меррей не был здесь во время убийства – попробуй докажи, что он к нему причастен; этот пройдоха всегда выйдет сухим из воды. Но как только с грязной работой покончено, он тут как тут, спокойный, величавый, самонадеянный, руки у него чисты, и он готов пожать плоды чужих трудов. Как раз на этот день – одиннадцатое марта – назначено в парламенте по высочайшей воле всенародное оглашение его изменником, и – о, чудо! – его плененная сестра вдруг позабыла старые счеты. Талантливая актриса – актриса поневоле, – она бросается к нему на шею с таким же иудиным лобзанием, какими не далее как вчера приветствовал ее муж. Нежно и проникновенно испрашивает она у опального бунтовщика братского совета и помощи.

Меррей, и сам неплохой знаток человеческого сердца, правильно оценивает положение. Он, без сомнения, призывал и благословлял убийство Риччо в надежде расстроить тайные шашни Марии Стюарт с папизмом; для него черномазый интриган был врагом протестантских, шотландских интересов и к тому же помехой для его собственных властолюбивых планов. Но теперь, когда с Риччо благополучно покончено, Меррей готов зачеркнуть былое, пойти на мировую: пусть ослушники-лорды тотчас же снимут стражу, оскорбительную для королевского достоинства Марии Стюарт, и вернут ей все прерогативы неограниченной королевской власти. Она же должна забыть прошлые обиды и

отпустить патриотическим убийцам все их вины.

Мария Стюарт, у которой при пособничестве изменника-мужа готов и разработан в мельчайших подробностях план побега, и не думает прощать убийц. Но, чтобы усыпить бдительность бунтовщиков, она готова на великодушные уступки. Спустя сорок восемь часов после убийства весь эпизод, вместе с растерзанным телом Риччо, по-видимому, погребен и предан забвению: все притворяются, будто ничего не случилось. Прикончили какого-то музыкантишку – велика важность! Скоро ни одна душа не вспомнит о безвестном бродяге и в Шотландии водворится мир.

Устный пакт заключен. И все же заговорщики не решаются снять караул перед покоями королевы. Какое-то смутное беспокойство гложет их. Наиболее догадливым из них слишком знакома гордость Стюартов, чтобы поддаться на заманчивые уверения, будто Мария Стюарт от чистого сердца готова простить и забыть подлое убийство своего слуги. Им кажется, что куда вернее держать неукротимую женщину под замком, отнять у нее всякую возможность мести: на свободе, чувствуют они, она станет для них постоянной угрозой. Им также не нравится, что Дарнлей то и дело бегает на ее половину и о чем-то подолгу шушукается с мнимобольной. Они по опыту знают, как мало нужно, чтобы вертеть этим мозгляком, как вздумается. Открыто говорят они о том, что Мария Стюарт хочет перетянуть его на свою сторону. Они убеждают Дарнлея не верить ни одному ее слову и заклинают не предавать их, в противном случае – справедливое пророчество! – и ему и ей придется худо. И хотя лгунишка клянется, что все прощено и забыто, они отказываются снять охрану, прежде чем королева письменно не гарантирует им полную безнаказанность. Как для убийства, так и для отпущения убийства домогаются эти друзья законности одного: писаной грамоты – «бонда».

Очевидно, многоопытным матерым клятвопреступникам мало сказанного слова – им ли не знать, сколь оно эфемерно и легковесно! – подавайте им отпускную грамоту! Однако Мария Стюарт не намерена официально обязываться перед убийцами – для этого она слишком осторожна и самолюбива. Никто из этих негодяев не сможет похвалиться «бондом» за ее подписью! Но, решив не давать заговорщикам отпускной, она с тем большей готовностью изъявляет согласие: все, что ей нужно, – это как-нибудь дотянуть до вечера. Дарнлею – он опять как воск в ее руках – дается унизительное поручение удерживать в узде своих вчерашних сообщников мнимой приязнью и обещаниями высочайшей подписи. Словно преданная нянька, вертится он

среди мятежников и вместе с ними вырабатывает текст отпущения; остановка единственно за подписью Марии Стюарт. К сожалению, время позднее, заверяет их Дарнлей: королева утомилась и почивает. Но он клянется – что стоит лжецу солгать лишний раз! – завтра же утром вручить им грамоту за высочайшей подписью. Раз король дает такое обещание, не верить ему – значит оскорбить его. В доказательство своей доброй воли заговорщики снимают стражу у покоев королевы. Марии Стюарт только того и нужно. Путь к побегу ей открыт.

Как только караульные ушли, Мария Стюарт вскакивает с мнимого одра болезни и энергично готовится к отъезду. Босуэл, Хантлей и прочие друзья за стенами замка давно предупреждены: в полночь оседланные лошади будут ждать у погоста в тени ограды. Главное теперь – обмануть бдительность заговорщиков, и постыдное поручение оглушить и одурманить их вином и знаками своей милости снова, подобно другим неблаговидным делишкам, выпадает на долю Дарнлея. По приказу королевы он зовет своих вчерашних сообщников на веселый пир, гости бражничают, и праздник примирения затягивается до глубокой ночи; когда же собутыльники, нагрузившись, отправляются на боковую, обуянный усердием Дарнлей даже не решается из осторожности вернуться в покои королевы. Но лорды слишком уверены в своем триумфе, чтобы быть начеку. Королева обещала их помиловать, сам король в том порукой, Риччо покоится в земле, а Меррей вернулся в Шотландию – зачем же раздумывать и оглядываться? Опьяненные вином и победой, заваливаются лорды на отдых, чтобы отоспаться после тревожного дня.

Полночь, тишина стоит в коридорах спящего замка, как вдруг где-то наверху осторожно приотворяется дверь. Ощупью крадется Мария Стюарт через помещения для слуг и по лестнице – вниз, в подвал, откуда подземный ход ведет в кладбищенские катакомбы. Ледяным холодом веет в мрачном подземелье, от вечной сырости каплет со сводов и стропил. Зажженный факел отбрасывает пляшущие тени на черные, как ночь, стены, на прогнившие гробы и сваленные в кучи человеческие кости. Но вот повеяло свежим, чистым воздухом, они у выхода! А теперь только пересечь кладбище и добежать до ограды, за которой ждут друзья с оседланными конями! Но тут Дарнлей обо что-то спотыкается и едва не падает, королева подбегает, и оба с содроганием видят, что стоят перед свеженасыпанным холмом – могилой Давида Риччо.

Последний удар молота – он еще больше закалит броню, в которую одето сердце оскорбленной женщины. Она знает: перед

ней теперь две задачи – восстановить побегом свою королевскую честь и даровать миру сына, наследника престола. А там отмщение всем, кто так ее унизил! Отмщение и тому, кто сейчас по глупости старается ей услужить! Не колеблясь ни секунды, вскакивает беременная на пятом месяце женщина в мужское седло к Артуру Эрскину, верному начальнику ее лейб-гвардии; под защитой чужого она чувствует себя в большей безопасности, чем с мужем; кстати, тот, не дожидаясь, шпорит коня, торопясь унести ноги. Так Эрскин и цепляющаяся за него Мария Стюарт мчатся галопом на одном коне все двадцать с лишним миль до замка лорда Сетона. Там ей наконец дают коня и стражу в две сотни, всадников. Новый день беглянка встречает уже повелительницей. К обеду она доскакала до своего замка Данбар. Но вместо того чтобы отдохнуть, дать себе покой, сразу же берется за дела: мало называться королевой, в такие минуты должно бороться, чтобы и в самом деле ею быть. Она диктует и пишет письма во все концы: надо кликнуть клич верным присяге дворянам, брать войско против засевших в Холируде бунтовщиков. Жизнь спасена, но дело идет о короне, о чести! Неизменно, когда настает час мщения, когда страсти пожаром бушуют в ее крови, эта женщина не знает ни слабости, ни усталости; только в такие великие, решающие мгновения открывается, какие силы таит в себе это сердце.

Недоброе пробуждение ждет наутро холирудских заговорщиков: замок опустел, королева бежала, их побратим и покровитель Дарнлей исчез вместе с ней. Но не сразу доходит до них вся полнота поражения: слишком велика их надежда на королевское слово Дарнлея, на то, что генеральное отпущение грехов, составленное накануне при его участии, остается в силе. Да и в самом деле, трудно представить себе подобное предательство. Они все еще не верят обману. Смиренно шлют они в Данбар своего посланца, лорда Семпила, просить у государыни обещанную грамоту. Три дня заставляет Мария Стюарт вестника мира томиться у запертых ворот, словно перед новой Каноссой[45]; нет, она не унизится до переговоров с бунтовщиками, тем более что Босуэл уже собрал войска.

Только теперь страх ледяной струей пробегает по спине у заговорщиков, быстро редеют их ряды. Один за другим пробираются они черным ходом к королеве вымаливать прощение; их коноводы, такие, как Рутвен, первым схвативший итальянца, или Фодонсайд, дерзнувший навести на королеву пистолет, разумеется, понимают, что не дождутся милости. Поспешно покидают они Шотландию, и вместе с ними бежит на

сей раз и Джон Нокс, слишком рано и слишком громко восславивший убийство итальянца как богоугодное дело.

Если бы королева вольна была слушаться обуревающей ее жажды мести, она бы примерно покарала бунтовщиков, внушила бы неугомонной банде знатных смутьянов, что нельзя безнаказанно бунтовать против нее. Но опасность была слишком велика, и в будущем придется ей действовать с большим умом и коварством. Меррей, ее сводный брат, конечно, был осведомлен о заговоре – то-то он подоспел так вовремя, – но сам в измене не участвовал; и Мария Стюарт понимает, что этого сильного человека лучше не трогать. Для того чтобы не слишком многих восстановить против себя, она предпочитает кое на что закрыть глаза. Ибо вздумай она всерьез судить мятежников, разве не пришлось бы ей в первую очередь призвать к ответу Дарнлея, собственного супруга, – ведь это он ввел к ней заговорщиков, а во время убийства держал ее за руки. Но, памятуя о скандале с Шателяром, так невыгодно сказавшемся на ее репутации, она не может допустить, чтобы муж ее выступил в роли рогоносца, защищающего свою честь. Semper aliquid haeret[*]. Лучше представить дело так, будто он, главный подстрекатель и зачинщик, не имел к убийству отношения. Правда, трудно выгородить того, кто собственноручно подписал два «бонда», кто заключил по всей форме контракт, где наперед гарантировал заговорщикам полную безнаказанность, кто свой собственный кинжал – его нашли потом торчащим в истерзанном трупе итальянца – сунул кому-то из убийц. Но не ищите у марионетки ни воли, ни чести: стоило Марии Стюарт прибрать его к рукам, как Дарнлей послушно пляшет под ее дудку. Торжественно возглашает герольд на главной площади Эдинбурга самую беззастенчивую ложь века, скрепленную «словом и честью принца», о том, что он непричастен к «изменническому заговору», «treasonable conspiracy», и что сущая ложь и клевета, будто заговорщики действовали «с его ведома, совета, приказа и согласия», тогда как король не только «counseled, commanded, consented, assisted», что известно каждому встречному и поперечному, но и официально «approved» – благословил бунтовщиков на измену. Кажется, трудно вообразить более жалкую роль, чем та, какую этот слабовольный человек играл во время убийства, но на этот раз Дарнлей превосходит самого себя: лжеприсягой, данной на эдинбургской площади перед лицом всей страны и народа, он сам себе подписал приговор. Из всех, кому Мария Стюарт поклялась отомстить, никого она не покарала так жестоко, как Дарнлея, выставив своего втайне презираемого супруга на открытое поругание всего света.

Итак, на убийство наброшен белоснежный саван лжи. С громко возвещаемым торжеством, под звуки фанфар возвращается в Эдинбург королевская чета во вновь обретенном согласии. Все как будто улажено и умиротворено. Чтобы соблюсти некую видимость правосудия и вместе с тем никого не испугать, вешают каких-то случайных горемык, ничего не ведающих солдат и холопов: пока господа – повелители кланов орудовали наверху кинжалами, слуги, выполняя приказ, стояли на часах у ворот. Знатным же господам все сходит с рук. Итальянцу – слабое утешение для мертвеца – отводят почетное место упокоения на королевском кладбище, а в должность усопшего вступает его родной брат; на этом трагический эпизод исчерпан и предан забвению.

После всех этих передряг и волнений королеве остается еще одно немаловажное дело, которое больше чем что-либо может укрепить ее сильно пошатнувшееся положение: благополучно произвести на свет престолонаследника. Только как мать короля будет она неприкосновенна, не как супруга этого ничтожества, этого короля-марионетки. С тревогой ждет она своего трудного часа. Странное уныние и подавленность овладевающею, особенно в последние недели. Гнетет ли ее неотвязной тенью воспоминание о смерти Риччо? Предвидит ли она обостренными чувствами наступление неминуемых бед? Во всяком случае, она пишет свою последнюю волю. Дарнлею завещает она перстень, тот самый, что он надел ей на палец в день их свадьбы, но и Джузеппе Риччо, Босуэл и четыре Марии не забыты; впервые беспечная, отважная женщина страшится смерти или какой-то еще неведомой угрозы. Она покидает Холируд, где после той трагической ночи не чувствует себя больше в безопасности, и переезжает в куда менее удобный, но высоко расположенный и хорошо укрепленный Эдинбургский замок, чтобы там ценою жизни, если придется, даровать жизнь наследнику шотландской и английской короны.

Утром 9 июня грохот пушек в замке возвещает городу счастливую весть. Родился наследник, отпрыск Стюартов, король Шотландский, отныне пагубному женскому правлению конец. Заветная мечта матери, единодушное желание всей страны, ждущей мужского потомства Стюартов, наконец-то сбылись. Но едва даровав сыну жизнь, Мария Стюарт уже чувствует себя обязанной утвердить его положение. Ей, вероятно, слишком хорошо известно, что ядовитые сплетни, которые нашептали Дарнлею заговорщики, слушки, будто она нарушила супружеский долг с Риччо, просочились и за стены замка. Она знает, с какой

радостью в Лондоне ухватятся за любой повод подвергнуть сомнению законное происхождение ее наследника, а там, возможно, и его право на престол. И она хочет заранее, перед всем миром, раз и навсегда пресечь эту наглую ложь. Она зовет Дарнлея к себе в спальню и при всех показывает ему ребенка со словами:

– Бог даровал нам с тобой сына, зачатого тобой и только тобой.

Дарнлей смущен, ведь не кто, как он сам, обуреваемый болтливостью ревнивца, помог распространить позорную клевету. Что может он ответить на такое торжественное заявление? Скрывая замешательство, он наклоняется к новорожденному и целует его.

Но Мария Стюарт, взяв младенца на руки, снова громко повторяет:

– Перед богом свидетельствую, как на Страшном суде, что это твой сын и нет у него другого отца, кроме тебя! И всех присутствующих здесь мужчин и женщин призываю в свидетели, что это в такой мере твое дитя, что я боюсь, как бы ему не пришлось когда-нибудь пожалеть об этом.

Великая клятва – и более чем странное опасение: даже в столь торжественную минуту оскорбленная мать не в силах скрыть свое недоверие к Дарнлею; даже сейчас не может она забыть, как жестоко этот человек обманул и ранил ее. После этих достаточно знаменательных слов она протянула ребенка сэру Уильяму Стандону, одному из своих лордов.

– Вот принц, который, я надеюсь, впервые объединит оба королевства – Шотландию и Англию.

– Но почему же, Madame? – слегка оторопев, спрашивает Стандон. – Как может он опередить ваше величество и своего отца?

И снова с упреком отвечает Мария Стюарт:

– Потому что его отец расстроил наш союз.

Пристыженный Дарнлей старается урезонить разгневанную супругу.

– Разве это не противно твоему обещанию все забыть и простить? – спрашивает он в огорчении.

– Простить я все прощу, – отзывается королева. – Но забыть не в силах. Если бы Фодонсайд тогда спустил курок, что сталось бы с ним и со мной? Один бог ведает, что бы они с тобой сделали.

– Madame, – останавливает ее Дарнлей, – не будем вспоминать прошлое.

– Хорошо, – отвечает королева, – не будем вспоминать.

На том и кончился разговор, насыщенный громами и

предвещающий грозу. Однако Мария Стюарт даже в свой трудный час сказала полуправду, заявив, что ничего не забыла, но все готова простить; ибо никогда ни в этом замке, ни в этой стране не будет больше мира, пока кровь не прольется за кровь и насилием не воздается за насилие.

Не успела мать разрешиться от бремени, а ребенок увидеть свет, как ровно в полдень сэр Джеймс Мелвил, испытанный и надежный посланец, садится на коня. Вечером он уже на границе, ночью отдыхает в Берике, а наутро снова мчит во весь опор. Двенадцатого июня вечером – блестящий спортивный рекорд – въезжает он на взмыленном коне в Лондон. Там ему сообщают, что Елизавета дает бал в своем Гринвичском дворце; презрев усталость, пересаживается гонец на свежего коня и летит дальше, чтобы еще этой ночью передать свою весть.

Елизавета соизволила даже протанцевать на этом пышном празднестве – после продолжительной и тяжкой болезни она радуется вновь обретенному здоровью. Веселая, оживленная, густо нарумяненная и напудренная, в своей помпезной пышной робе напоминая экзотический тюльпан, она, как всегда, окружена верными паладинами. Но тут к ней, раздвигая ряды танцующих, протискивается ее государственный секретарь Сесил, за которым следует Джеймс Мелвил. Сесил подходит и шепотом сообщает королеве, что у Марии Стюарт родился наследник, сын.

Елизавета как правительница – великая дипломатка, в совершенстве владеющая собой и понаторевшая в искусстве скрывать свои истинные чувства. Но эта весть поражает в ней женщину, кинжал вонзился в живое тело. А как женщина Елизавета болезненно чувствительна и не всегда владеет своими нервами. Она так ошеломлена, что ее гневные взгляды, ее стиснутые губы забывают лгать. Лицо ее застыло, кровь отлила от щек, судорожно сжаты руки. Она приказывает музыкантам замолчать, танец внезапно обрывается, и королева поспешно покидает зал, чувствуя, что нервы ее не выдержат. И только добравшись до своей опочивальни, среди обступивших ее в испуге прислужниц, дает она себе волю. Со стоном, под тяжестью горя, рухнула она на стул и разразилась рыданиями:

– У королевы Шотландской родился сын, а я, я иссохший, мертвый сук!

Ни разу за семьдесят лет жизни глубокая трагедия этой обреченной девственницы не раскрывалась с такой очевидностью, как в ту секунду; ни разу так отчетливо не промелькнула ревниво оберегаемая тайна – сколь тяжко этой женщине, зачахшей от неспособности любить и от сознания своего бесплодия, нести

свой крест, – как именно в этом возгласе, вырвавшемся из самых женских, самых сокровенных, самых незамутненных родников ее существа, подобно внезапно хлынувшему потоку крови. Чувствуется, что все царства мира отдала бы она за обычное, ясное, естественное счастье – быть просто женщиной, просто возлюбленной, просто матерью. Любое другое преимущество, любую удачу она, при всей своей ревности, быть может, и простила бы Марии Стюарт. Но эта будит в ней смертельную зависть, ибо в ней возмущено самое заветное чувство и желание – быть матерью.

Но уже на следующее утро Елизавета опять только королева, только женщина-политик и дипломат. В совершенстве владеет она своим испытанным искусством скрывать злобу, недовольство, а порой и жгучее страдание под завесою холодных величавых слов. Наведя на лицо милостивую улыбку, принимает она Мелвила с положенными почестями: если верить ее словам, более приятной вести ей не приходилось слышать. Она велит посланцу передать Марии Стюарт самые сердечные пожелания, она повторяет свое обещание быть восприемницей новорожденного и даже готова, если представится возможность, приехать на крестины. Именно потому, что она завидует счастью данной ей роком сестры, она, вечная лицедейка собственного величия, хочет выступить перед миром в роли доброй феи.

Итак, снова мужественной сопернице выпала счастливая карта, все опасности как будто миновали, все трудности словно чудом преодолены. Еще раз отступили тучи, с первой же минуты трагически нависшие над судьбой Марии Стюарт; но того, кто отважен духом, ничему не научат минувшие испытания, а разве лишь раззадорят. Мария Стюарт родилась не для спокойствия и счастья, какие-то необоримые силы управляют ею изнутри. Никогда события и случайности внешней жизни не придают человеческой судьбе ее окончательного смысла и формы. Только врожденные, только изначальные законы формируют жизнь – или разрушают ее.

10. В непроходимых дебрях (с июля по Рождество 1566)

Рождение ребенка знаменует в трагедии Марии Стюарт как бы завершение первого, вступительного акта. Ситуация внезапно драматически заостряется, все трепещет, все до предела напряжено внутренними неразрешимыми конфликтами. Новые характеры и персонажи вступают в строй, меняется место действия, трагедия из политической становится личной. До сего времени Мария Стюарт боролась с мятежниками в собственной стране и с враждебными силами за рубежом, теперь же на нее обрушивается новый враг, беспощаднее всех ее лордов и баронов: ее собственные чувства поднимают мятеж, женщина в Марии Стюарт объявляет войну королеве. Властолюбие впервые отступает перед властью крови. Одержимая страстью, легкомысленно разрушает пробудившаяся женщина то, что рачительная монархиня с трудом сберегала; как в омут, бросается она с поистине великолепной безоглядностью в еще невиданную историей экзальтацию страсти, все забывая, все увлекая в своем падении – честь, закон и мораль, свою корону, свою страну, – новоявленная трагическая героиня, которую трудно было предугадать в прилежной добронравной принцессе или в бездумно чего-то ждущей кокетливой вдовствующей королеве. За один-единственный год преобразила Мария Стюарт всю свою жизнь, тысячекратно повысив ее драматизм, и за этот единственный год она разрушила свою жизнь.

В начале этого, второго акта опять на сцену выступает Дарнлей, но и в нем чувствуется перемена, какая-то новая, трагическая нотка. Он выходит один, никто не дарит отступника своим доверием, ни даже сказанным от сердца словом. Глубокое озлобление, бессильная ярость терзают душу честолюбивого юноши. Он сделал больше, чем может сделать для женщины мужчина, и ждал хоть немного благодарности, покорности, сочувствия, а может быть, и любви! И что же, едва он стал не нужен, Дарнлей встречает в Марии Стюарт одно лишь усилившееся отвращение. Королева неумолима. Бежавшие лорды, чтобы поквитаться с предателем, подбрасывают ей через тайных агентов подписанную Дарнлеем грамоту, которой им отпускалось убийство Риччо, – пусть знает, что муж ее был с ними заодно. Подметное письмо не открывает Марии Стюарт ничего нового, но чем больше презирает она этого предателя, эту тряпку, тем

меньше гордая женщина прощает себе, что полюбила такое смазливое ничтожество. В Дарнлее ей претит ко всему прочему и собственное заблуждение; как мужчина, как муж он ей отвратителен, точно что-то скользкое, липкое, змея или слизняк, до чего боишься дотронуться пальцем, а тем более коснуться живым, теплым телом. Его присутствие, самое его существование гнетет ее кошмаром. И одна лишь мысль владеет ею днем и ночью: как отделаться от него, как освободиться?

В этих мыслях нет еще и намека на предстоящее убийство, ни тени намека, даже в виде туманных мечтаний. То, что случилось с Марией Стюарт, не такая уж редкость. Как тысячи других женщин, она вскоре после замужества испытывает разочарование, столь острое, что объятия и близость человека, ставшего для нее чужим, ей просто нестерпимы. Наиболее разумный и естественный выход в таких случаях – развод, и Мария Стюарт обсуждает эту возможность с Мерреем и Мэйтлендом. Но развестись чуть ли не назавтра после рождения ребенка – значит дать пищу опасным сплетням насчет ее якобы предосудительных отношений с Риччо: ребенка немедленно ославят бастардом. И чтобы не нанести ущерба имени Иакова VI, который может притязать на корону лишь как отпрыск безупречного брака, королеве приходится – страшная жертва! – отказаться от этого естественного решения.

Казалось бы, существует и другой выход: келейная договоренность между супругами о том, чтобы сохранить для виду брачный союз, а на деле вернуть друг другу свободу. Это избавило бы Марию Стюарт от любовных домогательств мужа, а в глазах света сохранило бы видимость брака. Что Мария Стюарт искала и этой возможности, свидетельствует дошедший до нас ее разговор с Дарнлеем: она намекнула, что не худо бы ему завести любовницу, и даже подсказала кого – супругу Меррея, его заклятого врага; так, под видом шутки, она дает ему понять, что нисколько не огорчилась бы, вздумай он искать утешения в другом месте. Но вот незадача: для Дарнлея не существует другой женщины, он хочет ее и никого другого. С какой-то непонятной рабской преданностью и жадностью льнет злосчастный юноша к этой сильной, гордой женщине. Он и мысли не допускает о другой любовнице, он не прикоснется ни к одной, ему нужна единственно эта, которая знать его не хочет. Только это тело будит в нем желание, сводит его с ума, и он неотступно клянчит и требует, чтобы его супружеские права уважались; но чем жарче и настойчивее домогается он ее, тем нетерпеливее она ему отказывает. И – такова насмешка судьбы! – чем нетерпеливее она его отталкивает, тем коварнее и злее его желание и тем

смиреннее возвращается он вновь и вновь, чтобы вымолить подачку; страшным разочарованием расплачивается бедная женщина за свою злополучную опрометчивость, за то, что мальчишке без сердца и ума предоставила она супружескую власть, ибо как ни противится она всем существом, а все же они связаны безысходно.

В этом трудном душевном положении Мария Стюарт делает то, что обычно делают люди, попавшие в тупик. Она уходит от решения, она уклоняется от открытой борьбы, обращаясь в бегство. Как ни странно, биографы, все как один, в недоумении от того, что Мария Стюарт после родов не дает себе естественного роздыха и, никого не предупредив, уже месяц спустя покидает замок и ребенка, чтобы отправиться в увеселительную прогулку – Аллоа, поместье графа Марского. Вполне понятное бегство: прошел месяц, и, стало быть, исчезли уважительные причины, позволявшие ей без особых уверток держать на расстоянии постылого мужа; но теперь он снова станет предприимчив, ежедневно; еженощно будет он ее преследовать, а между тем тело ее отказывается, а душа не в силах выносить любовника, которого она больше не любит. Вполне естественно, что Мария Стюарт бежит от него, что она ставит преградой между ним и собой разлуку и даль, что она хотя бы внешне от него освобождается, чтобы внутренне расправить крылья. И так все последующие недели, месяцы, все лето до глубокой осени спасается она бегством, переезжая из замка в замок, с одной охоты на другую. А что при этом она ищет развлечений, что и в Аллоа и в других местах еще даже не двадцатичетырехлетняя Мария Стюарт веселится до упаду, что излюбленные ею маски, танцы и пестрая череда празднеств снова помогают неисправимой ветренице убить время, как во времена Шателяра и Риччо, – все это лишь показывает, как легко эта беззаботная головка забывает прошлые испытания. Только однажды пытается Дарнлей робко предъявить свои супружеские права. Он отправляется верхом в Аллоа, но его очень быстро выпроваживают и даже не просят переночевать в замке. Внутренне Мария Стюарт с ним покончила. Пламя ее любви взвилось вверх мимолетной вспышкой и так же быстро сникло. Ошибка, о которой стараешься не думать, досадное воспоминание, которое хочется изгнать из памяти, – вот чем стал для нее Генри Дарнлей, тот, кого безрассудство влюбленной сделало повелителем Шотландии и господином ее тела.

Дарнлей больше для нее не существует, но и Меррею, невзирая на добрый мир между ними, она не слишком доверяет; к

прощенному после долгих колебаний Мэйтленду она уже всегда будет относиться с холодком, а между тем ей нужен человек, которому можно было бы довериться всецело, так как всякая осторожность и половинчатость, всякие оглядки и колебания чужды и противны этой горячей натуре. Она безоговорочно любит и безоговорочно ненавидит; безоговорочно верит и безоговорочно не верит. Как королева и как женщина Мария Стюарт всю свою жизнь сознательно или бессознательно ищет некую полярную противоположность своей беспокойной душе в лице сильного, сурового, преданного и стойкого мужчины.

И вот после Риччо у нее остается только Босуэл, единственный, на кого она может положиться. Судьба нещадно преследовала этого неустрашимого человека. Свора лордов изгоняет его из страны совсем еще юнцом за то, что он отказался с ней спеться; верный до конца, защищал он Марию де Гиз, мать Марии Стюарт, против «лордов конгрегации» и не сложил оружия и тогда, когда дело католицизма в Шотландии, которое отстаивали Стюарты, было окончательно проиграно. Но силы врага были несокрушимы, и Босуэлу пришлось бежать. Во Франции изгнанник сразу же стал начальником шотландской лейб-гвардии, и это почетное положение при дворе выгодно сказалось на его обхождении, внешне обтесав его, однако не смягчило первозданной грубости и неуемной силы его натуры. Но Босуэл слишком солдат, чтобы удовлетвориться теплым местечком, и, как только его заклятый враг Меррей восстает против королевы, он под парусом переплывает Ла-Манш, чтобы вступиться за дочь Стюартов. Когда бы Марии Стюарт ни понадобилась помощь против ее злокозненных подданных, он с готовностью протягивает ей свою закованную в броню руку. В ночь убийства Риччо он бесстрашно выскочил из окна второго этажа, чтобы прийти ей на выручку; это его предусмотрительность способствовала отважному побегу королевы, а его воинственная энергия внушает заговорщикам такой страх, что они даже не берутся за оружие. Никто в Шотландии еще не служил Марии Стюарт так преданно, как этот тридцатилетний беззаветно храбрый солдат.

Босуэл – фигура, словно высеченная из черной мраморной глыбы. Подобно своему итальянскому собрату кондотьеру Коллеони[46], стоит он в горделиво вызывающей позе, и смелый взор его устремлен в века – мужчина из мужчин в апофеозе суровой и жестокой мужественности. Он носит имя Хепбернов, древнего шотландского рода, но невольно думается, что в жилах его течет еще не укрощенная кровь древних викингов и норманнских завоевателей, суровых воинов и разбойников.

Несмотря на благоприобретенную культуру (он безукоризненно говорит по-французски, любит и собирает книги), в Босуэле еще живет дикарский задор прирожденного бунтаря против благонамеренной обывательщины, необузданная жажда приключений тех hors la loi[*], романтических корсаров, которыми так восхищался Байрон. Высокий, широкоплечий, необычайно сильный и выносливый, он орудует двуручным мечом, как легкой шпагой, управляет парусом в шторм и бурю, и эта уверенность в своих силах порождает у него бесподобную моральную, вернее, аморальную, бесшабашность. Этот забияка ничего не боится, для него существует только мораль сильных – без зазрения совести хватать, не выпускать и отстаивать захваченное. Но в этой природной забиячливости нет ничего общего с низменной жадностью и расчетливым интриганством других баронов, которых он, отчаянный храбрец, презирает, так как они вечно сбиваются в кучу для своих грабительских походов и обделывают свои подлые делишки под покровом ночи. Босуэл не заключает союзов, всякие сделки ему глубоко противны: надменный, одинокий, с гордо поднятой головой, идет он своим путем, плюя на мораль и закон. Стань только у него на дороге – и он расшибет тебе физиономию бронированным кулаком. Беззаботно делает он все, что захочет, дозволенное и недозволенное, не таясь, средь бела дня. Но, хищник и насильник худшего разбора, закованный в латы циник, Босуэл все же выгодно отличается от своего окружения прямотой характера. Рядом с двоедушными, двуличными лордами и баронами он напоминает кровожадного, но благородного зверя, леопарда или льва среди вороватых волков и гиен – отнюдь не высоконравственная, не обаятельная по-человечески фигура и все же доподлинный мужчина, цельный характер, воитель стародавних времен.

Потому-то так боятся и ненавидят Босуэла его собратья мужчины, но зато его неприкрытая, ясная, жестокая сила магически действует на женщин. Неизвестно, был ли этот похититель сердец хорош собой, не сохранилось ни одного сколько-нибудь удачного его портрета (невольно представляешь себе полотна Франца Хальса, одного из его удалых воинов с залихватски нахлобученной на лоб шляпой, с вызывающе и смела устремленным вперед взглядом). По некоторым отзывам, он был отталкивающе некрасив. Но, чтобы пользоваться успехом у женщин, и не нужно быть красавцем: уже терпкое дыхание мужественности, исходящее от таких сильных натур, какое-то неистовое своенравие, безоглядная жестокость, самая атмосфера войны и победы дурманят их чувства. Ничто так не будит в женщине страсть, как трепет страха и восхищения – легкое

сладостное чувство жути и опасности только усиливает наслаждение, придает ему неизъяснимую остроту. Если такой насильник при этом не просто male, неукротимый быкоподобный самец, если у него, как мы это видим у Босуэла, все грубо-плотоядное завуалировано кое-какой личной и придворной культурой, если он к тому же умен и находчив, обаянию его невозможно противостоять. И действительно, весь путь этого искателя приключений усеян любовными эпизодами, по-видимому, не стоившими ему больших хлопот. При французском дворе о его победах рассказывали легенды, да и в кругу Марии Стюарт перед ним не устояло несколько придворных дам; в Дании некая красавица принесла ему в жертву мужа, деньги и все свое состояние. Но, несмотря на эти лавры, Босуэла не назовешь обольстителем, донжуаном, юбочником, женщины у него всегда на втором плане. Такие победы слишком легки и безопасны для его воинственной натуры. Подобно разбойникам-викингам, Босуэл берет женщин лишь как случайную добычу, он берет их походя, как пьет вино, играет в кости или скачет верхом, для него это та же проба сил, повышающая жизненную энергию, – наиболее мужская из мужских забав; он берет женщин, но сам им не отдается, не теряет себя в них. Он берет их потому, что брать, а особенно брать насильно, – естественное проявление его властолюбия.

Этого мужчину в Босуэле сперва не замечает Мария Стюарт в преданном своем вассале. Да и Босуэл не видит в королеве юной желанной женщины; когда-то он с обычной беспечностью позволил себе дерзко отозваться о ее особе: «Им с Елизаветой даже вдвоем не составить одной настоящей бабы». Ему и в голову не приходит помыслить о королеве как о возможной любовнице, да и она не проявляет к нему ни малейшей склонности. Она даже собиралась запретить ему въезд в Шотландию, так как во Франции он не очень-то стеснялся в разговорах о ней, но стоило ей узнать ему цену как солдату, и она уже не может без него обойтись. Она не скупится на благодарность, одно отличие следует за другим: Босуэл назначается командующим Северных графств, потом верховным адмиралом Шотландии и главнокомандующим вооруженных сил на случай войны или мятежа. Мария Стюарт жалует Босуэлу поместья опальных баронов и в знак дружеского попечения сама подыскивает ему – это ли не доказывает, как нейтральны поначалу их отношения? – молодую супругу из богатого рода Хантлеев.

Прирожденного повелителя стоит лишь подпустить к власти, как он захватывает ее целиком. Вскоре Босуэл – уже первый советчик королевы по всем вопросам, он, собственно, правит

страной как наместник; английский посол с раздражением доносит, что «королева отличает Босуэла больше, нежели других». Но на этот раз Мария Стюарт сделала верный выбор, наконец-то она нашла правителя по сердцу, человека с чувством собственного достоинства – он не польстится на подарки и посулы Елизаветы, не стакнется с лордами ради пустяковой корысти. Опираясь на этого бесстрашного солдата, она впервые получает перевес в собственной стране. Ее неурядливые лорды скоро восчувствовали, какую королева забрала силу благодаря военной диктатуре Босуэла. Они жалуются, что Босуэл «слишком занесся, что даже Риччо не так ненавидели, как его», и мечтают от него избавиться. Но Босуэл не Риччо, он не даст себя покорно прирезать, да и в угол его не задвинешь, как Дарнлея. Он слишком хорошо знает повадки своих знатных собратьев и, никуда не выезжает без сильной охраны, а его borderers по первому знаку готовы взяться за оружие. Ему безразлично, любят или ненавидят его придворные интриганы; достаточно того, что они его трепещут. Доколе меч не выпадет из его рук, эта буйная банда грабителей, пусть и со скрежетом зубовным, будет повиноваться королеве. По настоятельной просьбе Марии Стюарт между ним и его заядлым врагом Мерреем заключен мир; таким образом, круг власти замкнулся, все силы строго уравновешены. Мария Стюарт, под надежным заслоном Босуэла, ни во что не вмешивается и ограничивается представительством; Меррей, как и раньше, ведает внутренними делами, Мэйтленд – дипломатической службой, а преданный Босуэл у нее all in all[*]. Благодаря его железной руке в Шотландии восстановлен мир и порядок; и это чудо сотворил один-единственный человек – настоящий мужчина.

Но чем больше власти забирает Босуэл в свои могучие руки, тем меньше ее остается на долю того, кому она принадлежит по праву, – на долю короля. А постепенно усыхает и это немногое, и остается только воспоминание, звук пустой. Прошел всего лишь год, а как далеко то время, когда юная властительница по страстному влечению избрала Дарнлея, когда герольды всенародно возглашали его королем и, закованный в золоченые доспехи, он скакал в погоне за мятежниками! Теперь, после рождения ребенка, после того как выполнено его прямое назначение, несчастного все больше оттесняют на задний план. Все поворачиваются к нему спиной; пусть себе что-то болтает – никто его знать не хочет. Дарнлея больше не зовут на заседания совета, не приглашают на торжества и увеселения; вечно бродит он в одиночестве, и холодная пустота одиночества следует за ним

тенью. Где бы он ни находился, повсюду его со спины прохватывает сквозняком насмешки и презрения. Чужой, враг, он чувствует себя среди врагов в своей отчизне, в своем доме.

Это полное пренебрежение, это внезапное переключение с горячего на холодное, очевидно, объясняется родившимся в женской душе отвращением. Но, как он ей ни опостылел, афишировать свое презрение было государственно-политическим просчетом королевы. Тщеславного честолюбца нельзя было так безжалостно выставлять на поругание лордов, разум повелевал сохранить ему хотя бы видимость почета. Оскорбление обычно приводит к обратным результатам, оно и у слабейшего вызывает каплю твердости: даже бесхарактерный Дарнлей постепенно становится злобным и опасным. И он дает волю своему ожесточению. Когда, окружив себя вооруженной стражею – убийство Риччо и ему послужило уроком, – он целые дни пропадает на охоте, спутники нередко слышат от него угрозы по адресу Меррея и других лордов. Он сам себя уполномочивает писать письма иностранным дворам, обвиняя Марию Стюарт в том, что она «не стойка в вере» и предлагая себя Филиппу II в «истинные сберегатели» католицизма. Правнук Генриха VII, он домогается участия во власти и права голоса; как ни мягка, как ни мелка душа этого мальчика, где-то на дне ее теплится неугасимое чувство чести. Дарнлея можно назвать безвольным, но уж никак не бесчестным; даже наиболее сомнительные свои поступки он совершает, по-видимому, из ложного честолюбия, из повышенной тяги к самоутверждению. И вот наконец – должно быть, палку перегнули – отверженный принимает отчаянное решение. В последних числах сентября он уезжает в Глазго, не скрывая своего намерения вскоре оставить Шотландию и отправиться в чужие края. Я с вами больше не играю, заявляет Дарнлей. Раз вы отказываете мне в королевских полномочиях, на что он мне сдался, ваш титул! Раз не даете подобающего положения ни в государстве, ни у домашнего очага, на что мне ваш дворец, да и вся Шотландия! По его приказу в гавани ждет оснащенный, готовый к отплытию корабль.

Чего же добивается Дарнлей этой внезапной угрозой? Получил ли он своевременное предостережение, дошла ли до него молва о готовящемся заговоре и хочет ли он, зная, что не в силах противостоять этой своре, бежать, пока не поздно, туда, где никакой яд и кинжал его не достанут? Гложет ли его подозрение, гонит ли страх? Или же вся эта похвальба – пустое фанфаронство, чистейшая дипломатия, чтобы запугать Марию Стюарт? Каждое из этих предположений заключает в себе долю истины, а тем

более все они, вместе взятые, – ведь в одном решении всегда соединяется много чувств и ни одно не должно быть предпочтено или отринуто. Там, где тропа спускается в сумеречные катакомбы сердца, огни истории горят уже неясно: в этом лабиринте можно только осторожно, наугад нащупывать дорогу.

Однако Мария Стюарт серьезно напугана предполагаемым отъездом Дарнлея. Злонамеренное бегство отца из страны чуть ли не накануне торжественных крестин – каким бы это было ударом для ее репутации! А особенно теперь, когда у всех еще свежа в памяти расправа с Риччо! Что, если этот недалекий мальчик с досады начнет трезвонить при дворе Екатерины Медичи или Елизаветы о том, что не служит ей к чести! Как будут торжествовать обе ее соперницы, как станет издеваться весь мир над тем, что возлюбленный супруг так быстро сбежал из ее дома и постели! Мария Стюарт спешно сзывает государственный совет, и впопыхах, чтобы предупредить Дарнлея, лорды строчат большое дипломатическое послание Екатерине Медичи, в котором все беззакония валят на Дарнлея, как на козла отпущения.

Переполох, однако, оказался преждевременным. Никуда Дарнлей не уехал. Этот слабый мальчик находят в себе силы разве лишь для мужественных жестов – не для мужественных поступков. Двадцать девятого сентября – лорды только что отправили в Париж свой навет – Дарнлей вдруг появляется в Эдинбурге, под окнами дворца; правда, войти он отказывается, пока не разошлись лорды; снова странное, необъяснимое поведение! Подозревает ли Дарнлей, что ему готовят участь Риччо, опасается ли войти во дворец, зная, что там засели его смертельные враги? Или, оскорбленный супруг, он хочет, чтобы Мария Стюарт низко ему поклонилась, моля о возвращении? А может быть, он явился проверить, какое действие произвела его угроза? Снова загадка, как и многие другие загадки, которыми овеян образ Дарнлея!

Мария Стюарт не долго думает. У нее выработалось безошибочное умение справляться со своим мозгляком-мужем, когда он вздумает разыгрывать из себя бунтаря или господина. Она знает: нужно возможно скорее, как в ночь после убийства Риччо, лишить его последнего остатка воли, пока он в своем детском упрямстве не натворил худших бед. Итак, нечего с ним церемониться! Снова изображает она кроткую овечку и, чтобы сломить его непокорство, идет на крайние меры: тотчас же отпускает лордов, а сама спешит к упрямцу, ждущему в воротах, и с великими почестями уводит – не только во дворец, но, надо полагать, и на остров Цирцеи[47] – в свою опочивальню. И средство действует безотказно: такова ее власть над этим

юношей, прикованным к ней всеми чувственными помыслами: наутро он уже послушен, как ребенок, и Мария Стюарт водит его на помочах.

Но нет пощады: беднягу снова ждет расплата, как и за ночь, подаренную ему после убийства Риччо. Дарнлей, опять вообразивший себя господином и повелителем, вдруг наталкивается в аудиенц-зале на французского посланника и на лордов. Как Елизавета в комедии с Мерреем, Мария Стюарт запаслась свидетелями. В их присутствии она громко и настойчиво допрашивает Дарнлея, пусть скажет «for god's sake»[*], почему он задумал уехать из Шотландии, не дала ли она ему повод для такого бегства. Какое убийственное разочарование! Дарнлей еще мнит себя счастливым мужем и любовником и вдруг предстать перед послом и лордами в роли обвиняемого! Сумрачно стоит он среди зала, долговязый малый с бледным, безбородым, мальчишеским лицом. Будь он настоящим мужчиной, вытесанным из более крепкого материала, ему бы самое время выступить со всей твердостью, властно изложить свои претензии и не обвиняемым, а судьею предстать перед этой женщиной и своими подданными. Но где уж восковому сердцу оказать сопротивление! Словно пойманный шалун, словно школьник, боящийся, как бы у него не брызнули слезы бессильной ярости, стоит Дарнлей один среди большого зала, стиснул зубы и молчит – молчит. Он попросту не отвечает на вопросы. Он не обвиняет, но и не извиняется. Встревоженные этим молчанием, лорды почтительно его уговаривают, как мог он помыслить оставить «so beautiful a queen and so noble a realm»[*]. Но тщетно, Дарнлей не удостаивает их ответом. Это молчание, исполненное упорства и тайной угрозы, все больше гнетет собравшихся, каждый чувствует, что несчастный лишь с трудом владеет собой – вот-вот случится непоправимое; для Марии Стюарт было бы величайшим поражением, если бы у Дарнлея достало силы выдержать это убийственное, красноречивое молчание. Но Дарнлей сдается. По мере того как посланник и лорды все снова и снова нажимают на него «avec beaucoup de propos»[*], он уступает и чуть слышным голосом, угрюмо подтверждает то, что от него хотят услышать: нет, его супруга не давала ему повода к отъезду. Марии Стюарт только того и нужно: ведь этим заявлением несчастный себя осудил. Ее добрая репутация восстановлена в присутствии французского посланника. Она облегченно вздыхает и заключительным движением руки дает понять, что вполне удовлетворена ответом Дарнлея.

Но Дарнлей недоволен, Дарнлея душит стыд: снова покорился он этой Далиле[48], дал себя выманить из твердыни своего молчания. Невыразимые муки, должно быть, терпел обманутый и одураченный юнец, когда королева величественным жестом как бы «простила» его, хотя ему больше пристало бы выступить здесь в роли обвинителя. Слишком поздно обретает он утерянное достоинство. Не поклонившись лордам, не обняв супруги, холодный, как герольд, вручающий объявление войны, выходит он из зала. Его прощальные слова обращены к королеве: «Madame, вы меня не скоро увидите». Но лорды и Мария Стюарт обмениваются довольной улыбкой; какое облегчение: пусть этот фанфаронишка, «that proud fool», явившийся сюда с наглыми претензиями, уползает в свою нору, его угрозы уже никому не страшны. Чем дальше он уберется, тем лучше для него и для всех!

Однако уж на что никудышный, а ведь вот же понадобился! Казалось бы, только помеха в доме, и вдруг его настоятельно требуют обратно. Шестнадцатого декабря, с большим запозданием, в замке Стирлинг назначены торжественные крестины малютки принца. Идут великие приготовления. Елизавета, восприемница младенца, разумеется, не явилась собственной персоной – всю жизнь уклонялась она от встреч с Марией Стюарт, – но зато, преодолев в виде исключения свою пресловутую скаредность, она шлет с графом Бедфордским бесценный дар – тяжелую, чистого золота купель тончайшей работы, изукрашенную по краю драгоценными каменьями. Явились послы Франции, Испании, Савойи, приглашена вся знать; всякий, кто претендует на громкое имя или звание, присутствует на торжестве. По случаю столь пышной церемонии нельзя при всем желании исключить из списка гостей такое, пусть само по себе и незначительное, лицо, как Генри Дарнлей, отец наследника, правящий государь. Но Дарнлей понимает, что это последний раз о нем вспомнили, и он начеку. Хватит с него всенародного сраму, он знает, что английскому послу ведено не титуловать его «Ваше Величество»; французский же посол, которого он хочет навестить в его покое, с предерзостной надменностью велит передать Дарнлею, что, как только он войдет к нему в одну дверь, он тут же выйдет в другую. Наконец-то в растоптанном юнце вскипает гордость – правда, его хватает лишь на детский каприз, на злобную выходку. Но на сей раз выходка достигает цели. Дарнлей хоть и не покидает замок Стирлинг, но и не показывается гостям. Он угрожает своим отсутствием. Демонстративно заперся он в своей комнате, не участвует ни в крестинах сына, ни тем более в балах, празднествах и масках;

вместо него – ропот возмущения проходит по рядам приглашенных – гостей принимает Босуэл, все тот же ненавистный фаворит в новом богатом наряде, и Мария Стюарт из себя выходит, изображая веселую и приветливую хозяйку, чтобы никто не думал о покойнике в доме, о государе, отце и супруге, который замкнулся в своей спальне выше этажом и которому удалось-таки испортить жене и ее друзьям радостный праздник. Еще раз доказал он им, что он здесь, все еще здесь: именно своим отсутствием напоминает Дарнлей в последний раз о своем существовании. Но, чтобы наказать ослушного мальчишку, тотчас же срезается розга. Уже через несколько дней, в сочельник, она со зловещим свистом рассекает воздух. Кто бы мог ожидать: Мария Стюарт, обычно такая несговорчивая, решается, по совету Меррея и Босуэла, помиловать убийц Риччо. Тем самым лютые враги Дарнлея, которых он в свое время обманул и предал, снова призываются на родину. Дарнлей, сколь он ни прост, сразу же смекает, какая ему грозит опасность. Стоит всей своре – Меррею, Мэйтленду, Босуэлу, Мортону – собраться, как начнется облава и его затравят насмерть. Недаром его супруга стакнулась с самыми лютыми его врагами; есть в этом немалый смысл и немалый расчет, который ему дорого обойдется.

Дарнлей чует опасность. Он знает: на карту поставлена его жизнь. Точно дичь, выслеженная легавыми, бежит он из замка, торопясь укрыться у отца в Глазго. И года не прошло, как Риччо зарыли в землю, а убийцы уже снова собрались в братский кружок, все ближе и ближе надвигается что-то жуткое, неведомое. Мертвецам скучно лежать одиноко в сырой земле, вот они и требуют к себе тех, кто их туда столкнул, засылая вперед, как своих герольдов, страх и смятение.

И в самом деле, что-то темное, тяжелое, словно туча в дни, когда задувает фен, что-то гнетущее и знобкое уже два месяца как нависло над Холирудским замком. В вечер королевских крестин в залитом огнями замке Стирлинг – ибо надо было удивить приезжих великолепием двора, а друзей Дружбой – Мария Стюарт, всегда умеющая на короткий срок взять себя в руки, призвала на помощь все свои силы. Глаза ее излучали притворное счастье, она очаровывала гостей беспечной веселостью и подкупающей приветливостью; но едва погасли огни, гаснет и ее наигранное оживление, тишина воцаряется в Холируде, жуткая, странная тишина закрадывается и в душу королевы; какая-то загадочная печаль, какая-то непонятная растерянность владеют ею. Впервые глубокая меланхолия угрюмой тенью омрачает ее

лицо, и кажется, будто неизъяснимая тревога гложет ее душу. Она больше не танцует, не требует музыки, да и здоровье ее после знаменитой скачки в Джедборо, когда ее замертво сняли с седла, как будто сильно пошатнулось. Она жалуется на боли в боку, целыми днями лежит в постели, избегает увеселений. Ей не сидится в Холируде; на долгие недели забирается она в отдаленные усадьбы и уединенные замки, нигде, впрочем, не; задерживаясь; неотвязная тревога гонит ее все дальше и дальше. Можно подумать, что в ней действует какая-то разрушительная сила; с мучительным, напряженным любопытством прислушивается Мария Стюарт к боли, что гложет ее изнутри: что-то новое, чуждое происходит в ней, что-то враждебное и злое овладело ее доселе такой светлой душою. Как-то французский посол застал ее врасплох: она лежала в постели и рыдала. Умудренный житейским опытом, старик не поверил королеве, когда она в смущении что-то залепетала о болях в левом боку, терзающих ее до слез. Он тотчас же замечает, что здесь терпит муки не тело, а душа, что несчастлива не королева, а женщина. «Королева занемогла, – отписывает он в Париж, – но, думается мне, истинная причина ее болезни в глубоком горе, для которого нет забвения. То и дело она твердит: «Хоть бы мне умереть!».

От Меррея, Мэйтленда и прочих лордов также не укрывается тяжелое состояние духа их госпожи. Но, опытные в вождении полков, они неопытны в разгадывании сердца; им ясна лишь грубая, очевидная причина, лежащая на поверхности, а именно – ее неудачный брак. «Ей невыносимо сознавать, что он ее супруг, – пишет Мэйтленд, – и что нет никакой возможности от него избавиться». Однако многоопытный Дю Крок увидел больше, когда говорил о «глубоком горе, для которого нет забвения». Иная, скрытая, невидимая рана изнуряет несчастную женщину. Горе, для которого нет забвения, заключается в том, что королева забылась, что великая страсть внезапно, подобно хищному зверю, набросилась на нее из темноты, истерзала ее тело когтями, разворотила до самых внутренностей – безмерная, неутолимая, неугасимая страсть, начавшаяся с преступления и требующая все новых и новых преступлений. И теперь она борется, сама себя пугаясь, сама себя стыдясь, мучается, старается скрыть эту страшную тайну и в то же время зная и чувствуя, что ее не скроешь, не замолчишь. Ею владеет воля сильнее ее разумной воли; она уже не принадлежит себе: беспомощная и потерянная, она отдана на волю этой всесильной безрассудной страсти.

11. Трагедия любви (1566-1567)

Любовь Марии Стюарт к Босуэлу – одна из самых примечательных в истории; дошедшие до нас предания об античных и иных прославленных любовниках едва ли превосходят ее в силе и неистовстве. Огненным языком взмывает она до пурпурных высот экстаза, до сумрачных зон преступления, растекаясь мятущейся лавой. Но когда чувства так раскалены, наивно было бы подводить к ним мерку логики и разума – ведь таким безудержным влечениям свойственно и проявляться неразумно. Страсть, как болезнь, нельзя осуждать, нельзя и оправдывать; можно только описывать ее с все новым изумлением и невольной дрожью пред извечным могуществом стихий, которые как в природе, так и в человеке внезапно разражаются вспышками грозы. Ибо страсть подобного наивысшего напряжения неподвластна тому, кого она поражает: всеми своими проявлениями и последствиями она выходит за пределы его сознательной жизни и как бы бушует над его головой, ускользая от чувства ответственности. Подходить с меркой морали к одержимому страстью столь же нелепо, как если бы мы вздумали привлечь к ответу вулкан или наложить взыскание на грозу. Но точно так же и Мария Стюарт в пору ее душевно-чувственной порабощенности не несет вины за свои деяния – безрассудные поступки отнюдь не вяжутся с ее обычным, нормальным, скорее уравновешенным поведением; все, что она ни делает, происходит словно в дурмане чувств и даже против ее воли. С закрытыми глазами, пораженная глухотой, бредет она, точно сомнамбула, влекомая магнетической силой по предначертанному пути преступления и гибели. Недоступная увещанию, недосягаемая зову, она очнется лишь тогда, когда пламя, клекочущее в ее крови, пожрет себя, – очнется вся выгоревшая, опустошенная. Кто однажды прошел через это горнило, в том испепелено все живое.

Ибо никогда страсть столь чрезмерная не повторяется у одного человека. Как взрыв уничтожает всю взрывчатку, так подобное извержение страсти – всегда и навсегда – сжигает весь наличный запас чувств. Не более полугода длится у Марии Стюарт белый накал экстаза. Но за столь короткий срок душа ее в своем неустанном порывании и напряжении проходит через такие огненные бури, что становится лишь тенью этого безмерного сияния. Как иные поэты (Рембо), иные музыканты (Масканьи)[49] исчерпывают себя в одном гениальном творении и поникают,

бессильные, ошеломленные, так иные женщины в едином взрыве страсти расточают весь свой любовный потенциал, вместо того чтобы, как свойственно более уравновешенным, обывательским натурам, растянуть его на годы и годы. Словно в вытяжке, вкушают они любовь целой жизни; безоглядно бросаются такие женщины – эти гении саморасточительства – в пучину страсти, откуда нет спасения, нет возврата. Для такой любви – а ее поистине можно назвать героической, поскольку она презирает страх и смерть, – Мария Стюарт может служить истинным образцом, она, изведавшая одну только страсть, но исчерпавшая ее до конца – до саморастворения и саморазрушения.

С первого взгляда может показаться странным, что стихийная страсть, внушенная Марии Стюарт Босуэлом, следует чуть ли не по пятам за ее увлечением Генри Дарнлеем. А между тем ничто не может быть естественнее и закономернее. Как всякое великое искусство, любовь требует изучения, испытания и проверки. Всегда или почти всегда, как мы это видим и в искусстве, первый опыт далек от совершенства; непреходящий закон науки о душе гласит, что большая страсть почти неизменно предполагает малую в качестве предшествующей ступеньки. Гениальный сердцевед Шекспир блистательно раскрыл это в своих творениях. Быть может, самый мастерский мотив его бессмертной трагедии любви состоит в том, что начинается она не внезапным пробуждением чувства у Ромео к Джульетте (как начал бы менее талантливый художник и психолог), а с его будто бы не идущей к делу влюбленности в некую Розалинду. Заблуждение сердца здесь нарочито предпослано жгучей правде, как некое предсостояние, как полусознательное ученичество на пути к высокому мастерству; Шекспир на этом ярком примере показывает, что нет познания без его предвосхищения, нет страсти без предвкушения страсти и что прежде, чем вознести свое сияние в бесконечность, чувство должно было уже однажды воспламениться и вспыхнуть. Только потому, что все в душе у Ромео напряжено до крайности, что его сильная и страстная натура настроена на страсть, дремлющая воля к любви – сначала беспомощно и слепо – хватается за первый попавшийся повод, за случайно подвернувшуюся Розалинду, чтобы потом, когда он прозреет глазами и душой, сменить полулюбовь на любовь полную, Розалинду на Джульетту. Так и Мария Стюарт еще незрячею душой устремлена к Дарнлею, потому что, молодой и красивый, он попался ей в нужную минуту. Но вялое его дыхание бессильно раздуть жар в ее крови. Этим слабым искоркам не дано вымахнуть в небо экстаза, ни выгореть, ни даже вспыхнуть ярко.

Они лишь тлеют под пеплом и дымом, возбуждая чувства и обманывая душу, – мучительное состояние подспудного горения при заглушенном огне. Когда же появился настоящий объект, тот, кому предстояло избавить ее от этой пытки, кто дал воздух и пищу полузадушенному огню, багряный сноп взвился ввысь так, что небу стало жарко. Как сердечная склонность к Розалинде бесследно растворяется в подлинной страсти Ромео к Джульетте, так и чувственное увлечение Дарнлеем сменяется у Марии Стюарт пламенной, всесокрушающей любовью к Босуэлу. Ибо смысл и назначение всякой последующей любви в том, что она питается и усиливается своими предшественницами. Все то, что человек лишь предугадывал в любви, становится действительностью в настоящей страсти.

Историю любви Марии Стюарт к Босуэлу раскрывают нам источники двоякого рода: во-первых, записки современников, хроники и официальные документы; во-вторых, серия дошедших до нас писем и стихов, по преданию, написанных самой королевой; и то и другое, как отклики внешнего мира, так и исповедь души, сходится точь-в-точь. И все же те, кто считает, будто память Марии Стюарт во имя последующих соображений морали надо всячески защищать от обвинений в страсти, от которой сама она, кстати, никогда не отпиралась, отказываются признать подлинность писем и стихов. Они начисто перечеркивают их, как якобы подложные, отрицая за ними всякое историческое значение. С точки зрения процессуального права, у них есть для этого основание. Дело в том, что письма и сонеты Марии Стюарт дошли до нас только в переводах, с возможными искажениями. Подлинники исчезли, и нет никакой надежды когда-нибудь их найти, так как автографы, иначе говоря, конечное, неопровержимое доказательство, были в свое время уничтожены, и даже известно кем. Едва взойдя на престол, Иаков I предал огню все эти бумаги, порочащие с обывательской точки зрения женскую честь его матери. С той поры насчет так называемых «писем из ларца» идет ожесточенный спор, в полной мере отражающий ту предвзятость суждений, которою отчасти из религиозных, отчасти из националистических побуждений проникнута вся известная нам литература о Марии Стюарт; непредвзятому биографу тем более важно взвесить все доводы и контрдоводы в этом споре. Однако его заключения осуждены оставаться личными, субъективными, так как единственное научно и юридически правомочное доказательство, заключающееся в предъявлении автографов, отсутствует и о подлинности писем, как в положительном, так и в отрицательном

смысле, можно говорить лишь на основании логических и психологических домыслов.

И все же тот, кто захочет составить себе верное представление о Марии Стюарт, а также заглянуть в ее внутренний мир, должен решить для себя, считает он эти стихи, эти письма подлинными или не считает. Он не может с равнодушным «forse che si, forse che no», с трусливым «либо да, либо нет» пройти мимо, ибо здесь – основной узел, определяющий всю линию душевного развития; с полной ответственностью должен он взвесить все «за» и «против» и уж если решит в пользу подлинности стихов и станет опираться на их свидетельство, то свое убеждение он обязан открыто и ясно обосновать.

«Письмами из ларца» называются эти письма и сонеты потому, что после поспешного бегства Босуэла они были найдены в запертом серебряном ларце. Что ларец этот, полученный в дар от Франциска II, первого ее мужа, Мария Стюарт отдала Босуэлу, как и многое другое, – факт установленный, равно как и то, что Босуэл прятал в этом надежно запирающемся сейфе все свои секретные бумаги: в первую очередь, разумеется, письма Марии Стюарт. Точно так же несомненно, что послания Марии Стюарт к возлюбленному были неосторожного и компрометирующего свойства, ибо, во-первых, Мария Стюарт была всю свою жизнь отважной женщиной, склонной к безоглядным, опрометчивым поступкам, и никогда не умела скрывать свои чувства. Во-вторых, противники ее не радовались бы так безмерно своей находке, если бы письма в известной мере не порочили и не позорили королеву. Но сторонники гипотезы о фальсификации уже всерьез и не оспаривают факта существования писем и только утверждают, будто в короткий срок между коллективным их прочтением лордами и предъявлением парламенту оригиналы были похищены и заменены злонамеренными подделками и что, следовательно, опубликованные письма не имеют ничего общего с теми, что были найдены в запертом ларце.

Но тут возникает вопрос: кто из современников Марии Стюарт выдвигал это обвинение? Ответ звучит не в пользу обвинения: да, собственно, никто. Как только ларец попал в руки к Мортону, его на другой же день вскрыли лорды и клятвенно засвидетельствовали, что письма подлинные, после чего тексты снова рассматривались членами собравшегося парламента (в том числе и ближайшими друзьями Марии Стюарт) и также не вызвали сомнений; в третий и четвертый раз они были предъявлены в Йоркском и Хэмптонском судах, где их сравнили с другими автографами Марии Стюарт и опять признали

подлинными. Однако самым веским аргументом служит здесь то, что Елизавета разослала отпечатанные оттиски всем иностранным дворам – как ни мало она стеснялась в средствах для достижения своих целей, а все же не стала бы английская королева покрывать заведомую и наглую подделку, которую любой участник подлога мог бы разоблачить; Елизавета была чересчур осторожным политиком, чтобы позволить поймать себя на мелком мошенничестве. Единственное же лицо, которое, спасая свою честь, должно было бы воззвать ко всему миру, прося защиты ввиду столь явного обмана, – сама Мария Стюарт, лицо наиболее заинтересованное и якобы невинно страдающее, если и протестовала, то очень, очень робко и на удивление неубедительно. Сначала она окольными путями хлопочет, чтобы письма не были предъявлены в Йорке – хотя, кажется, почему бы и нет, ведь доказательство их подделки только укрепило бы ее позицию, а когда она в конце концов поручает своим представителям в суде отрицать en bloc[*] все предъявленные ей обвинения, то это мало о чем говорит: в вопросах политики Мария Стюарт не придерживалась правды, требуя, чтобы с ее parole de prince[*] считались больше, чем с любыми доказательствами. Но, даже когда письма были обнародованы в пасквиле Бьюкенена[50] и хула была рассеяна по свету, когда ею упивались при всех королевских дворах, Мария Стюарт протестует весьма умеренно; она не жалуется, что письма подделаны, и только весьма общо отзывается о Бьюкенене как об «окаянном безбожнике». Ни единым словом не обмолвилась она о подлоге в своих письмах к папе, французскому королю и даже ближайшим родным, да и французский двор, чуть ли не с первой минуты располагавший оттисками писем и стихов, ни разу по поводу этого сенсационного дела не высказался в пользу Марии Стюарт. Итак, никто из современников ни на миг не усомнился в подлинности писем, никто из друзей королевы того времени не поднял голоса против такой возмутительной несправедливости, как заведомый подлог. И лишь сто, лишь двести лет спустя после того, как подлинники были уничтожены сыном, прокладывает себе дорогу гипотеза о фальсификации, как результат стараний представить смелую, неукротимую женщину невинной и непорочной жертвой подлого заговора.

Итак, отношение современников, иначе говоря, довод исторический безусловно говорит за подлинность писем, но о том же и столь же ясно, на мой взгляд, свидетельствуют доводы филологический и психологический. Обращаясь сначала к стихам, – кто в тогдашней Шотландии мог бы в столь короткий срок и к тому же на чужом, французском языке, настрочить целый

цикл сонетов, предполагающих интимнейшее знание сугубо приватных событий из жизни Марии Стюарт? Правда, истории известно немало случаев подделки документов и писем, да и в литературе время от времени появлялись загадочные апокрифические сочинения, но в таких случаях, как Макферсоновы «Песни Оссиана» или «Краледворская рукопись»[51], мы встречаемся с филологическими реконструкциями далекой старины. Никто еще не пытался приписать целый цикл стихотворений живому современнику. Да и трудно себе представить, чтобы шотландские сельские дворяне, и слыхом не слыхавшие ни о какой поэзии, злонамеренно, с целью оклеветать свою королеву накропали наспех одиннадцать сонетов да еще на французском языке. Так кто же был тот неведомый волшебник – кстати, ни один из паладинов Марии Стюарт не ответил на этот вопрос, – который на чуждом ему языке с непогрешимым чувством формы сочинил за королеву цикл сонетов, где каждое слово и каждое чувство созвучно тому, что происходило в ее святая святых? Никакой Ронсар, никакой Дю Белле не могли бы сделать этого так быстро и с такой человеческой правдивостью, не говоря уж о Мортонах, Аргайлах, Гамильтонах и Гордонах, неплохо владевших мечом, но вряд ли достаточно знавших по-французски, чтобы кое-как поддерживать на этом языке застольную беседу.

Но если подлинность стихов бесспорна (на сегодня этого уже никто не отрицает), то бесспорна и подлинность писем. Вполне вероятно, что при обратном переводе на латинский и шотландский (только два письма сохранились на языке оригинала) отдельные места и подверглись искажению, не исключена возможность и последующих вставок. Но в целом те же доводы говорят о подлинности писем, а особенно последний аргумент – психологический. Ибо если бы некая злодейская камарилья захотела из мести, сфабриковать пасквильные письма, она бы наверняка изготовила прямолинейные признания, рисующие Марию Стюарт в самом неприглядном свете, как похотливую, коварную, злобную фурию. Было бы совершеннейшим абсурдом, ставя себе злопыхательские цели, приписать Марии Стюарт дошедшие до нас письма, которые скорее оправдывают, чем обвиняют ее, ибо в них с потрясающей искренностью говорится о том, как ужасно для нее сознание своей роли пособницы и укрывательницы преступления. Эти письма говорят не о вожделениях страсти, это крик исстрадавшейся души, полузадушенные стоны человека, заживо горящего и сгорающего на костре. И то, что они звучат так безыскусно, набросаны в таком смятении мыслей и чувств, с

такой лихорадочной поспешностью – рукой, трясущейся – вы это чувствуете – от еле сдерживаемого волнения, как раз это и свидетельствует о душевной растерзанности, столь характерной для всех ее поступков этих дней; только гениальный сердцевед мог бы с таким совершенством сочинить психологическую подмалевку к общественным обстоятельствам и фактам. Но Меррей, Мэйтленд и Бьюкенен, которым попеременно и наудачу присяжные защитники Марии Стюарт приписывают этот подлог, не были ни Шекспирами, ни Бальзаками, ни Достоевскими, а всего лишь плюгавыми душонками, правда, гораздыми на мелкое мошенничество, но уж, конечно, неспособными создать в стенах канцелярий такие потрясающие своей правдивостью признания, какими письма Марии Стюарт предстают всем векам и народам; тот гений, что будто бы изобрел эти письма, еще ждет своего изобретателя. А потому каждый непредубежденный судья может с чистой совестью считать Марию Стюарт, которую лишь безысходное горе и глубокое душевное смятение побуждали к стихотворству, единственно возможным автором пресловутых писем и стихов и достовернейшим свидетелем ее собственных горестных чувств и дум.

Одно из стихотворений выдает ее с головой: только оно и приоткрывает нам начало злополучной страсти. Только благодаря этим пламенным строкам известно, что, не постепенно нарастая и кристаллизуясь, созрела эта любовь, нет, она броском ринулась на беспечную женщину и навсегда ее поработила. Непосредственным поводом послужил грубый физиологический акт, внезапное нападение Босуэла, насилие или почти насилие. Подобно молнии, озаряют эти строчки сонета непроницаемую тьму:

> Pour luy aussi j’ay jette mainte larme,
> Premier qu’il fust de ce corps possesseur,
> Duquel alors il n’avoit pas le coeur.
>
> …я столько слез лила из-за него!
> Он первый мной владел, но взял он только тело,
> А сердце перед ним раскрыться не хотело.

И сразу же вырисовывается вся ситуация. Мария Стюарт эти последние недели все чаще бывала в обществе Босуэла: как первый ее советник и командующий войсками, он сопровождал королеву во время ее увеселительных прогулок из замка в замок. Но ни на минуту королева, сама устроившая счастье этого

человека, выбравшая ему красавицу жену в высшем обществе и танцевавшая на его свадьбе, не подозревает в молодожене каких-либо поползновений на свой счет; благодаря этому браку она чувствует себя вдвойне неприкосновенной, вдвойне застрахованной от всяких посягательств со стороны верного вассала. Она без опаски с ним путешествует, проводит в его обществе много времени. И, как всегда, эта опрометчивая доверчивость, эта уверенность в себе – драгоценная, в сущности, черта – становится для нее роковой. Должно быть – это словно видишь воочию – она иной раз позволяет себе с ним некоторую вольность обращения, ту кокетливую короткость, которая уже сыграла пагубную роль в судьбе Шателяра и Риччо. Она, возможно, подолгу сидит с ним с глазу на глаз в четырех стенах, беседует интимнее, чем позволяет осторожность, шутит, играет, забавляется. Но Босуэл не Шателяр, романтический трубадур, аккомпанирующий себе на лютне, и не льстивый выскочка Риччо. Босуэл – мужчина, человек грубых страстей и железной мускулатуры, властных инстинктов и внезапных побуждений, его смелость не знает границ. Такого человека нельзя легкомысленно дразнить и вызывать на фамильярность. Он, не задумываясь, переходит к действиям, с налета хватает женщину, уже давно находящуюся в неуравновешенном, возбужденном состоянии, женщину, чьи чувства были разбужены первой, наивной влюбленностью, но так и остались неудовлетворенными. «Il se fait de ce corps possesseur», он нападает на нее врасплох или овладевает ею силою. (Как определить разницу в минуты, когда попытка самозащиты и желание мешаются в каком-то опьянении чувств?) Похоже, что и для Босуэла это нападение не было чем-то предумышленным, не увенчанием давно сдерживаемой страсти, а импульсивным удовлетворением похоти, в котором нет ничего душевного, – чисто плотским, чисто физическим актом насилия.

Однако на Марию Стюарт это нападение оказывает молниеносное, ошеломляющее действие. Что-то новое, неизведанное бурей врывается в ее спокойную жизнь: не только телом ее овладевает Босуэл, но и чувствами. В обоих своих супругах, пятнадцатилетнем отроке Франциске II и безбородом Дарнлее, она встретилась с еще не созревшей мужественностью – то были неженки, маменькины сынки. Ей уже казалось, что иначе и быть не может: всегда она должна дарить, великодушно расточать счастье; оставаясь госпожой и повелительницей даже в самой интимной сфере, никогда она еще не бывала в положении более слабого существа, которое увлекают, похищают, берут силою. В этих же насильственных объятиях она внезапно – и все ее существо оглушено этой неожиданностью – встретила

настоящего мужчину, наконец-то такого мужчину, который смел, развеял по ветру все ее женские доблести: стыд, гордость, уверенность в себе, – человек, который в ней самой открыл ей новый, еще неведомый, вулканический мир страсти и наслаждения. Она еще не учуяла опасности, она еще не успела дать отпор, как уже покорена, целомудренный сосуд разбит, и всепожирающий, палящий вихрь вырвался наружу. Должно быть, первым ее чувством был только гнев, только возмущение, только яростная, смертельная ненависть к любострастному убийце ее женской гордости. Но таков неисповедимый закон природы, что полярные ощущения где-то на высшем пределе сходятся. Как кожа не отличает сильного жара от сильного холода, как мороз обжигает щеки огнем, так и противоречивые чувства иногда сливаются воедино. В одну секунду ненависть в душе женщины может скачком перейти в любовь, а оскорбленная гордость – в безудержное смирение, и тело ее способно с неистовой алчностью призывать того, кого оно еще за секунду с неистовым отвращением отвергало. С этого часа разумная, в сущности, женщина объята пламенем, она горит и сгорает на невидимом огне. Все устои, на которых до сих пор зиждилась ее жизнь, – честь, достоинство, порядочность, гордость, уверенность в себе и разум – рушатся: сбитая однажды с ног, грубо поваленная, она хочет падать все ниже и ниже, хочет низвергнуться в бездну, затеряться в ней. Новое, внезапно налетевшее сладострастие заполонило ее, и она пьет его, пьет жадно, в каком-то опьянении чувств; смиренно целует она руку человека, растоптавшего венец ее женственности, но зато научившего ее новому восторгу – саморастворения в другом существе.

Эта новая, беспредельная страсть несоизмерима с ее прежней влюбленностью в Дарнлея. Тогда она впервые открыла для себя чувство самозабвенной жертвенности и только испробовала его – теперь она полностью живет им; с Дарнлеем ей хотелось всем делиться – короной, могуществом, жизнью. Для Босуэла же она не может ограничиться отдельными дарами, – все, все жаждет она ему отдать, чем только владеет на земле, самой стать нищей, чтобы сделать его богатым, с упоением принизить себя, чтобы его возвысить. В каком-то непонятном экстазе отбрасывает она все, что стесняет и связывает ее, лишь бы удержать и не отпускать его, единственного. Она знает; друзья от нее отвернутся, весь мир ее покинет и станет презирать, но именно это наполняет ее новой гордостью взамен старой, растоптанной; вдохновенно возвещает она:

Pour luy depuis j’ay mesprise l’honneur,

Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour luy j'ay hasarde grandeur & conscience,
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis,
Et tous autres respectz sont a part mis.

Pour luy tous mes amis j'estime moins que rien,
Et de mes ennemis je veux esperer bien.
J'ay hasardé pour luy nom & conscience
Je veux pour luy au monde renoncer,
Je veux mourir pour le faire avancer.

Я для него забыла честь мою –
Единственное счастье нашей жизни.
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него отринула семью,
Презренной стала в собственной отчизне.

Я для него отвергла всех друзей,
Прошу поддержки вражеского стана,
Пожертвовала совестью своей,
Презрела гордость имени и сана
И, чтобы он возвысился, умру…

Отныне ничего больше для себя, все только для него, кому она впервые отдала себя без остатка.

Pour luy je veux rechercher la grandeur,
Et feray tant que de vray congnoistra
Que je n'ay bien, heur, ne contentement,
Qu'a I'obeir & servir loyaument.

Pour luy j'attendz toute bonne fortune,
Pour luy je veux garder sante & vie,
Pour luy tout vertu de suivre j'ay envie,
Et sans changer me trouvera tout' une.

Лишь для него и трон мой и венец!
И, может быть, поймет он наконец.
Что я одно преследую упорно:
Жить для него; служить ему покорно.
Лишь для него все блага обрести,
Стремиться к долголетию, к здоровью
И для него с незыблемой любовью
К вершинам добродетели идти!

Все, чем она владеет, всю себя – свою корону, свое достоинство, свое тело, свою душу – швыряет она в бездну страсти и в глубине своего падения наслаждается преизбытком своей любви.

Такое бешеное напряжение и перенапряжение всех чувств в корне преображает душу. Неведомые и невиданные силы исторгает безмерная страсть у беспечной и дотоле сдержанной женщины. Удесятеренной жизнью живет в эти недели ее тело, ее душа, наружу пробиваются способности и дарования, которых она не знала раньше и не будет знать потом. В эти недели Мария Стюарт способна, восемнадцать часов проскакав на коне, всю ночь бодрствовать и неутомимо писать письма. Она, до сих пор сочинявшая разве лишь короткие эпиграммы да незначительные стишки на случай, в порыве пламенного вдохновения пишет те одиннадцать сонетов, где изливает свои страдания и свою страсть с неведомой ей дотоле – да и впоследствии – силою красноречия. Всегда беспечная и неосторожная, она так мастерски притворяется, что в течение долгих месяцев никто не замечает ее изменившихся отношений с Босуэлом. В присутствии других у нее хватает духу повелительно и холодно, как с подчиненным, разговаривать с человеком, от чьего прикосновения ее бросает в дрожь, или же казаться веселой и беспечной, в то время как нервы ее напряжены до крайности, а душа исходит слезами и отчаянием. В ней вдруг как бы пробудилось некое демоническое «сверх-я», и оно увлекает ее за собой, заставляя превзойти себя, превысить свои возможности и силы.

Однако за эти порывы чувства, насильно исторгнутые у воли, приходится платить периодами тяжелого душевного упадка. И тогда она целыми часами в изнеможении валяется в постели, часами блуждает по комнате в каком-то бесчувственном забытьи, рыдая, взывает простертая на своем ложе: «Хоть бы мне умереть!» – требуя, чтобы ей дали кинжал – она хочет лишить себя жизни. Как эта сила таинственно снизошла на нее, так временами она бесследно ее покидает. Ибо плоть не в состоянии долго переносить такое яростное перенапряжение всех своих ресурсов, такое исступленное стремление подняться над собой; она бунтует, восстает, каждый нерв горит огнем и трепещет. Как ее организм потрясен безмерной экзальтацией страсти, ярко показывает знаменитый джедбороский эпизод. Седьмого октября Босуэл был тяжело ранен в схватке с контрабандистом. Эта весть застает Марию Стюарт в Джедборо, где она присутствует на

сессии суда. Чтобы не привлекать внимания, она не позволяет себе в ту же минуту вскочить в седло и вихрем понестись за двадцать пять миль от Джедборо в замок Эрмитаж. Но, видимо, недобрая весть совершенно ее перевернула; находившийся при ней сторонний наблюдатель, посланник Дю Крок, в то время и не подозревавший о ее близких отношениях с Босуэлом, сообщает в Париж: «Ce ne luy eust este peu de perte de la perdre»[*]. Да и от Мэйтленда не укрылась необычайная рассеянность и озабоченность королевы, и, не зная настоящей причины, он высказывает предположение, что «эти мрачные настроения, эти тяжелые мысли у нее из-за неладов с королем». Лишь два-три дня спустя королева в сопровождении Меррея и других приближенных скачет во весь опор проведать Босуэла. Два часа проводит она у постели раненого, а потом так же бешено мчится назад, словно желая яростной скачкой подавить мучительную тревогу. Но подорванный жгучей страстью организм внезапно сдает. Едва ее снимают с седла, она падает замертво и два часа лежит в беспамятстве. Вечером у нее открылась горячка, типичная нервная горячка, она мечется в бреду. И вдруг члены ее цепенеют, она ничего не чувствует, никого не узнает; в растерянности окружили приближенные во главе с врачом свою королеву, заболевшую столь загадочной болезнью. Во все концы мчатся нарочные за королем, а также за епископом, чтобы королева не отошла без соборования. Восемь дней витала она между жизнью и смертью. Можно подумать, что скрытое желание уйти из жизни, налетевшее ураганом, истощило ее нервы, исчерпало силы. А все же – и это с клинической достоверностью показывает, что болезнь была скорее душевная, что это был типичный случай истерии, – как только на крестьянском возу привезли выздоравливающего Босуэла, королева ожила, и – новое чудо! – спустя две недели восставшая покойница уже снова сидит в седле. Ибо опасность возникла в ней самой, и она справилась с ней собственными силами.

Но и окрепнув физически, Мария Стюарт никак не придет в себя, все ближайшие недели она подавлена, угнетена. Даже посторонние замечают, что королева «на Себя не похожа». Что-то в ее чертах, во всем ее существе сникло, привычной беспечности и уверенности как не бывало. Она ходит, живет, действует, как человек, на которого свалились тяжкие невзгоды. Она запирается у себя, и прислужницы слышат за дверью, как она стонет и рыдает. Всегда откровенная, общительная, она никому не доверяет свое горе. Уста ее скованы молчанием, и никто не подозревает страшной тайны, которая преследует ее днем и ночью и гнетет душу.

Ибо есть нечто грозное в этой страсти, от чего веет одновременно жутью и величием, нечто невыразимо грозное: королева с первой же минуты знает, что любовь ее преступна и обречена на безысходность. Ужасным было, верно, уже пробуждение после первого объятия – поистине тристановское мгновение, – когда отравленная любовным питьем королева приходит в себя и оба вспоминают, что они не одни в беспредельности своего счастья, что их держит в плену этот мир, долг и закон. Ужасное пробуждение, когда она наконец очнулась, и громом поражает ее мысль о том, в какое безумие они впали. Ибо она, отдавшая ему себя, принадлежит другому, и он, отдавший ей себя, принадлежит другой. Прелюбодеяние, двойное, прелюбодеяние – вот куда увлекло их неистовство чувств, а ведь совсем недавно, две-три недели или месяц назад, Мария Стюарт как шотландская королева торжественно подписала и издала указ о том, что нарушение супружеской верности, как и всякое другое оскорбление нравственности, карается смертью. С первой же минуты эта страсть заклеймена как преступная, и утверждать себя и развиваться она может лишь за счет все новых и новых преступлений. Чтобы соединиться навек, оба они должны сперва насильственно избавиться – она от мужа, он от жены. Только ядовитые плоды может принести эта греховная страсть, и Мария Стюарт с первого же часа с непреложной ясностью отдает себе отчет в том, что отныне ей нет покоя и спасения. Но именно в такие трудные минуты просыпается у Марии Стюарт мужество отчаяния, и она готова бросить вызов судьбе – вопреки всякой надежде и смыслу готова спасать то, что непоправимо обречено. Не станет она трусливо отступать, прятаться и укрываться, нет, с гордо поднятой головой пройдет она до конца путь, ведущий в бездну. Пусть все потеряно – среди тягчайших испытаний находит она счастье в том, что ради него принесла все эти жертвы.

Entre ses mains & en son plain pouvoir,
Je mets mon fils, mon honneur, & ma vie,
Mon pais, mes subjects, mon ame assubjettie
Est tout à luy, & n’ay autre vouloir
Pour mon objet, que sans le decevoir
Suivre je veux, malgré toute l’envie
Qu’issir en peut.

Ему во власть я сына отдаю,
И честь, и совесть, и страну мою,
И подданных, и трон, и жизнь, и душу.
Все для него! И мысли нет иной,

Как быть его женой, его рабой,
Я верности до гроба не нарушу!
С ним каждое мгновенье, каждый час,
А там – пусть зависть осуждает нас!

Что бы потом ни было, она отважится на этот путь в безнадежность. После того как она всем – телом, душой, всей своей жизнью – пожертвовала ради него, несказанно любимого, эта исступленная любовница боится лишь одного на свете – потерять его.

Но самое ужасное в этом ужасе, самое мучительное в этой муке ей еще только предстоит. При всем своем ослеплении Мария Стюарт достаточно проницательна – скоро она увидит, что и на этот раз попусту себя расточает: человек, к которому устремлены ее чувства, в сущности, ее не любит. Босуэл овладел ею, как это не раз с ним бывало, в пылу животной страсти, необдуманно, жестоко. И так же равнодушно готов он ее покинуть, едва чувства его остыли. Для него это лишь жаркий миг обладания, мимолетное приключение, и несчастной скоро приходится сказать себе, что господин ее мыслей и чувств не очень-то ее почитает:

Vous m’estimez legiere, que je voy,
Et si n’avez en moy nulle assurance,
Et soupconnez mon coeur sans apparence,
Vous meffiant a trop grand tort de moy.
Vous ignorez l’amour que je vous porte.
Vous soupconnez qu’autre amour me transporte
Vous despeignez de cire mon las coeur.
Vous me pensez femme sans jugement;
Et tout cela augmente mon ardeur.

Вы верите наветам злой молвы,
Вам кажется, что я пуста и лжива,
Мою любовь – о, как несправедливо! –
Готовы счесть игрой нечестной вы.
И, моего не уважая слова,
Решили вы, что я люблю другого,
Что я коварство низкое таю,
Что нравственных устоев не имею, –
Но и самой враждебностью своею
Вы жажду распаляете мою.

И вместо того чтобы гордо отвернуться от неблагодарного, вместо того чтобы взять себя в руки, обуздать, опьяненная страстью женщина бросается на колени перед равнодушным любовником, стараясь удержать его. Ее былое высокомерие словно каким-то чудом превращается в неистовое самоуничижение. Она молит, клянчит и тут же превозносит себя, выхваляет, как товар, пресытившемуся ею любовнику. Утратив чувство собственного достоинства, готовая на последнее унижение, она, гордая царица, словно торговка на рынке, высчитывает ему, чем только она для него не пожертвовала, и настойчиво, чуть ли не назойливо, уверяет в своем рабском смирении:

Car c'est le seul desir de vostre chere amie,
De vous servir, & loyaument aimer,
Et tous malheurs moins que rien estimer,
Et vostre volonte de la mienne suivre
Vous cognoistrez aveques obeissance,
De mon loyal devoir n'obmettant la science,
A quoy j'estudiray pour tousjours vous complaire.
Sans aimer rien que vous, soubs la subjection
De qui je veux sans nulle fiction
Vivre & mourir.

Единственная цель подруги вашей –
Служить вам, угождать и подчиняться,
Вас обожать, пред вами преклоняться
И, презирая все несчастья впредь,
Свой видеть высший долг в повиновенье,
Чтобы отдать вам каждое мгновенье,
Под вашей властью жить и умереть.

С дрожью ужаса и сострадания наблюдаем мы, как эта прямая и смелая женщина, никогда не отступавшая ни перед какой земной опасностью, ни перед каким земным властителем, утратив былое достоинство, унижается до постыдных уловок завистливой и злобной ревности. По каким-то признакам Мария Стюарт, верно, заметила, что Босуэл куда более предан молодой жене, которую королева сама для него избрала, и что он отнюдь не собирается ее покинуть ради своей новой возлюбленной. И она силится – не правда ли, ужасно, что именно большое чувство способно так умалить женщину, – очернить его супругу, не останавливаясь перед самой низкой и бесчестной, перед самой злобной клеветой. Играя на мужском тщеславии Босуэла, она

напоминает ему (очевидно, исходя из его интимных признаний), что жена недостаточно отзывается на его ласки, что вместо того, чтобы отвечать со всем пылом страсти, она лишь нехотя ему уступает. В прошлом сама сдержанность и высокомерие, она с жалким самохвальством перечисляет, на какие жертвы, на какое самозаклание во имя любви приходится идти ей, нарушительнице супружеской верности, тогда как его жена пользуется всеми благами и преимуществами его высокого положения. Так нет же, пусть останется с ней, пусть принадлежит ей одной и не поддается на обманчивые письма, слезы и заверения этой «лжесупруги»!

Et maintenant elle commence à voir,
Qu'elle estoit bien de mauvais jugement,
De n'estimer l'amour d'un tel amant,
Et voudroit bien mon amy decevoir,
Par les ecrits tous fardez de scavoir…
Et toutes fois ses paroles fardeez,
Ses pleurs, ses plaincts remplis de fictions,
Et ses hautz cris & lamentations
Ont tant gaigné, que par vous sont gardeez
Ses lettres, escrites, ausquels vous donnez foy,
Et si l'aimez, & croiez plus que moy.

Она лишь поняла (даю вам слово!),
Что надо быть бездушной и слепой,
Чтоб не ценить любовника такого,
И хочет лицемерною мольбой
Вас обмануть, мой друг, опутать снова…
Но ложью слез, наигранной тоски,
Упреков, просьб, рассчитанных умело,
Она вас так заворожить сумела,
Что мертвые фальшивые листки
Читаете вы, бережно храните,
А мне, живой, и верить не хотите!

Все большим отчаянием звучат ее вопли. Неужели он ее, единственно достойную, может сменять на недостойную? Пусть прогонит ту и соединится с ней, ведь она готова бороться за него не на жизнь, а на смерть. Пусть требует от нее, молит она на коленях, всего, что только хочет, любого доказательства ее верности и нерушимой преданности, она все ради него кинет: дом, семью, корону, все свое достояние, свою честь и сына. Пусть все отнимет, лишь бы не отталкивал ее, все отдавшую ему,

единственно любимому.

И тут впервые приоткрывается глубина всей этой трагической ситуации. Благодаря чрезмерности признаний Марии Стюарт на сцену проливается яркий свет. Босуэл лишь случайно увлекся ею, как и многими другими женщинами, и этим, собственно, для него эпизод исчерпан. Однако Мария Стюарт, предавшаяся ему всей душой и всеми чувствами, вся огонь и экстаз, стремится удержать его, удержать навсегда. Но сама по себе любовная связь нисколько не привлекает счастливого в семейной жизни, честолюбивого человека. В лучшем случае ради тех преимуществ и выгод, какие дает ему любовь женщины, держащей в своих руках все почести и милости шотландской короны, Босуэл тянул бы еще какое-то время, он терпел бы Марию Стюарт в качестве наложницы рядом с женой. Но этого недостаточно королеве с душою королевы, недостаточно женщине, которая не хочет делиться, которая в своей неистовой страсти хочет одного – владеть им всецело. Но как им завладеть? Как привязать навек своевольного, необузданного искателя приключений? Клятвы в безграничной верности и покорности лишь наскучат такому мужчине, он немало, слышал их от других женщин. Нет, одна только приманка может увлечь ненасытного честолюбца, единственный приз, ради которого грешили и блудили столь многие, – корона. Как бы мало Босуэл ни стремился сохранить отношения с женщиной, к которой он, в сущности, равнодушен, великий соблазн исходит от мысли, что эта женщина – королева и что она может сделать его королем Шотландии.

Правда, мысль эта на первый взгляд кажется безрассудной. Ведь жив законный супруг Марии Стюарт – Генри Дарнлей, и ни о каком другом короле не может быть и речи. А все же эта безрассудная мысль, и только она, отныне приковывает Босуэла к Марии Стюарт нерасторжимой цепью, ибо нет у несчастной другой приманки, которая могла бы удержать этого неукротимого человека. Ничто не заставит вольного, независимого кондотьера продаться своей рабыне и терпеть ее любовь, как только корона. И нет такой цены, какой эта опьяненная женщина, давно забывшая честь, порядочность, достоинство, закон, не была бы готова уплатить за его любовь. И если придется добыть корону для Босуэла ценой преступления, она, ослепленная страстью, не отступит и перед преступлением.

Ибо так же, как Макбет, выполняя демоническое предсказание ведьм, не может стать королем иначе, как ценою крови, ценою полного уничтожения целого королевского рода, так и Босуэлу прегражден честный, законный путь к

шотландскому престолу. Дорога к нему ведет через труп Дарнлея. Для того чтобы кровь соединилась с кровью, должна неизбежно пролиться кровь.

В том, что Мария Стюарт не станет серьезно противиться, когда, освободив ее от Дарнлея, он потребует у нее руки и короны, Босуэл, разумеется, ни минуты не сомневался. И если бы даже ясно сформулированное письменное обязательство, якобы найденное в пресловутом серебряном ларце, обязательство, в коем она обещает сочетаться с ним браком, «невзирая на любые препятствия, какие стали бы чинить ей родичи, а равно и другие лица», если бы даже оно было чистейшим мифом или фальшивкой, он и без ее обещания, скрепленного подписью и печатью, был бы уверен в ее покорности. Как часто жаловалась она ему – да и не только ему, – до чего тяжела ей мысль, что Дарнлей – ее супруг, как пылко (пожалуй, слишком пылко) уверяла в своих сонетах, а тем более, надо думать, с глазу на глаз, в часы любовных свиданий, сколь страстно она мечтает навек соединиться с ним, Босуэлом! Да, с этой стороны ему ничто не угрожало, он мог отважиться на любую крайность, на любое безрассудство.

Но Босуэл, разумеется, заручился и одобрением лордов, хотя бы молчаливым. Он знает, все они единодушны в своей ненависти к настырному, несносному мальчишке, их предавшему, и нельзя оказать им большей услуги, как любыми средствами и по возможности скорее убрав его из Шотландии. Босуэл и сам присутствовал на том знаменательном сборище в замке Крэгмиллер, на котором, при участии Марии Стюарт, игра, пусть и в завуалированной форме, велась за голову Дарнлея. Первые сановники страны – Меррей, Мэйтленд, Аргайл, Хантлей и Босуэл – сговорились предложить королеве своеобразную сделку: пусть вернет на родину опальных вельмож, убийц Риччо – Мортона, Линдсея и Рутвена, а они берутся избавить ее от Дарнлея. Перед королевой речь идет сначала о легальном освобождении, под словами «to make her quit of him»[*] разумеется официальный развод. Однако Мария Стюарт ставит условием, чтобы расторжение брака было законным и вместе с тем не угрожало правам ее сына, на Что Мэйтленд весьма загадочно отвечает: насчет того, как и что, пусть королева положится на них, они так поведут это дело, что сын ее не потерпит ни малейшего ущерба, и даже Меррей, уж на что он придира (scrupulous), на многое «закроет глаза» – ведь, как протестант, он проще смотрит на эти вещи.

Странное заявление, и именно таким оно кажется Марии

Стюарт. Не надо делать ничего, возражает она Мэйтленду, что «легло бы бременем на ее честь и совесть». За этими темными речами сквозит – и уж от Босуэла это, во всяком случае, не укрылось – некий темный смысл. Ясно лишь одно, что уже тогда все они – Мария Стюарт, Меррей, Мэйтленд, Босуэл, – все главные актеры этой трагедии согласились в том, что Дарнлея надо устранить; неясным осталось только, как это сделать – добром, хитростью или силой.

Босуэл, самый нетерпеливый и отчаянный из вельмож, стоит за силу. Он не хочет и не может ждать, как другие, – ведь для него речь идет не только о том, чтоб убрать с глаз долой ненавистного мальчишку, а о том, чтобы унаследовать после него корону и власть. Пока другие только тянут и выжидают, он вынужден действовать, и действовать решительно; по-видимому, он заблаговременно нащупывает почву, подыскивая себе среди лордов помощников и пособников. Но здесь огни истории снова горят приглушенно, ведь преступление всегда готовится в темноте или в неверном, сумеречном свете. Никогда уже не станет известным, кого из лордов и скольких посвятил в свои планы Босуэл, а также чьей помощью или молчаливым согласием он и в самом деле заручился. Меррей, должно быть, знал, но от участия воздержался; Мэйтленд как будто отважился на большее. Положиться можно лишь на признание Мортона, сделанное на смертном одре. Мортон как раз возвращался из изгнания, затаив смертельную ненависть к предателю Дарнлею, когда Босуэл, поскакавший ему навстречу, открыто, без околичностей предложил ему вместе с ним, Босуэлом, убить Дарнлея. Но Мортон с некоторых пор стал осторожен, у него еще свежо в памяти недавнее предприятие, когда соучастники оставили его одного и умыли руки. Он медлит с ответом и, требуя гарантий, спрашивает, согласна ли королева на убийство. Да, она согласна, не задумываясь, отвечает Босуэл, которому важно заручиться его поддержкой. Но, наученный горьким опытом, Мортон знает, как быстро post festum[*] забываются устные договоры, и прежде чем связать себя обещанием, требует письменного согласия королевы черным по белому. По доброму шотландскому обычаю он хочет запастись «бондом», дабы в случае неприятностей ему было на что сослаться. Босуэл и это ему обещает. На самом деле ни о каком «бонде» не может быть и речи, вожделенная свадьба состоится лишь при условии, что королева останется в стороне и в критическую минуту события «застигнут ее врасплох».

Итак, Босуэлу не на кого опереться, задуманное дело падает на него, самого нетерпеливого, самого отчаянного, и у него, конечно, достанет решимости привести его в исполнение. Но уже

та двусмысленная уклончивость, с какой выслушали его Мортон, Меррей и Мэйтленд, показала, что открыто противиться лорды не будут. Если они и не благословили его намерения тайным письмом, то поддержали сочувственным молчанием и дружеским невмешательством. А с того дня, как выясняется, что Мария Стюарт, Босуэл и лорды – все в этом вопросе мыслят одинаково, можно сказать, что дни Дарнлея сочтены.

Собственно, все уже готово. Босуэл призвал на помощь своих головорезов. О том, где и как произойдет убийство, договорились на секретных совещаниях. Но для жертвенного заклания не хватает главного – самой жертвы. Как Дарнлей ни наивен, а все же он учуял опасность. Уже за много недель до этого он отказался переступить порог Холируда, зная, что еще не разошлись собравшиеся там вооруженные лорды; но и в замке Стирлинг он больше не чувствует себя в безопасности, с тех пор как преданные им убийцы Риччо по знаменательной амнистии королевы снова вернулись в Шотландию. Непоколебимо, не поддаваясь, ни на какие приманки и посулы, засел он в Глазго. Там живет граф Ленокс, его отец, там все их друзья, это крепкий, надежный дом, а на случай, если враг вторгнется силой, в порту день и ночь стоит судно, в любую минуту готовое принять его на борт. А тут, словно чтобы охранить в опасную минуту, судьба посылает ему в первых числах января оспу – удобный предлог для того, чтобы еще много недель безвыездно просидеть в Глазго, в надежном убежище у самого моря.

Болезнь Дарнлея путает созревшие планы Босуэла, с нетерпением поджидающего свою жертву в Эдинбурге. По каким-то причинам, о которых мы можем только гадать, Босуэл, видимо, не хотел терять время: то ли ему не терпелось поскорей добраться до престола; то ли он вполне основательно боялся опасных проволочек, так как слишком много ненадежных людей знало о заговоре; то ли его интимные отношения с Марией Стюарт не остались без последствий – трудно сказать, во всяком случае, ждать он больше не намеревался. Но как заманить больного, заподозрившего недоброе юношу под топор? Как вытащить его из постели, из твердыни родительского дома? Официальное приглашение заставило бы Дарнлея насторожиться, а ведь ни Меррей, ни Мэйтленд, ни кто другой при дворе не настолько близок всем ненавистному, всеми презираемому экс-королю, чтобы убедить его вернуться по доброй воле. И только одна-единственная сохранила над ним власть. Уже дважды заставляла она несчастного юношу, преданного ей раба, покориться. Только Мария Стюарт, она единственная, надев личину любви к тому,

кто жаждет ее любви, может заманить притаившуюся жертву в расставленную ловушку. Из всех людей на свете ей одной дано совершить этот чудовищный обман. А так как и сама она больше себе не госпожа, а лишь послушная марионетка в руках тирана, то достаточно Босуэлу повелеть, и невероятное или, лучше сказать, то, чему наше чувство отказывается верить, свершилось: двадцать второго января Мария Стюарт, уже много недель избегавшая встречи с Дарнлеем, отправляется верхом в Глазго, будто бы для того, чтобы навестить больного супруга, на самом же деле чтобы по приказанию Босуэла заманить его домой, в город Эдинбург, где его ждет не дождется с отточенным кинжалом – смерть.

12. Дорога к убийству (22 января – 9 февраля 1567)

И вот начинается самая зловещая строфа баллады о Марии Стюарт. Поездка в Глазго, из которой она привезла еще больного супруга прямо в логово заговорщиков, – один из наиболее сомнительных ее поступков. Снова и снова напрашивается вопрос: была ли Мария Стюарт и вправду под стать древним Атридам – Клитемнестре, с лицемерной заботливостью готовящей вернувшемуся домой супругу Агамемнону теплую ванну, меж тем как ее возлюбленный убийца Эгисф затаился в тени с отточенным топором? Или же она сродни леди Макбет, кроткими и льстивыми словами провожающей ко сну короля Дункана, которого Макбет потом зарежет во сне, – одна из тех демонических преступниц, какими великая страсть порой делает самых отважных и любящих женщин? А может быть, правильнее мыслить ее безвольной рабой жестокого сутенера Босуэла, движущейся в каком-то трансе исполнительницей чужой непререкаемой воли, наивно послушной марионеткой и не подозревающей о страшных приготовлениях за ее спиной? Чувство отказывается верить такому злодейству, обвинить в сокрытии и соучастии женщину, которая до сих пор была преисполнена человечности. Вновь и вновь ищешь другого, более гуманного и незлобивого истолкования ее поездки в Глазго. Опять и опять откладываешь в сторону, как пристрастные, показания и документы, обличающие Марию Стюарт, и с чистосердечной готовностью и желанием дать себя убедить проверяешь те оправдательные доводы, которые ее защитникам удалось найти или изобрести. Увы, при всем желании отнестись к ним с доверием эти адвокатские доводы никого убедить не могут: звено совершенного злодеяния без швов включается в цепь событий, в то время как домыслы защитников при ближайшем рассмотрении рассыпаются в руках трухой.

Ибо как предположить, что нежная забота погнала Марию Стюарт к постели больного Дарнлея и что она забрала его из безопасного убежища в надежде создать ему дома лучший уход? Ведь уже несколько месяцев супруги живут врозь, как чужие. Присутствие Дарнлея ей несносно; как ни молит он, чтобы Мария Стюарт делила с ним супружеское ложе, его законные права попираются. Испанский, английский и французский послы в своих донесениях давно говорят о наступившем охлаждении как о чем-то бесспорном и само собой разумеющемся. Лорды официально начали дело о разводе, а про себя помышляют и о

менее безобидной развязке. Недавние любовники так равнодушны друг к другу, что, даже услышав, что Мария Стюарт заболела в Джедборо и находится при смерти, преданный супруг отнюдь не спешит проститься с той, которую уже готовят к принятию святых даров. С помощью самой сильной лупы не обнаружите вы в этом союзе и ниточки любви и атома нежности; а значит, предположение, будто горячая забота подвигнула Марию Стюарт на эту поездку, отпадает как несостоятельное.

Однако – и это последний довод ее защитников à tout prix[*] – быть может, Мария Стюарт, отправляясь в Глазго, хотела покончить с злополучной ссорою? Разве не могла она ехать к больному искать примирения? К сожалению, и этот наипоследний благоприятный довод опровергается документом за собственноручной ее подписью. Всего за день до отъезда в Глазго в своем письме к архиепископу Битону – неосторожная и не думала, когда писала письма, что они будут свидетельствовать против нее, – Мария Стюарт дала волю своему гневу и раздражению против Дарнлея. «Что до короля, нашего супруга, то одному богу известно, как мы всегда к нему относились, но и богу и всему свету известны его происки и козни против нашей особы; все наши подданные были тому свидетелями, и я нисколько не сомневаюсь, что в душе они осуждают его». Слышен ли здесь кроткий голос миролюбия? Это ли настроение преданной жены, которая в смятении и тревоге спешит к больному мужу? И второе неопровержимое обстоятельство, явно не говорящее в ее пользу, – Мария Стюарт предпринимает эту поездку не просто с тем, чтобы проведать Дарнлея и вернуться домой, а с твердым намерением тут же увезти его в Эдинбург: опять чрезмерная забота, которой, пожалуй, не веришь. Ибо не противно ли всем законам медицины и здравого смысла вытащить оспенного больного, в горячке, с еще не опавшим лицом, из постели и везти его зимой, в январе, целых два дня в открытом экипаже, по лютому морозу. А ведь Мария Стюарт даже телегу прихватила с собой, чтобы Дарнлею некуда было податься, так не терпелось ей со всею поспешностью отвезти его в Эдинбург, где заговор против него был уже в полном ходу.

А может быть, Мария Стюарт – лучше лишний раз прислушаться к доводам ее защитников, шутка ли: несправедливо обвинить человека в убийстве! – может быть, она не знала о готовящемся покушении? Волею судеб и это сомнение отпадает благодаря дошедшему до нас письму Арчибалда Дугласа на имя Марии Стюарт. Один из главных заговорщиков, Арчибалд Дуглас, лично посетил королеву во время ее поездки в Глазго, чтобы добиться от нее открытого одобрения готовящемуся заговору

убийц. И хоть он не вырвал у, нее ни согласия, ни каких-либо гарантий или обещаний, как могла супруга, узнав, что за крамола куется, утаить этот разговор от короля? Как было не предупредить Дарнлея? Более того, как можно было, убедившись в полной мере, что против него что-то затевается, настаивать на его возвращении в это осиное гнездо? В подобных случаях умолчание – больше, чем укрывательство, это – пассивное, скрытое пособничество, ибо тому, кто знает о готовящемся преступлении и не стремится его предотвратить, зачтется в вину самое его равнодушие. В лучшем случае о Марии Стюарт, можно сказать, что она не знала о готовящемся преступлении потому, что не хотела знать, что она отворачивалась и закрывала глаза, дабы иметь возможность заявить под присягой; мое дело сторона.

Итак, чувство, что Мария Стюарт в какой-то мере виновна в устранении своего мужа, не покидает беспристрастного исследователя; известным оправданием ей могла бы послужить разве что порабощенная воля, но никак не полное неведение. Ибо не с легкой душой выполняет свою миссию эта раба, не дерзко, не в трезвом рассудке и по собственной воле, а повинуясь чужой воле, чужому приказу. Не с холодным, коварным, циничным расчетом отправилась Мария Стюарт в Глазго, чтобы выманить Дарнлея из его убежища, – в решительную минуту, как свидетельствуют письма из ларца, ею овладели ужас и отвращение перед навязанной ей ролью. Разумеется, они с Босуэлом заранее обсудили, как забрать Дарнлея домой, но письмо с непреложной ясностью показывает, что стоило Марии Стюарт очутиться на расстоянии дня пути от ее господина и в какой-то мере избавиться от гипноза его присутствия, как в этой magna peccatrix[*] внезапно заговорила усыпленная совесть. Всегда бывает так, что человека, которого толкает на преступление таинственная сила, сразу же отличишь от подлинного преступника – преступника из внутренних побуждений, преступление по злому и преднамеренному умыслу – от crime passionel[*], и деяние Марии Стюарт – быть может, один из самых ярких случаев преступления, совершенного не по личному почину, а под давлением чужой, более сильной воли. В ту минуту, когда Мария Стюарт должна уже привести в исполнение обсужденный и принятый план, когда она оказывается лицом к лицу с жертвою, которую ей велено завлечь на бойню, в ней вдруг умолкает чувство ненависти и мести, и в душе ее исконно человечное вступает в борьбу с бесчеловечностью приказа. Запоздалая и тщетная борьба! Ведь Мария Стюарт в этом злодеянии не только коварно

подкрадывающийся охотник, но и затравленная дичь. Все время чувствует она за спиной бич, который безжалостно гонит ее вперед. Она трепещет перед гневом жестокого сутенера, зная, что он не простит ей, если она не приведет ему намеченной жертвы, но и трепещет потерять ослушанием его любовь. И только то, что безвольная тяготится в душе своим злодейством, что беззащитная восстает против навязанного ей поручения, – только это позволяет если не простить ее поступок по справедливости, то хотя бы понять его по-человечески.

В этом, более простительном свете ужасное злодеяние предстает нам в знаменитом письме, которое она пишет любовнику из дома больного Дарнлея; близорукие защитники Марии Стюарт напрасно чураются этого письма, так как только оно проливает на ее омерзительный поступок умиротворяющий отблеск человечности. Письмо, словно пробоина в стене, приоткрывает нам страшные часы глазговской трагедии. Время за полночь, Мария Стюарт в ночном одеянии сидит у столика в чужой комнате. Ярко пылает огонь в камине, причудливые тени пляшут по высоким холодным стенам. Но пламя не согревает пустынной комнаты, не дает оно тепла и зябнущей душе. Снова и снова мелкая дрожь пробегает по спине полуодетой женщины: так холодно, и она устала, уснуть бы, но ей не спится, она слишком взволнована и возбуждена. Столько страшного и тяжелого пережито за последние недели, за последние часы, все нервы горят и трепещут до болезненно чувствительных кончиков. Содрогаясь от ужаса перед тем, что ей предстоит, но безропотно послушная господину своей воли, духовная пленница Босуэла предприняла эту недобрую поездку, чтобы выманить своего супруга из верного убежища на еще более верную смерть. Немало трудностей встретилось ей. Уже перед городскими воротами остановил ее гонец Ленокса, отца Дарнлея. Старику подозрительно, что женщина, уже многие месяцы с лютой ненавистью избегающая его сына, вдруг заботливо спешит к ложу больного. Старые люди чувствуют приближение несчастья, а может быть, Ленокс вспомнил, что всякий раз, как Мария Стюарт искала расположения его сына, она таила в душе какую-то корыстную цель. С трудом отразив испытующие вопросы посланца, счастливо добирается она до постели больного, чтобы и здесь – неизбежное следствие двойной игры – наткнуться на недоверие. Зачем она привезла с собой телегу, первым делом допытывается Дарнлей, и в глазах его мечутся искорки тревоги. И ей приходится крепко зажать сердце в кулак, чтобы под градом его вопросов не выдать себя ни единой запинкой, не побледнеть и не покраснеть. Но страх перед Босуэлом научил ее притворству.

Ласковыми руками и льстивыми речами убаюкивает она недоверие Дарнлея, постепенно, по ниточке выматывает у него последнюю волю и всучает взамен свою, сильнейшую. Уже к вечеру первого дня половина дела сделана.

И вот она сидит ночью одна в полутемной комнате, пустой и холодной, свечи проливают призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых сокровенных ее мыслей и вздохи растоптанной совести. Нет ей ни сна, ни покоя, безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь тяжесть, что гнетет душу, перемолвиться словом в этот час неизбывной тоски и муки. И так как его нет рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего никто знать не должен, кроме него, о том страшном злодействе, в котором она боится признаться себе самой, то она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и садится писать. Письму нет конца. Она не закончит его ни в эту ночь, ни на следующий день, а только на вторую ночь: здесь человек, совершая преступление, единоборствует со своей совестью. В глубокой усталости, в страшном смятении написаны эти строки, где все путается и мешается в каком-то отупении и изнеможении чувств – глупость и глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня и стон отчаяния, а черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие зигзаги. То это лепет о незначащих мелочах, то страшным воплем прорывается стон истерзанной совести, вспыхивает ненависть, но сострадание заглушает ее, и неизменно поверх всего, широко разливаясь и пламенея, катится бурлящий поток любви к тому единственному, чья воля тяготеет над ней, чья рука столкнула ее в эту бездну. Внезапно она замечает, что кончилась бумага. Тогда она продолжает писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше, только бы этот ужас не задушил ее, не удавила тишина, цепляться за него хотя бы словами, за того, к кому она неразрывно прикована, – кандальник к кандальнику, кровь к крови. Но в то время как перо в ее трясущейся руке, словно своей волею, летит по бумаге, она замечает, что все в письме сказано не так, как надо было сказать, что нет у нее сил укротить свои мысли, привести их в порядок. Она улавливает это будто другой половиной сознания и заклинает Босуэла – пусть дважды прочтет ее письмо. Но именно потому, что в письме, насчитывающем три тысячи слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, что мысли, в нем путаются и кружат в каком-то смутном мелькании, – именно поэтому оно становится своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой души. Ибо здесь говорит не разумное существо, нет, в трансе усталости и лихорадки здесь приоткрывается обычно

недоступное взору подсознание, нагое чувство, сбросившее последний покров скромности и стыда. Явственные голоса и смутные подголоски, трезвые мысли и такие, которые она не отважилась бы высказать в полном разуме, сменяют друг друга в этой сумятице чувств. То она повторяется, то противоречит себе, все хаотически волнуется и клокочет в кипении и бурлении страсти. Ни разу или, быть может, только считанные разы доходило до нас признание, в котором духовное и душевное перевозбуждение в момент совершаемого преступления было бы раскрыто с такой полнотою, – нет, никакой Бьюкенен, никакой Мэйтленд, никто из этих архиумников не мог бы с таким знанием дела, с такой проницательностью, с такой магической точностью измыслить горячечный монолог смятенного сердца, ужасающее положение женщины, которая, совершая тяжкое преступление, не знает иного средства спастись от терзаний совести, как писать и писать своему возлюбленному, стараясь потеряться, забыться, оправдаться и все объяснить, которая убегает в это письмо, чтобы в окружающей тишине не слышать, как бешено колотится в груди ее сердце. И снова невольно вспоминается леди Макбет; так же в развевающихся ночных одеждах блуждает та по темному замку, преследуемая и теснимая страшными мыслями, и, подобно сомнамбуле, выдает свое преступление в потрясающем монологе. Только Шекспиры, только Достоевские способны создавать такие образы, а также их величайшая наставница – *Действительность*.

Как великолепно уже самое вступление, трогающее сердце до глубины, уже этот начальный затакт: «Я устала, меня клонит в сон, но я не могу не писать, пока есть бумага… Прости мне эти каракули, если чего не разберешь, пусть сердце тебе подскажет… И все же я рада, что могу писать тебе, пока все кругом спят, мне же все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия, жизнь моя, мой ненаглядный». С неотразимой проникновенностью рассказывает она, как бедняга Дарнлей обрадовался ее неожиданному приезду; кажется, видишь его перед собой, бедного юношу с еще воспаленным от сильного жара, еще не очистившимся от струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один-одинешенек и терзался мыслью, что она, которой Он предался душой и телом, так жестоко оттолкнула его и прогнала от себя. И вот она здесь, его прекрасная, юная возлюбленная, эта ласковая женщина снова у его ложа. Бедный глупец так счастлив, что не верит себе: «а вдруг это сон», он так рад ее видеть, «что боится умереть от счастья». Минутами в нем, правда, вскипает недоверие, свербят незажившие раны. Все произошло так внезапно, что кажется просто невозможным, – и все же это мелкотравчатое сердце, как часто оно ни бывало

обмануто, бессильно заподозрить столь грандиозный обман. Слабому человеку сладко надеяться и верить, тщеславному – легко вообразить, что он любим. Понадобилась самая малость, чтобы Дарнлей растрогался и размяк – он снова ее раб и снова просит, как в ночь после убийства Риччо, прощения за все обиды, что он ей причинил. «Мало ли твоих подданных против тебя согрешило, и ты всех простила, а ведь я еще так молол. Ты скажешь, что не раз меня прощала, а я снова впадаю во все те же ошибки. Но разве не бывает, что человек в мои годы, послушавшись дурного совета, и второй и третий раз впадает во все те же ошибки, нарушает данное слово, но зато уж потом, наученный горьким опытом, окончательно берется за ум? Если ты простишь меня, клянусь, я не заставлю тебя жалеть об этом. И мне ничего от тебя не нужно, только чтобы мы, как верные супруги, делили кров и ложе, а если ты не захочешь меня простить, лучше мне никогда не встать с этой постели… Бог видит, как жестоко я наказан за то, что сотворил себе кумира, и ни о чем не могу думать, кроме тебя одной…»

И снова письмо приоткрывает нам далекую комнату, погруженную в полумрак. Мария Стюарт сидит у изголовья больного и внемлет этому взрыву признаний, этим смиренным клятвам. Пришло ее время торжествовать, план удался на славу, опять она обвела вокруг пальца этого недалекого мальчика. Но ей слишком стыдно своего обмана, чтобы радоваться, в самый разгар вероломных хлопот душит ее отвращение к совершаемой низости. Помрачневшая, пряча глаза, со смятенной душой, сидит она у постели больного, и даже Дарнлей замечает, что его милую гнетет какая-то темная тайна. Бедный околпаченный дурачок старается – не правда ли, гениальная ситуация! – утешить обманщицу, предательницу, он хочет вселить в нее бодрость, веселье, надежду. Он молит ее остаться с ним эту ночь; злосчастный глупец, он снова бредит любовью и нежностью. Страшно чувствовать через письмо, как слабый мальчик опять доверчиво льнет к ней, как он уже в ней уверен. Нет, он не может не глядеть на нее, безгранично наслаждается он возобновленной близостью, которой так долго был лишен. Он просит ее своими руками нарезать ему мясо и говорит, говорит и выбалтывает по наивности все свои секреты, называет поименно своих дружков и соглядатаев и, ничего не ведая о ее отношениях с Босуэлом, признается в лютой ненависти к Мэйтленду и Босуэлу. И – да это и вполне естественно – чем доверчивее, чем самозабвеннее он выдает себя, тем больше затрудняет он этой женщине задачу предать его, беспомощного, наивного несмышленыша. Против желания, она растрогана, смущена легковерием, бессилием

жертвы. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она играть эту презренную комедию. «Никогда я от него не слыхала более разумных и кротких речей, и кабы я не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей приказ, исключая полученного из твоих рук, не приневолил бы меня побороть сострадание». Видно, что она уже не чувствует ненависти к бедняге, который тянется к ней воспаленным лицом, пожирает ее голодными нежными глазами; начисто забыла она все зло, которое глупый лгунишка ей причинил, ей от души хотелось бы спасти его. В порыве возмущения она всю вину возлагает на Босуэла: «Никогда бы я не пошла на это, чтобы отомстить за себя». Только во имя любви, и ничего другого, совершит она столь мерзостный обман, употребив во зло детское доверие. Великолепно звучит ворвавшийся у нее вопль протеста: «Ты вынуждаешь меня к притворству, которое внушает мне ужас и отвращение, ты навязываешь мне роль предательницы. Но помни, если бы не то, что я хочу слушаться тебя во всем, я предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью».

Однако раб не может бороться. Он может только стонать, когда свирепый бич гонит его вперед. С покорной жалобой клонит она голову перед своим господином: «Горе мне! Никогда и никого я не обманывала, а теперь во всем покорна твоей воле. Намекни хоть словом, чего ты от меня хочешь, и, что бы со мной ни стряслось, я покорюсь. Подумай также, не надежнее ли было бы прибегнуть к какому-нибудь снадобью, он собирается в Крэгмиллер на тамошние воды и купания». Очевидно, ей хотелось бы измыслить для несчастного более легкую кончину, избежать грубого, грязного насилия; если бы она хоть в какой-то мере принадлежала себе и не была всецело предана Босуэлу, останься в ней хоть капля душевных сил, хоть искра моральной самостоятельности, она бы непременно – это чувствуется – спасла Дарнлея. Но она не отваживается на ослушание, так как страшится потерять Босуэла и вместе с тем – гениальный психологический штрих, какого не придумать ни одному писателю, – страшится, как бы Босуэл не стал ее презирать за то, что она согласилась на такую низость. С мольбой простирает она руки, умоляя, чтобы он за это «не стал меньше уважать ее, так как он всему причина». На коленях взывает она: пусть вознаградит любовью ее нынешние муки. «Всем жертвую я – честью, совестью, счастьем и величием, помни же это и не поддавайся на уговоры своего лживого шурина, ополчающего тебя против самой верной возлюбленной, какая у тебя когда-либо была или будет. И не гляди, что она (жена Босуэла) обливается лживыми слезами, а воззри на меня и на то деяние, на которое я иду против воли,

единственно, чтобы заслужить ее место, ради которого я готова попрать собственную природу. И да простит мне бог, и да ниспошлет он тебе, бесценный друг, всякого счастья и без счета милостей, каких тебе желает твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать для тебя чем-то большим в награду за свои муки». Тот, кто непредвзятой душой слышит в этих словах голос измученного, исстрадавшегося сердца, не назовет несчастную убийцей, хотя все, что она делает в эти ночи и дни, ведет к убийству. Ибо чувствуется: в тысячу раз сильней ее воли ее неволя, ее отвращение и протест. Быть может, в иные часы эта женщина ближе к самоубийству, чем к убийству. Но такова судьба того, кто отдал себя в кабалу: раз отказавшись от своей воли, он уже не волен сам избрать свой путь. Он может лишь служить и повиноваться. И так, спотыкаясь, оступаясь, бредет она все вперед, невольница своей страсти, бессознательная и в то же время до ужаса сознательная сомнамбула своего чувства, увлекаемая в бездну злодеяния.

Уже на следующий день Мария Стюарт выполнила целиком и полностью все, что ей надлежало сделать; наиболее деликатная, наиболее рискованная часть задачи ей счастливо удалась. Королева усыпила подозрения Дарнлея – бедного недалекого малого не узнать, он заметно повеселел, приободрился, у него уверенный и даже счастливый вид. Еще не оправившийся, ослабевший, с изрытым оспинами лицом, он даже пытается с ней нежничать. Ему бы только обниматься и целоваться, и Марии Стюарт стоит величайших усилий, поборов гадливость, сдерживать его нетерпение. Послушный ее желаниям – так же как она послушна желаниям Босуэла, – невольник невольницы, он объявляет, что согласен вернуться с ней в Эдинбург.

Еще больной, закрыв лицо тонким суконным покрывалом, чтобы никто не видел, как оно обезображено, он доверчиво разрешает перенести себя из надежного родительского замка в ожидающую его телегу. И вот наконец жертва на пути к мяснику. Грубой, кровавой частью работы займется Босуэл, этому отъявленному – цинику она дастся неизмеримо легче, чем далось Марии Стюарт ее предательство.

Медленно катится телега под эскортом верховых по зимней морозной дороге – во вновь обретенном согласии после долгих месяцев непримиримой вражды возвращается в Эдинбург королевская чета. В Эдинбург, но куда же именно? Разумеется, в Холирудский замок, скажете вы, в королевскую резиденцию, в уютные княжеские палаты. Но нет, Босуэл, всемогущий, распорядился иначе. Король не вернется к себе в замок – якобы

потому, что не прошла еще опасность заразы. Ну тогда, значит, в Стирлинг или в Эдинбургский замок, эту гордую, неприступную крепость? В крайнем случае он заедет погостить в какой-нибудь другой княжеский дом, хотя бы во дворец епископа. Опять-таки нет! В силу каких-то сугубо подозрительных обстоятельств выбор падает на весьма невзрачный, одиноко стоящий дом, о котором до сей поры не могло быть и речи, – отнюдь не господские хоромы, к тому же и расположенный в подозрительной местности, за городскими стенами, среди садов и пустырей, – дом, полуразрушенный и годами пустовавший, дом, который трудно охранять и защищать, – странный и знаменательный выбор! Поневоле спросишь, кому взбрело в голову отвести для короля это подозрительно уединенное жилье в Керк о'Филде, по соседству с пользующейся дурной славой Воровской слободой (Thieves Row). И опять-таки здесь замешан Босуэл, ведь он нынче все и вся в Шотландии (all in all). Повсюду и везде натыкаемся мы в таинственном лабиринте на все ту же красную нить. Повсюду и везде – в письмах, документах, дознаниях – неизменно к нему ведет кровавый след.

Этот невзрачный, недостойный короля, затерянный среди пустырей домик, к которому прилегает только одна усадьба, принадлежащая кому-то из приспешников Босуэла, состоит всего лишь из прихожей и четырех комнат. Внизу помещается импровизированная спальня королевы, которой вдруг пришла охота ходить за больным супругом, хотя совсем недавно она и слышать о нем не хотела; вторая комната отведена ее женской прислуге. Комната побольше наверху предназначена королю, а рядом помещение для его челядинцев. Для этих приземистых комнатушек в подозрительном доме не желают убранства, из Холируда доставлены ковры и богатые шпалеры, специально для короля переправляется одна из великолепных кроватей, вывезенных Марией де Гиз из Франции, вторая ставится внизу для королевы. А уж Мария Стюарт прямо разрывается от усердия: всемерно подчеркивает она свою нежную заботу о Дарнлее. По нескольку раз на дню навещает она его со всей свитой, не давая скучать, это она-то, которая – не мешает лишений раз напомнить – уже много месяцев как бежит его, точно зачумленного. Три ночи – с четвертого по седьмое февраля – она, покинув свой удобный дворец, ночует в этом уединенном доме. Пусть каждый в Эдинбурге убедится, что король и королева снова живут душа в душу. Нарочито и даже, можно сказать, навязчиво афишируется это благоденствие, это задушевное согласие перед всем городом. Легко себе представить, как неожиданный поворот в расположении королевы был воспринят всеми, а особенно

лордами, с которыми Мария Стюарт еще недавно обсуждала, как бы ей вернее отделаться от мужа. И вдруг эта внезапная, бурная и чересчур уж подчеркиваемая супружеская любовь! Самый догадливый из лордов, Меррей, по-видимому, делает свои выводы – об этом явствует его дальнейшее поведение, он ни на секунду не сомневается, что в этом на диво уединенном домике ведется сомнительная игра, и, как истый дипломат, принимает меры.

И может быть, только один человек во всем городе, во всей стране свято верит в изменившееся расположение королевы: Дарнлей, незадачливый супруг. Его тщеславию льстит ее забота; гордостью видит он, что лорды, еще недавно с презрением от него отворачивавшиеся, спешат к его постели с поклонами, с участливыми минами. Исполненный признательности, докладывает он седьмого февраля отцу в письме, как поправилось его здоровье благодаря тщательному уходу королевы, которая выказала себя на этот раз истинно любящей женой. Врачи предвещают ему скорое выздоровление, лицо его почти очистилось, ему разрешено переехать во дворец – на понедельник утром заказаны лошади. Еще один день, и он вернется в Холируд, где снова будет делить с королевой bed and board[*], и наконец-то опять воцарится в своем государстве и в ее сердце.

Но понедельнику – десятому февраля – предшествует воскресенье – девятое февраля, – на вечер которого в Холирудском замке назначено веселое празднество. Двое самых верных слуг Марии Стюарт справляют свадьбу: по этому случаю состоится пышный банкет и бал, на котором обещала быть сама королева. Но в программе дня не только это общеизвестное событие – есть и другое, все значение которого выяснится только впоследствии. Девятого утром Меррей внезапно испрашивает у сестры дозволения ненадолго отлучиться, он уезжает денька на два, на три в один из своих замков навестить заболевшую жену. А это недобрый знак. Ибо, когда Меррей исчезает с политической арены, у него имеются на то серьезные основания. Что бы здесь ни случилось – переворот или какое-либо трагическое происшествие, – он всегда может потом сказать, что его при этом не было. Тот, кто чувствителен к приближению грозы, должен был бы забеспокоиться, увидев, как этот расчетливый, дальновидный человек спешит ретироваться, пока не ударил гром. И года не прошло, как он с таким же невинным видом въехал в Эдинбург наутро после убийства Риччо; и вот он уже снова уезжает как ни в чем не бывало – в утро того самого дня, когда должно свершиться еще большее злодеяние, предоставляя

другим расхлебывать кашу, а всю честь и корысть приберегая для себя.

И еще один симптом, наводящий на размышление. По-видимому, королева уже сейчас приказывает переправить из Керк о'Филда в Холируд свое пышное ложе с меховыми одеялами. Само по Себе это распоряжение вполне уместно: ближайшую ночь, ночь долгожданного бала, она все равно проведет в замке, а не в Керк о'Филде, а там – и конец разлуке. Но это нетерпеливое желание скорее переправить на место драгоценное ложе в дальнейшем, по ходу разбирательства, послужит пищей для всяких толков и кривотолков. Правда, и после обеда и вечером ничто не предвещает трагических событий, да и поведение Марии Стюарт ни капли не отличается от обычного. Днем она в обществе друзей посещает выздоравливающего супруга, вечером, вместе с Босуэлом, Хантлеем и Аргайлом, весело пирует на свадьбе своих челядинцев. А главное, ну до чего трогательно: опять – в самом деле, до чего же трогательно! – опять спешит она, хоть Дарнлей вот-вот вернется в Холируд, спешит морозной зимней ночью туда, в уединенный домик Керк о'Филда. Безо всякого прерывает оживленную застольную беседу, чтобы еще полчасика посидеть у изголовья мужа и поболтать с ним. До одиннадцати вечера – не мешает поточнее заметить время – засиживается Мария Стюарт в Керк о'Филде и только тогда возвращается к себе в Холируд; в темноте ночи далеко заметна сверкающая шумливая кавалькада, полыхают факелы, мелькают фонари, доносятся взрывы веселого смеха. Раскрываются ворота – весь Эдинбург сможет потом засвидетельствовать, что королева, как нежная жена, наведав больного мужа, вернулась в Холируд, где под пение скрипок и наигрыш волынок вихрем кружатся танцующие пары. Еще раз смешивается веселая, словоохотливая королева с толпою свадебных гостей и только за полночь удаляется в свои покои, чтобы отойти ко сну.

В два часа ночи от грома содрогнулась земля. Страшный взрыв, «будто выпалили из двадцати пяти пушек», сотряс воздух. И сразу же стало видно, как со стороны Керк о'Филда побежали сломя голову какие-то подозрительные фигуры: что-то ужасное, должно быть, стряслось в уединенном домике у короля. Весь город, объятый страхом и волнением, проснулся и уже на ногах. Распахиваются городские ворота, и в Холируд устремляются гонцы с ужасной вестью, что одинокий домик в Керк о'Филде с королем и его челядью взлетел на воздух. Босуэла, пировавшего на свадьбе – очевидно, чтобы обеспечить себе алиби, меж тем как его молодцы готовили взрыв, – сонного поднимают с постели,

вернее, он делает вид, будто крепко спал. Он второпях одевается и вместе с вооруженной стражей спешит на место преступления. Трупы Дарнлея и слуги, спавшего в его комнате, находят в саду, в одних рубашках. Дом полностью разрушен пороховым взрывом. Установлением этого, весьма для него, по-видимому, неожиданного и прискорбного факта Босуэл и ограничивается. Так как существо дела известно ему лучше, чем кому-либо, он не дает себе труда расследовать, что здесь произошло. Он приказывает подобрать трупы и уже через каких-нибудь полчаса возвращается в замок. И здесь он может доложить ничего не подозревающей королеве, так же, как и он, разбуженной среди крепкого сна, один только голый факт: ее супруг, Генрих, король Шотландский, убит неведомыми злодеями, скрывшимися неведомо куда.

13. Quos deus perdere vult… [52] (февраль – апрель 1567)

Страсть способна на многое. Она может пробудить в человеке небывалую, сверхчеловеческую энергию. Она может своим неослабным давлением выжать даже из уравновешенной души поистине титанические силы и, ломая все нормы и формы узаконенной нравственности, отважиться и на преступление. Но так же неотъемлемо для нее другое: после стихийного взрыва пароксизм страсти, как бы истощив себя, никнет, спадает. И этим, по существу, отличается преступник по страсти, действующий в состоянии аффекта, от подлинного, прирожденного, закоренелого преступника. У случайного преступника, преступника по страсти, обычно хватает сил лишь на самое деяние, и очень редко на его последствия. Действуя по первому побуждению, слепо устремленный на задуманное, он все свои душевные силы отдает одной-единственной цели; но едва она достигнута, едва деяние совершено, как вся его энергия словно отливает, уходит решимость, изменяет разум, отказывает мудрость, и это в то самое время, как трезвый, расчетливый преступник вступает со следователями и судьями в изворотливый поединок. Не для самого деяния, как мы видим у преступника по страсти, а для последующей самозащиты приберегает он максимум своих душевных сил.

Марии Стюарт – и это не умаляет, а возвышает ее в глазах потомства – не хватило мужества для той преступной ситуации, в которую поставила ее зависимость от Босуэла, ибо если она и сделалась преступницей, то лишь по безрассудству страсти, не своей, а чужой волею. В свое время у нее недостало сил предотвратить катастрофу, а теперь, когда дело сделано, она и вовсе растерялась. Ей остается одно из двух: или решительно, с чувством омерзения порвать с Босуэлом, который, в сущности, зашел дальше, чем она внутренне допускала, отмежеваться от его деяния, или же, наоборот, помочь ему замести следы, а следовательно, лицемерить, надеть личину страдания, чтобы отвести подозрение от него и от себя. Но вместо этого Мария Стюарт делает самое безрассудное, самое нелепое, что только можно сделать в ее положении, – то есть ровно ничего. Она остается нема и недвижима и этой полной растерянностью выдает себя с головой. Как заводная игрушка, автоматически выполняющая несколько предписанных движений, она в каком-то трансе покорности подчинилась всем приказаниям Босуэла:

поехала в Глазго, успокоила Дарнлея и завлекла его обратно домой. Но завод кончился, и механизм бездействует. Именно сейчас, когда ей надо разыграть безутешную скорбь и потрясти патетической игрой весь мир, чтобы он безоговорочно поверил в ее невиновность, именно сейчас она устало роняет маску; какое-то окаменение чувств, жестокий душевный столбняк, какое-то необъяснимое равнодушие находит на нее; безвольная, она и не пытается защищаться, когда над ней дамокловым мечом нависает подозрение.

Этот странный душевный столбняк, поражающий человека в минуты опасности и словно замораживающий его, обрекая на полное бездействие и безучастие в минуты, когда ему особенно необходимы притворство, самозащита и внутренняя собранность, сам по себе не представляет ничего необычного. Подобное окаменение души – лишь естественная реакция на чрезмерное напряжение, коварная месть природы тому, кто нарушает ее границы. У Наполеона в канун Ватерлоо исчезает вея его дьявольская сила воли; молча, как истукан, сидит он и не отдает распоряжений, хотя именно сейчас, в минуту катастрофы, они особенно необходимы; куда-то внезапно утекли его силы, как утекает вино из продырявленной бочки. Подобное же оцепенение находит на Оскара Уайльда перед арестом; друзья вовремя предупредили его, у него довольно времени и денег, он может сесть в поезд и бежать через Ла-Манш. Но и на него нашел столбняк, он сидит у себя в номере и ждет – ждет неизвестно чего – то ли чуда, то ли гибели. Только подобные аналогии – а история знает их тысячи – помогают нам уяснить поведение Марии Стюарт, ее нелепое, бессмысленное, предательски пассивное поведение тех недель, которое, собственно, и навлекло на нее подозрение. До самой катастрофы ничто не указывало на ее договоренность с Босуэлом, ее поездка к Дарнлею могла и вправду означать попытку примирения. Но после смерти Дарнлея его вдова сразу же оказывается в фокусе общего внимания, и теперь либо ее невиновность должна со всей очевидностью открыться миру, либо притворство должно поистине стать гениальным. Но судорожное отвращение к притворству и лжи, видимо, владеет несчастной. Вместо того чтобы рассеять законное подозрение, она полным безучастием еще усугубляет свою вину в глазах мира, представляясь более виновной, чем даже, возможно, была. Подобно самоубийце, бросающемуся в бездну, закрывает она глаза, чтобы ничего не видеть, ничего не чувствовать, она словно жаждет погрузиться в небытие, где нет места мучительному раздумью и сомнению, а только конец, гибель. Вряд ли история криминалистики когда-либо являла миру другой

такой патологически законченный образец преступника по страсти, который в своем деянии истощает все силы и гибнет. Quos Deus perdere vult… Кого боги замыслили погубить, у того они отнимают разум.

Ибо как повела бы себя невинная, честная, любящая жена-королева, когда бы посланный принес ей среди ночи ужасную весть, что супруг ее только что убит неведомыми злодеями? Она вскочила бы, точно ужаленная, как если б крыша пылала у нее над головой. Она кричала бы, бесновалась, требовала бы, чтобы виновных тотчас схватили. Она бросила бы в тюрьму всякого, на кого пала хоть тень подозрения. Она воззвала бы к сочувствию народа, она просила бы чужеземных государей задерживать на своих рубежах всех беглых из ее страны. Так же как после кончины Франциска II, заперлась бы она в своей опочивальне и, не выходя ни днем, ни ночью, изгнала бы на долгие недели и месяцы всякое помышление о мирских радостях, развлечениях и веселье в кругу друзей, а главное, не знала бы ни отдыха, ни покоя, пока не был бы схвачен и казнен каждый соучастник злодеяния, каждый виновный в преступном укрывательстве.

Вот как, казалось бы, должна была проявить себя честная, истинно любящая жена, на которую нежданно-негаданно обрушилось такое известие. И каким это ни звучит парадоксом, примерно эти же чувства, по законам логики, должна была бы симулировать соучастница преступления, ибо ничто так не страхует преступника от подозрений, как вовремя надетая личина невинности и неведения. А между тем Мария Стюарт выказывает после катастрофы такое чудовищное равнодушие, что это бросилось бы в глаза даже самому наивному человеку. Ни следа того возмущения, той мрачной ярости, в которую ввергло ее убийство Риччо, или меланхолической отрешенности, которая овладела ею после смерти Франциска II. Она не посвящает памяти Дарнлея прочувствованной элегии, вроде той, какую написала на смерть первого мужа, но с полным самообладанием спустя лишь несколько часов после получения страшной вести подписывает увертливые послания ко всем иноземным дворам, чтобы хоть как-то объяснить убийство, а главное, выгородить себя. В этой более чем странной реляции все поставлено на голову, и дело рисуется так, будто убийцы покушались на жизнь не столько Дарнлея, сколько самой Марии Стюарт. По этой, официальной, версии заговорщики якобы находились в заблуждении, полагая, что королевская чета ночует в Керк о'Филде, и только чистая случайность, а именно то, что королева вернулась на свадебное пиршество, помешала ей погибнуть

вместе с королем. Бестрепетной рукой подписывает Мария Стюарт заведомую ложь: королеве-де пока еще неведомо, кто истинные виновники злодеяния, но она полагается на рвение и усердие своего коронного совета, которому поручено учинить розыск; она же намерена так покарать злодеев, чтобы это стало острасткой и примером на все времена.

Такая подтасовка фактов слишком бросается в глаза, чтобы обмануть кого-либо. Весь Эдинбург видел, как королева в одиннадцатом часу вечера во главе большой кавалькады, далеко озарившей ночь факелами, возвращалась в Холируд из уединенной усадьбы Керк о'Филда. Весь город знал, что она не ночует у мужа, и, значит, сторожившие в темноте убийцы заведомо не покушались на ее жизнь, когда три часа спустя взорвали дом. Да и взрыв был произведен лишь для отвода глаз, скорее всего Дарнлея придушили злодеи, заранее проникшие в дом, – очевидная несуразность официального сообщения лишь усиливает чувство, что дело не чисто.

Но как ни странно, Шотландия молчит; не только безучастность Марии Стюарт в эти дни настораживает мир, настораживает и безучастность страны. Вы подумайте: случилось нечто невероятное, неслыханное даже в анналах этой кровью писанной истории. Король Шотландский убит в своей столице, мало того, пал жертвою взрыва. И что же происходит? Содрогнулся ли весь город от ужаса и негодования? Стекаются ли из своих замков дворяне и бароны, чтобы защитить королеву, чья жизнь будто бы в опасности? Взывают ли проповедники со своих кафедр о возмездии? Предпринимают ли власти необходимые меры для разоблачения убийц? Запирают ли городские ворота, берут ли сотнями под стражу подозрительных лиц и пытают ли их на дыбе? Закрывают ли границы, проносят ли тело убиенного по улицам в траурном шествии всей шотландской знати? Воздвигают ли катафалк на площади, освещая его свечами и факелами? Созывают ли парламент, чтобы заслушать донесение о неслыханном злодеянии и вынести приговор? Собираются ли лорды, защитники трона, на крестное целование, чтобы клятвенно подтвердить свою готовность преследовать убийц? Ничего этого нет и в помине. Странная, зловещая тишина следует за ударам грома. Королева, вместо того чтобы, воззвать к народу, заперлась во дворце. Хранят молчание лорды. Ни Меррей, ни Мэйтленд не подают признаков жизни, притаились все те, кто преклонял перед королем колено. Они не осуждают убийство и не славят его, настороженно затаились они в тени и ждут, как развернутся события; чувствуется, что гласное обсуждение цареубийства им пока не по нутру, ведь так или иначе они были

во все посвящены. Да и горожане запираются в четырех стенах и только с глазу на глаз обмениваются догадками. Они знают: маленькому человеку лучше не соваться в дела больших господ, того гляди притянут за чужие грехи. Словом, на первых порах все идет так, как и рассчитывали убийцы: будто произошло пусть и досадное, но не слишком значительное происшествие. В истории Европы, пожалуй, не было случая, чтобы весь королевский двор, вся знать, весь Город с такой постыдной трусостью старались прошмыгнуть мимо цареубийства; всем на удивление забывают о самых элементарных мерах для прояснения обстоятельств убийства. Ни полицейские, ни судебные власти не осматривают места преступления, не снимаются показания, нет ни сколько-нибудь вразумительного сообщения о происшедшем, ни обращения к народу, проливающего свет на загадочное происшествие, – словом, дело всячески заминают. Труп убитого так и не подвергается медицинскому и судебному освидетельствованию; и поныне неизвестно, был ли Дарнлей задушен, заколот или (труп был найден в саду с почерневшим лицом) отравлен еще до того, как убийцы взорвали дом, поистине не пожалев пороху. А чтобы не было лишних разговоров и чтобы не слишком много людей видело труп, Босуэл самым непристойным образом торопит с похоронами. Лишь бы скорее упрятать в землю Генри Дарнлея, похоронить всю эту грязную историю, чтобы не била в нос!

И что каждому бросается в глаза, каждому показывает, какие высокие лица замешаны в убийстве, – Генри Дарнлея, короля Шотландии, даже не удосужились похоронить как подобает. Тело не только не выставляют на катафалке для торжественного прощания, не только не провозят по городу в пышном погребальном кортеже, предшествуемом безутешной вдовой, всеми лордами и баронами. Никто не палит из пушек, никто не звонит в колокола; тайком, в ночи, выносят гроб в часовню. Без всякой помпы, без почестей, в трусливой спешке тело Генри Дарнлея, короля Шотландии, опускают в склеп, как будто он был убийцей, а не жертвой чужой ненависти и неукротимой алчности. А там… отслужили мессу – и по домам! Пусть бесталанная душа не тревожит больше мира в Шотландии! Quos Deus perdere vult…

Мария Стюарт, Босуэл и лорды рады бы гробовой крышкой прихлопнуть всю эту темную аферу. Но во избежание лишних вопросов, а также дабы Елизавета не вздумала жаловаться, что ничего не предпринято для раскрытия преступления, решено сделать вид, будто что-то делается. Спасаясь от настоящего следствия, Босуэл снаряжает следствие мнимое: этой маленькой

уступкой он хочет откупиться от общественного мнения, пусть думают, что «неведомых убийц» усердно ищут. Правда, всему городу известны их имена: слишком много понадобилось соучастников, чтобы следить за усадьбой, закупить всю эту уйму пороху и перетаскать его мешками в дом. Немудрено, что кого-то и заприметили, да и караульные у городских ворот прекрасно помнят, кого они ночью вскоре после взрыва впускали в город. Но поскольку коронный совет Марии Стюарт, в сущности, состоит теперь из одного только Босуэла да Мэйтленда – из соучастника и укрывателя, – а им довольно поглядеться в зеркало, чтобы увидеть истинных зачинщиков, то версия о «неведомых злодеях» остается в силе и даже обнародуется грамота: две тысячи шотландских фунтов обещано тому, кто назовет имена виновных. Две тысячи шотландских фунтов – заманчивая сумма для бедняка-горожанина, но каждый понимает, что стоит сказать лишнее слово, и вместо двух тысяч фунтов заработаешь нож в бок. Босуэл же учреждает нечто вроде военной диктатуры, и его верные приспешники, the borderers, грозно скачут по улицам города. Оружие, которым они потрясают, достаточно внушительно, чтобы у всякого отпала охота молоть языком.

Но когда правду хотят подавить силой, она отстаивает себя хитростью. Закройте ей рот днем, и она заговорит ночью. Уже наутро после оглашения грамоты о награде находят на рыночной площади афишки с именами убийц, а одну такую афишку кто-то даже умудрился прибить к воротам Холируда, королевского замка. В листках открыто называются Босуэл и Джеймс Балфур, его пособник, а также слуги королевы – Бастьен и Джузеппе Риччо; на других афишках стоят и другие имена. Но в каждой неизменно повторяются все те же два имени: Босуэл и Балфур, Балфур и Босуэл.

Если бы чувствами Марии Стюарт не владел демон, если бы ее разум и соображение не были затоплены грозовой страстью, если бы ее воля не была в подчинении, ей, раз уж голос народа прозвучал так явственно, оставалось одно: отречься от Босуэла. Ей надо было, сохранись в ее затуманенной душе хоть искра благоразумия, решительно от него отмежеваться. Надо было прекратить с ним всякое общение, доколе с помощью искусных маневров его невиновность не будет удостоверена «официально», после чего под благовидным предлогом удалить его от двора. И только одного не следовало ей делать: допускать, чтобы человек, которого чуть ли не вся улица открыто и про себя называет убийцею короля, ее супруга, чтобы этот человек заправлял в шотландском королевском доме, и, уж во всяком случае, не

следовало допускать, чтобы тот, кого общественное мнение заклеймило как вожака преступной шайки, возглавил следствие против «неведомых злодеев». Но что того хуже и нелепее: на афишках рядом с именами Босуэла и Балфура в качестве их пособников назывались двое слуг Марии Стюарт – Бастьен и Джузеппе Риччо, братья Давида. Что же должна была сделать Мария Стюарт в первую голову? Разумеется, предать суду людей, обвиняемых народной молвой. А вместо этого – и тут недальновидность граничит с безумием и самообвинением – она тайно отпускает обоих со своей службы, их снабжают, паспортами и срочно контрабандою переправляют за границу. Словом, она поступает не так, как диктуют закон и честь, а наоборот: чем выдать суду заподозренных, содействует их побегу и как укрывательница сама себя сажает на скамью подсудимых. Но этим не исчерпывается ее самоубийственное безумие! Достаточно сказать, что ни одна душа в эти дни не видела на ее глазах ни слезинки; не уединяется она и в свою опочивальню – на сорок дней в одежде скорби (le deuil blanc), хотя на этот раз у нее во сто крат больше оснований облечься в траур, а, едва выждав неделю, покидает Холируд и отправляется гостить в замок лорда Сетона. Даже простую видимость придворного траура не соблюдает эта вдова, а главное, верх провокации – это ли не вызов, брошенный всему свету! – в Сетоне она принимает посетителя – и кого же? Да все того же Джеймса Босуэла, чье изображение с подписью «цареубийца» раздают в эти дни на улицах Эдинбурга.

Но Шотландия не весь мир, и если лорды, у которых совесть нечиста, если запуганные обыватели помалкивают с опаской, делая вид, будто вместе с прахом короля погребен и всякий интерес к преступлению, то при дворах Лондона, Парижа и Мадрида не так равнодушно взирают на ужасное убийство. Для Шотландии Дарнлей был чужак, и, когда он всем опостылел, его обычным способом убрали с дороги; иначе смотрят на Дарнлея при европейских дворах: для них он король, помазанник божий, один из их августейшей семьи, одного с ними неприкосновенного сана, а потому его дело – их кровное дело. Разумеется, никто здесь не верит лживому сообщению: вся Европа с первой же минуты считает Босуэла зачинщиком убийства, а Марию Стюарт – его поверенной; даже папа и его легат в гневе обличают ослепленную женщину. Но не самый факт убийства занимает и волнует иноземных государей. В тот век не слишком считались с моралью и не так уж щепетильно оберегали человеческую жизнь. Со времен Макиавелли на политическое убийство в любом европейском государстве смотрят сквозь пальцы[53], подобные

примеры найдутся чуть ли не у каждой правящей династии. Генрих VIII не стеснялся в средствах, когда ему нужно было избавиться от своих жен; Филиппу II было бы крайне неприятно отвечать на вопросы по поводу убийства его собственного сына, дона Карлоса[54]; семейство Борджиа[55] не в последнюю очередь обязано своей темной славой знаменитым ядам. Вся разница в том, что каждый государь, кто бы он ни был, страшится навлечь на себя хотя бы малейшее подозрение в соучастии: преступления совершают другие, их же руки остаются чисты. Единственное, чего ждут от Марии Стюарт, – это хотя бы видимости самооправдания, и что пуще всего досаждает всем – это ее нелепая безучастность! С удивлением, а затем и с досадою взирают иноземные государи на свою неразумную, ослепленную сестру, которая и пальцем не шевельнет, чтобы снять с себя подозрение; чем, как это обычно делается, распорядиться повесить или четвертовать одного-двух мелких людишек, она забавляется игрой в мяч, избирая товарищем своих развлечений все того же архипреступника Босуэла. С искренним волнением докладывает Марии Стюарт ее верный посланник в Париже о неблагоприятном впечатлении, какое производит ее пассивность: «Здесь на Вас клевещут, изображая Вас первопричиною преступления; говорят даже, будто оно совершено по Вашему приказу». И с прямотою, которая на все времена делает ему честь, отважный служитель церкви заявляет своей королеве, что если она решительно и бесповоротно не искупит свой грех, «то лучше было бы для Вас лишиться жизни и всего, чем Вы владеете».

Таковы ясные слова друга. Когда бы эта потерянная душа сохранила хоть крупицу разума, хоть искру воли, она воспрянула бы и взяла себя в руки. Еще настоятельнее звучит соболезнующее письмо Елизаветы. Удивительное стечение обстоятельств: ни одна женщина, ни один человек на земле не могли бы так понять Марию Стюарт в этот страшный час, после ужаснейшего свершения всей ее жизни, как та, что искони была ее злейшей противницей. Елизавета, должно быть, видела себя в этом деянии, как в зеркале; ведь и она была когда-то в таком положении, и на нее пало ужасное и, по-видимому, столь же оправданное подозрение в пору самого пламенного увлечения ее Дадлеем-Лестером. Как здесь – супруг, так там на пути любовников стояла супруга, которую нужно было устранить, чтобы открыть им дорогу к венцу; с ведома Елизаветы или нет свершилось ужасное – мир никогда не узнает, но только однажды утром Эйми Робсарт, жену Роберта Дадлея, нашли убитой так же, как в случае Дарнлея, «неведомыми убийцами». И тотчас же все взгляды, обвиняя, обратились на Елизавету, как теперь – на Марию

Стюарт; да и сама Мария Стюарт, в то время еще королева. Французская, легкомысленно иронизировала над своей кузиной, говоря, что та намерена «выйти за своего шталмейстера (master of the horses), который к тому и женоубийца». Так же как сейчас в Босуэле, весь мир видел тогда в Лестере убийцу, а в королеве его пособницу. Воспоминания о пережитых потрясениях и сделали Елизавету в этом случае лучшей и подлинно искренней советчицей данной ей роком сестры. Ибо мудро и мужественно поступила, тогда Елизавета, спасая свою честь: она назначила расследование, безуспешное, конечно, но все же расследование. А главное, она обрезала крылья молве, отказавшись от заветного своего желания – брака с Лестером, который так очевидно для всех запутался. Убийство, таким образом, потеряло всякую связь с ее особой; и этой же тактики советует Елизавета придерживаться Марии Стюарт.

Письмо от 24 февраля 1567 года замечательно еще и тем, что это поистине письмо Елизаветы, письмо женщины, письмо человека. «Madame, – восклицает она в своем прочувствованном послании, – я так встревожена, подавлена, так ошеломлена ужасным сообщением о гнусном убийстве Вашего покойного супруга, а моего безвременно погибшего кузена, что еще не в силах писать об этом; но как ни побуждают меня мои чувства оплакать смерть столь близкого родича, скажу по совести: больше, чем о нем, скорблю я о Вас. О Madame, я не выполнила бы долга Вашей преданной кузины и верного друга, когда бы постаралась сказать Вам нечто приятное, вместо того чтобы стать на стражу Вашей чести; а потому не стану таить слухов, какие повсюду о Вас распространяют, будто Вы расследование дела намерены вести спустя рукава и остерегаетесь взять под стражу тех, кому обязаны этой услугой, давая повод думать, что убийцы действовали с Вашего согласия. Поверьте, ни за какие богатства мира не вскормила бы я в своем сердце мысли столь чудовищной. Никогда бы я не приютила в нем гостя столь зловещего, никогда бы не решилась так дурно помыслить о государыне, особливо же о той, которой желаю всего наилучшего, что только может подсказать мне сердце или чего сами Вы себе желаете. А потому призываю Вас, заклинаю и молю: послушайтесь моего совета, не бойтесь задеть и того, кто Вам всех ближе, раз он виновен, и пусть никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы такая же благородная государыня, как и добропорядочная женщина».

Более честного и человечного письма эта лицемерка, пожалуй, никогда не писала; выстрелом из пистолета должно было оно прозвучать в ушах оглушенной женщины и наконец

пробудить ее к действительности. Снова ей перстом указуют на Босуэла, снова неопровержимо убеждают, что малейшее снисхождение обличит ее самое как соучастницу. Но состояние Марии Стюарт в эти недели – приходится еще и еще раз подчеркнуть это – состояние полной порабощенности. Она так «shamefully enamoured», постыдно влюблена в Босуэла, что, как доносит в Лондоне один из соглядатаев Елизаветы, «по ее же словам, готова все бросить и в одной сорочке последовать за ним на край света». Она глуха к увещаниям, ее разум уже не волен над бурлением крови. И поскольку сама она себя забывает, ей кажется, что и мир забудет ее и ее деяние.

Некоторое время – весь март месяц – пассивность Марии Стюарт как будто бы себя оправдывает. Вся Шотландия молчит, ее вершители суда как бы ослепли и оглохли, а Босуэл – поистине беспримерный случай – при всем желании бессилен найти «неведомых злодеев», хотя в каждом доме и на каждом перекрестке горожане шепотом сообщают друг другу их имена. Все знают и называют их, и никто не рискует ценою собственной жизни добиваться обещанной награды. Но вот раздается голос. Отцу убитого, графу Леноксу, одному из влиятельнейших вельмож в стране, нельзя же отказать в ответе, когда он справедливо ропщет, что по истечении стольких дней никаких серьезных мер не принято для поимки и наказания убийц его сына. Мария Стюарт, которая делит ложе с убийцей и чьей рукой водит укрыватель Мэйтленд, отвечает, разумеется, уклончиво; она, конечно, сделает все от нее зависящее и поручит расследование парламенту. Но Ленокс прекрасно знает цену такому ответу и повторяет свое требование. Пусть для начала, заявляет он, арестуют тех, чьи имена были названы в афишках, расклеенных по всему Эдинбургу. На требование, так ясно сформулированное, ответить уже труднее. Мария Стюарт снова увиливает; она охотно бы так и сделала, но в афишках указывались столь многие и столь различные имена, никак друг с другом не связанные, – пусть Ленокс сам скажет, на кого он держит подозрение. Очевидно, она надеется, что из страха перед всемогущим диктатором, учредившим в стране террор, Ленокс не решится произнести опасное имя Босуэла. Но Ленокс тем временем заручился поддержкой и укрепился духом: он снесся с Елизаветой и поставил себя под ее защиту. Ясно и недвусмысленно, недрогнувшей рукой выписывает он, к всеобщему замешательству, имена всех тех, против кого требует учредить следствие. Первым в списке стоит Босуэл, за ним Балфур, Дэйвид Чармерс и кое-кто помельче из людей Марии

Стюарт и Босуэла – господа давно постарались сплавить их за границу, чтобы они на дыбе не сболтнули лишнего. И тут обескураженной Марии Стюарт наконец становится ясно, что играть комедию, вести следствие «спустя рукава» ей больше не удастся. За упорством Ленокса он угадывает Елизавету со всей присущей ей энергией и авторитетом. Тем временем и Екатерина Медичи в весьма резком тоне уведомляет Марию Стюарт, что отныне считает ее обесчещенной (dishonoured) и что Шотландии нечего рассчитывать на дружбу Франции, доколе убийство не будет искуплено добросовестным и беспристрастным судебным следствием. Единственное, что остается Марии Стюарт, – это круто повернуть и заменить комедию «тщетных» розысков другой комедией – гласного судопроизводства. Она вынуждена дать согласие на то, чтобы Джеймс Босуэл – мелкими людишками можно будет заняться позднее – предстал перед судом дворян. 28 марта граф Ленокс получает официальное приглашение в Эдинбург с тем, чтобы 12 апреля он предъявил Босуэлу свои обвинения.

Однако Босуэл не из тех, кто в покаянной одежде, смиренно и робко спешит предстать перед судьями. И если он не отказывается явиться на вызов, то лишь потому, что намерен всеми средствами добиваться не осуждения, а оправдательного приговора – cleansing. Энергично берется он за приготовления. В первую очередь он побуждает королеву передать под его команду все крепости страны. Все наличное оружие и боевые припасы теперь в его непосредственном ведении. Он знает: сильный всегда прав; к тому же он созвал в Эдинбург всю банду своих borderers и снарядил их словно для битвы. Не ведая стыда и сраму, с присущей ему бесцеремонностью и цинизмом этот повадливый на все дурное человек устанавливает в Эдинбурге самый настоящий режим террора. «Дайте мне только дознаться, – заявляет он во всеуслышание, – чьи людишки разбросали по городу подметные грамоты, и я омою руки в их крови», – серьезнейшее предупреждение Леноксу. Он так и ходит, держа руку на кинжале, и точно так же, угрожая кинжалами, шатаются по городу его люди, недвусмысленно заявляя, что они не позволят, чтобы предводителя их клана, словно преступника, таскали по судам. Пусть только Ленокс посмеет сунуться сюда и оговорить его! Пусть только судьи попробуют осудить его, диктатора Шотландии!

Эти приготовления так афишируются, что у Ленокса не остается сомнений насчет того, что его ждет. Никто не возбраняет ему приехать в Эдинбург и предъявить Босуэлу свои обвинения, но уж после этого Босуэл не выпустит его из города живым. И

снова обращается он к своей заступнице Елизавете, и та без колебаний шлет Марии Стюарт весьма энергичное письмо, предупреждая ее, пока не поздно, не мирволить столь явному беззаконию, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии.

«Madame, я не позволила б себе беспокоить Вас этим письмом, – пишет она в крайнем раздражении, – когда б меня не приневолила к тому заповедь, предписывающая нам возлюбить ближнего, не приневолили слезные просьбы несчастных. Мне известно, Madame, Ваше распоряжение, коим разбирательство по делу лиц, подозреваемые в убийстве Вашего супруга, а моего почившего кузена, назначено на 12-е сего месяца. Чрезвычайно важно, чтобы событию этому не помешали тайные козни и коварные происки, что вполне возможно. Отец и друзья покойного смиренно молят меня воззвать к Вам, чтобы Вы отложили судебное разбирательство, так как известно стало, что некие бессовестные люди стараются силою добиться того, чего им не удается достичь честным путем. Поэтому я и вынуждена вмешаться, как из любви к Вам, которой это касается ближе всего, так и для успокоения тех, кто неповинен в столь неслыханных злодеяниях, ибо даже если б Вы не ведали за собой вины, одного такого попустительства было бы достаточно, чтобы Вас лишили королевского сана и отдали на поругание черни. Но чем быть подвергнутой такому бесчестию, я бы пожелала Вам честно умереть».

Такой повторный выстрел в упор по нечистой совести должен был бы пробудить к жизни даже онемевшие, окаменелые чувства. Но нет никакой уверенности в том, что это предостережение, сделанное буквально в последнюю минуту, было своевременно получено Марией Стюарт. Ведь Босуэл начеку, этому сумасбродно смелому, неукротимому малому не страшен ни бог, ни черт, а уж на английскую королеву ему и вовсе наплевать. Чрезвычайного посланца Елизаветы, прибывшего с ее письмом, задерживают у ворот клевреты Босуэла и не пропускают во дворец: королева-де почивает и не может его принять. В полном недоумении бродит гонец, привезший одной королеве письмо от другой, по улицам города, не зная как быть. Наконец он попадает к Босуэлу и вручает ему письмо, и временщик тут же нагло вскрывает его, прочитывает на глазах у посланца и равнодушно сует в карман. Передал ли он письмо Марии Стюарт, неизвестно, а, впрочем, это и неважно. Порабощенная женщина давно уже ни в чем не перечит своему господину. Она даже, как потом говорили, позволила себе помахать Босуэлу из окна, когда тот в сопровождении своих конных головорезов отправился в Толбут,

словно хотела пожелать заведомому убийце успеха в предстоящей комедии правосудия.

Но если даже Марию Стюарт миновало последнее предостережение Елизаветы, то отсюда не следует, что никто другой ее не остерег. За три дня до суда к ней наведался ее сводный брат Меррей; уезжая в длительное путешествие, он пришел проститься. У Меррея явилось внезапное желание проехаться во Францию и Италию, «to see Venice and Milan»[*]. Мария Стюарт должна бы знать по неоднократному опыту, что столь поспешное исчезновение Меррея с политической арены предвещает перемену погоды, что он хочет своим демонстративным отсутствием заранее опротестовать позорную пародию на суд. Впрочем, Меррей и не скрывает истинной причины своего отъезда. Он рассказывает направо и налево, что пытался задержать Джеймса Балфура как одного из главных участников убийства, но ему помешал Босуэл, всячески выгораживающий своих сообщников. А неделю спустя он открыто заявит в Лондоне испанскому послу де Сильва, что «считал оскорбительным для своей чести дальнейшее пребывание в стране, где подобные чудовищные злодеяния остаются безнаказанными». Кто говорит об этом так широко, тот, верно, не станет таиться от сестры. И действительно, когда Мария Стюарт прощалась с братом, многие видели на ее глазах слезы. Однако она не находит в себе сил удержать Меррея. Она больше ни на что не находит в себе сил, с тех пор как телом и душой предалась Босуэлу. Она может только плыть по течению, безвольная игрушка в его руках, ибо королева в ней отдалась во власть пылающей и покоренной женщины.

Наглым вызовом начинается двенадцатого апреля судебная комедия, и таким же наглым вызовом кончается она. Босуэл отправляется в Толбут, в здание суда, словно в атаку – с мечом на боку, с кинжалом за поясом, окруженный своими присными – около четырех тысяч числом, по явно преувеличенному, впрочем, подсчету; Леноксу же на основании указа, давно уже сданного в архив, разрешено взять с собой при въезде в город не более шести провожатых. Уже в этом сказалась пристрастность королевы. Однако явиться в суд и сразу же наткнуться на ощетинившиеся клинки Ленокс не решается; зная, что Елизавета послала Марии Стюарт письмо с требованием отложить процесс, и чувствуя за собой такую опору, он ограничивается тем, что посылает в Толбут одного из своих ленников для зачтения протеста. Отчасти запуганные, отчасти подкупленные землями, золотом и почестями, судьи с великим облегчением усматривают в неявке

жалобщика удобный повод избавиться от неудобного судоговорения. После якобы обстоятельного совещания (на самом деле все предрешено заранее) Босуэлу единодушно выносится оправдательный приговор – он-де непричастен «in any art and part of the said slauchter of the King»[*] – с постыдной, впрочем, ссылкою на «отсутствие обвинения». И этот шаткий приговор, которым ни один честный человек не удовлетворился бы, Босуэл превращает в свой триумф. Бряцая оружием, то и дело выхватывая меч из ножен и потрясая им в воздухе, разъезжает он по городу, громко вызывая на единоборство всякого, кто и теперь осмелится бросить ему обвинение в убийстве короля или хотя бы в пособничестве убийству.

И вот уже колесо с головокружительной быстротой мчится под уклон – в бездну. Смущенные обыватели потихоньку ропщут и сетуют на беспримерное попрание правосудия, а друзья Марии Стюарт только переглядываются с сокрушением (with sore hearts) и бессильно разводят руками. Эту безумную и остеречь нельзя. «Больно было видеть, – пишет лучший ее друг Мелвил, – как эта добрая государыня очертя голову несется навстречу гибели, и никто не может ни остеречь ее от опасности, ни удержать». Нет, Мария Стюарт никого не хочет слушать, ей не нужны никакие предостережения; охваченная темным соблазном, подмывающим на любое безрассудство, стремится она все вперед и вперед; не оглядываясь, не спрашивая, не слушая, мчится все дальше и дальше на свою погибель эта одержимая страстью менада. Вскоре после того достопамятного дня, когда Босуэл бросил вызов городу, она наносит оскорбление всей стране, предоставив этому закоренелому злодею высшую почесть, какою располагает Шотландия, – совершая свой торжественный выход в день открытия парламентской сессии, она поручает Босуэлу нести впереди нее национальные святыни – корону и скипетр. Теперь уже никто не сомневается, что тот самый Босуэл, который сегодня держит корону в своих руках, завтра возложит ее себе на голову. И в самом деле, Босуэл – и это каждый раз особенно восхищает нас в неукротимом кондотьере – не из тех, кто долго таится. Нагло, напористо и открыто добивается он заветной награды. Презрев стыд и совесть, заставляет он парламент «за выдающиеся заслуги», «for his great and manifold gud service», преподнести ему самый укрепленный замок страны – Данбар, и, благо лорды собрались все вместе и послушны его воле, он, взяв их за горло, вырывает у них и последнее: согласие на его брак с Марией Стюарт. Вечером, по окончании парламентских занятий, Босуэл, как великий вельможа и военный диктатор, приглашает всю

братию отужинать в таверне Эйнслея. После дружных возлияний, когда большинство перепилось – вспоминается знаменитая сцена из «Валленштейна»[56], – он предлагает лордам подписать «бонд», по которому те обязуются не только защищать Босуэла от любого клеветника, но также рекомендовать оного благородного могущественного лорда – «noble puissant lord», в супруги королеве. Поскольку Босуэл признан невиновным всеми пэрами страны, а рука ее величества свободна, говорится в пресловутой грамоте, то ей, «ревнуя к общему благу, следовало бы снизойти до брака с одним из ее подданных, а именно с названным лордом». Они же «как перед богом клянутся» поддержать указанного лорда и защитить его против всех, кто захочет помешать или воспрепятствовать этому браку, не щадя для этого ни крови своей, ни достояния.

Один-единственный из присутствующих пользуется наступившим после чтения замешательством, чтобы незаметно покинуть таверну; другие, потому ли, что дом окружен вооруженными приспешниками Босуэла, или потому, что про себя они решили при первом же удобном случае отступиться от подневольной присяги, подмахнули грамоту. Они знают: что написано пером, прекрасно смывается кровью. А потому никто особенно не задумывается: что значит для этой братии какой-то росчерк пера! Все подписываются и продолжают пировать и бражничать, а пуще всех веселится Босуэл. Наконец-то желанный приз у него в руках и он у цели. Еще несколько недель – и то, что кажется нам в «Гамлете» небывальщиной, поэтической гиперболой, становится здесь действительностью: королева, «еще и башмаков не износив, в которых прах сопровождала мужа»[*], идет к алтарю с его убийцей. Quos Deus perdere vult…

14. Путь безысходный (апрель – июнь 1567)

Невольно, по мере того как трагедия «Босуэл», нарастая, стремится к своей высшей точке, нам, словно по какому-то внутреннему принуждению, все снова и снова вспоминается Шекспир. Уже внешнее сюжетное сходство этой трагедии с «Гамлетом» неоспоримо. И тут и там – король, вероломно убранный с дороги любовником жены, и тут и там – вдова, с бесстыдной поспешностью устремляющаяся к венцу с убийцею мужа, и тут и там – неугасающее действие сил, рожденных убийством, которое труднее скрыть и от которого труднее скрыться, чем было совершить его. Уже одно это сходство поражает. Однако еще сильнее, еще неодолимее воздействует на чувство поразительная аналогия многих сцен шекспировской шотландской трагедии с исторической. Шекспировский «Макбет», сознательно или бессознательно, сотворен из атмосферы драмы «Мария Стюарт»; то, что волею поэта произошло в Дунсинанском замке, на самом деле не так давно происходило в Холируде. И тут и там то же одиночество после содеянного, тот же тяжкий душевный мрак, те же овеянные жутью пиршества, на которых гости не смеют отдаться веселью и откуда они втихомолку бегут один за другим, между тем как черные вороны несчастья, зловеще каркая, кружат над домом. Порой не скажешь: Мария ли Стюарт ночами блуждает по дому в помрачении разума, не ведая сна, смертельно терзаемая совестью, или же то леди Макбет, пытающаяся смыть невидимые пятна с обагренных кровью рук? То ли Босуэл перед нами, то ли Макбет, все решительнее и непримиримее, все дерзновеннее и отважнее противостоящий ненависти всей страны и в то же время знающий, что все его мужество бесплодно и что смертному не одолеть бессмертных духов. И здесь и там – страсть женщины как движущее начало и мужчина как исполнитель, но особенно здесь и там схожа атмосфера, гнетущая тяжесть, нависшая над заблудшими, замученными душами, мужчиной и женщиной, что прикованы друг к другу одним и тем же преступлением и увлекают один другого в пагубную бездну. Никогда в мировой истории и мировой литературе психология преступления и таинственно тяготеющая над убийцей власть убиенного не проявлялись так блистательно, как в обеих шотландских трагедиях, из коих одна была сочинена, а другая реально пережита.

Это сходство, эта поразительная аналогия только ли

случайны? Или же должно признать, что в шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое поэтическое и философское истолкование? Впечатления детства неугасимо властвуют над душой поэта[57], и таинственно преображает гений ранние впечатления в вечную, непреходящую действительность. Одно несомненно: Шекспиру были известны события, происшедшие в Холирудском замке. Все его детство в английском захолустье было овеяно рассказами и легендами о романтической королеве, которой безрассудная страсть стоила страны и престола, и теперь, в наказание, ее постоянно перевозят из одного английского замка в другой. Он, верно, совсем недавно прибыл в Лондон, этот юноша – лишь наполовину мужчина, но уже вполне поэт, – когда по всему городу трезвонили колокола, ликуя оттого, что великая противница Елизаветы наконец-то сложила голову на плахе и что Дарнлей увлек за собой в могилу неверную жену. Когда же впоследствии в Холиншедовой хронике[58] он натолкнулся на повесть о сумрачном короле Шотландском[*], быть может, вспыхнувшее воспоминание о трагической гибели Марии Стюарт таинственным образом связало обе эти темы в творческой лаборатории поэта? Никто не может утверждать с уверенностью, но никто не может и отрицать, что трагедия Шекспира была обусловлена той реально пережитой трагедией. Но лишь тот, кто прочитал и прочувствовал «Макбета», сможет полностью понять Марию Стюарт тех холирудских дней, невыразимые муки сильной души, которой самое дерзновенное ее деяние оказалось не под силу.

Но что особенно поражает нас в обеих трагедиях, как вымышленной, так и реально пережитой, это полная аналогия в том, как меняются под влиянием содеянного обе героини – Мария Стюарт и леди Макбет. Леди Макбет вначале – преданная, пылкая, энергичная натура, с сильной волей и пламенным честолюбий, ем. Она грезит о величии своего супруга, и эта строка из памятного сонета Марии Стюарт могла быть написана ее рукой: «Pour luy je veux rechercher la grandeur…»

Основной стимул преступления – в ее честолюбии, и она действует хитро и решительно, пока дело – лишь тень ее желания, лишь замысел и план, пока алая горячая кровь не обагрила ей руки, не запятнала душу. Льстивыми речами, как и Мария Стюарт, завлекшая Дарнлея в Керк о'Филд, зазывает она Дункана в опочивальню, где его ждет отточенный клинок. Но сразу же после содеянного она уже другая, ее силы исчерпаны, мужество сломлено. Огнем сжигает совесть ее живую плоть, с остановившимся взором, безумная, бродит она по замку, внушая

друзьям ужас, а себе – отвращение. Неутолимая жажда разъедает ее измученный мозг – жажда все забыть, ни о чем не думать, ничего не знать, жажда небытия. Но такова же и Мария Стюарт после убийства Дарнлея. С ней происходит перемена, внезапное превращение, даже черты ее лица так несхожи с прежними, что Друри, соглядатай Елизаветы, доносит в Лондон: «Никогда еще не было видно, чтобы за такой короткий срок и не будучи больной женщина так изменилась внешне, как изменилась королева». Ничто больше не напоминает в ней ту жизнерадостную, разумную, общительную, уверенную в себе женщину, какой все знали ее лишь за несколько недель. Она уединяется, прячется, замыкается в себе. Быть может, подобно Макбету и леди Макбет, она все еще надеется, что мир промолчит, если молчать будет она, и что черная волна милосердно пронесется над ее головой. Но по мере того, как все настойчивее звучат голоса и требуют ответа; по мере того, как ночами на улицах Эдинбурга, под самыми ее окнами, все громче выкликают имена убийц; по мере того, как Ленокс, отец убитого, ее недруг Елизавета, ее друг Битон, как весь мир восстает против нее, требуя суда и справедливости, – рассудок ее мутится. Она знает: нужно что-то сделать, чтоб скрыть содеянное, оправдаться. Но не находит сил для убедительного ответа, не находит умного Обманного слова. Точно в глубоком гипнотическом сне, Слышит она голоса из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, они обращаются к ней, увещают, остерегают, но Она не в силах воспрянуть, она слышит эти зовы, лишь рак заживо погребенный слышит шаги идущих по земле, – бессильно, беспомощно, из глубины отчаяния. Она знает: надо разыграть безутешную вдову, отчаявшуюся супругу, надо исступленно рыдать и вопить, чтобы мир поверил ее невиновности. Но в горле у нее пересохло, она не в силах заговорить, не в силах больше притворяться. Неделя тянется за неделей, и наконец она чувствует: больше ей этого не вынести. Подобно тому, как загнанная лань с мужеством отчаяния поворачивается и бросается на преследователей, подобно тому, как Макбет, стремясь защитить себя, громоздит все новые убийства на убийства, взывающие о мщении, так и Мария Стюарт вырывается наконец из сковавшего ее оцепенения. Ей уже все равно, что подумает мир, все равно – разумно или безрассудно она поступает. Лишь бы не эта онемелость, лишь бы что-то делать, двигаться все вперед и вперед, все быстрей и быстрей, бежать от этих голосов, убеждающих и угрожающих. Лишь бы вперед и вперед, не задерживаться на месте и не думать, а то как бы не пришлось сознаться себе самой, что никакая мудрость ее уже не спасет. Одна из тайн нашей, души заключена в том, что на

короткий срок быстрое движение заглушает в нас страх; словно возница, который, слыша, что мост под ним гнется и трещит, все шибче нахлестывает лошадей, ибо знает, что лишь сумасшедшая езда может его спасти, так и Мария Стюарт во всю мочь гонит вороного коня своей судьбы, чтобы задавить последние сомнения, растоптать любое прекословие. Только бы не думать, только бы не знать, не видеть – все дальше и дальше в дебри безумия! Лучше страшный конец, чем бесконечный страх! Таков непреложный закон: как камень падает тем быстрее, чем глубже скатывается в бездну, так и заблудшая душа без памяти торопится вперед, зная, что кругом безысходность.

Ни один из поступков Марии Стюарт в недели, следующие за убийством, не поддается объяснению доводами разума, а единственно лишь душевным затмением на почве безмерного страха. Даже в своем неистовстве не могла она не понимать, что честь ее навеки загублена и утрачена, что вся Шотландия, вся Европа увидит в браке, заключенном спустя лишь несколько недель после убийства, да еще с убийцею ее супруга, надругательство над законом и добрыми нравами. Достаточно было бы любовникам затаиться и выждать год-другой, и все эти обстоятельства, возможно, позабылись бы. При искусной дипломатической подготовке можно было бы тысячу объяснений придумать, почему именно Босуэла избрала она в супруги. И только одно неизбежно грозило столкнуть Марию Стюарт в бездну гибели – решись она кощунственно нарушить траур и бросить вызов всему миру, с преступной торопливостью возложив корону убитого на голову убийцы. Но именно к этому стремится Мария Стюарт в своем постыдном нетерпении.

Для столь необъяснимого поведения обычно разумной и тактичной женщины существует одно лишь объяснение: у Марии Стюарт нет выхода. По-видимому, ей нельзя ждать, что-то мешает ей ждать, так как всякое ожидание, всякая проволочка грозит разоблачить перед миром то, чего ни одна душа еще не подозревает. И нет иного объяснения для такого безоглядного бегства в брак с Босуэлом, как то – последующие события подтвердят эту догадку, – что несчастная уже знала о своей беременности. Но ведь не сына Генри Дарнлея, не королевского отпрыска носит она под сердцем, а плод запретной преступной любви. Однако королеве Шотландской не подобает произвести на свет внебрачного младенца, да еще при обстоятельствах, что огненными письменами вещают на всех стенах о ее вине или соучастии. Ибо с непреложной ясностью вышло бы наружу, каким забавам предавалась она со своим возлюбленным в дни траура;

ведь каждый может сосчитать, вступила ли Мария Стюарт – и то и другое одинаково зазорно! – в предосудительную связь с Босуэлом до убийства Дарнлея или сразу же после него. Только поторопившись узаконить рождение ребенка, может она спасти его честь, а отчасти и собственную. Ведь если его появление на свет застанет ее супругой Босуэла, слишком ранние роды не так бросятся в глаза, да и рядом будет человек, который даст ребенку свое имя и отстоит его права. А потому каждый месяц, каждая неделя проволочки – непоправимо упущенное время. Быть может, ей кажется – ужасная альтернатива! – что чудовищное решение взять в мужья убийцу своего мужа все же менее позорно, чем родить внебрачного ребенка и этим открыто признать свой грех. Только допустив как некую вероятность такое неумолимое вмешательство природы, ее элементарных законов, можно как-то понять противоестественное поведение Марии Стюарт в течение этих недель – все прочие домыслы искусственны и лишь затемняют картину ее душевного состояния. Только приняв в соображение этот страх – страх, который миллионы женщин всех времен узнали на собственном опыте, который и самых честных и смелых не раз приводил к превратным и преступным решениям, – мучительный страх перед тем, как бы непрошеная беременность не раскрыла тайны, – можно уяснить себе, что заставляло потрясенную женщину так торопиться. Только это, единственно это соображение придает какой-то смысл бессмысленной спешке, одновременно открывая взгляду всю глубину трагедии этой несчастной.

Страшная, убийственная ситуация, сам дьявол не выдумал бы более ужасной. Время не ждет, время, поскольку королева знает, что беременна, вынуждает ее торопиться, а с другой стороны, именно торопливость навлекает на нее подозрение. Как королева Шотландии, как вдова, как женщина, дорожащая своей честью и доброй славой и знающая, что вся страна, весь европейский мир глаз с нее не сводят, Мария Стюарт и думать не должна о супруге с такой сомнительной, ужасной репутацией, как у Босуэла. Но беспомощная женщина, попавшая в безвыходное положение, она в нем одном видит спасителя. Она и не должна выходить за него замуж и должна непременно. А чтобы мир не угадал истинной причины ее поступка, надо было изобрести другую, от нее не зависящую причину в объяснение этой безумной горячки. Надо было изобрести такой предлог, который сообщил бы смысл немыслимому с точки зрения морали и закона поступку, – предлог, который бы сделал брак Марии Стюарт печальной необходимостью.

Однако что может заставить королеву заключить столь

неравный брак, снизойти до человека столь скромного ранга? Кодекс чести того времени лишь в одном случае допускал такую уступку: если женщина насильственно обесчещена, виновник обязан был женитьбою восстановить ее честь. Только как оскорбленная женщина могла бы Мария Стюарт, с некоторым правом отважиться на этот союз, только тогда можно было бы внушить народу, что она подчинилась неизбежности.

Единственно лишь безысходное отчаяние могло породить такой фантастический план. Только полнейший сумбур в голове мог привести к такому сумбурному решению. Даже Мария Стюарт, столь отважная и решительная в критические минуты, отступает в ужасе, когда Босуэл предлагает ей разыграть этот трагический фарс. «Лучше мне умереть, я чувствую, все кончится ужасно», – пишет эта мученица. Но что бы ни говорили о Босуэле моралисты, он верен себе в своей великолепной отваге отчаянного сорвиголовы. То, что ему предстоит разыграть перед всей Европой роль отпетого негодяя, насильника, посягнувшего на честь своей королевы, разбойника с большой дороги, цинично презирающего добропорядочность и закон, нимало его не смущает. Да хоть бы перед ним распахнулись врата ада, не такой он человек, чтобы остановиться на полдороге, когда на карту поставлена корона! Нет опасности, перед которой он отступил бы, – невольно вспомнишь Моцартова Дон Жуана, его дерзновенную выходку, когда он приглашает каменного командора откушать с ним. Рядом с Босуэлом трясется Лепорелло – его шурин Хантлей, согласившийся за взятку в виде кое-каких церковных владений благословить развод Босуэла со своей сестрой. При мысли о столь рискованной комедии душа у трусоватого рыцаря уходит в пятки, и он бросается к королеве, пытаясь ее отговорить. Но Босуэла не тревожит отпадение еще одного союзника, после того как он бросил вызов всему миру; не пугает его и то, что план увоза, по-видимому, кем-то выдан – соглядатай Елизаветы доносит о нем в Лондон накануне назначенного срока; ему безразлично, будет похищение принято за чистую монету или нет, лишь бы оно привело его к цели – стать королем. Он делает все, что ни вздумает, не боится ничего на свете, и у него еще хватает силы увлечь за собой свою противящуюся жертву.

Ибо, как опять-таки показывают письма из ларца, судорожно восстает какое-то внутреннее чутье Марии Стюарт против железной воли ее господина. Явственно говорит ей предчувствие, что напрасен и этот новый обман, что им не удастся никого обмануть, кроме самих себя. Но, послушная раба, она и на этот раз безропотно подчиняется Босуэлу. Так же покорно, как недавно

она помогала ему увезти Дарнлея из Глазго, так и теперь с тяжелым сердцем помогает она «увезти» самое себя, и вся комедия согласованного «похищения» разыгрывается как по нотам.

Двадцать первого апреля, спустя несколько дней после вынужденного оправдания Босуэла на суде дворян и «награждения» его парламентом, – двадцать первого апреля, еще и двух суток не прошло, как Босуэл в харчевне Эйнслея выманил у лордов согласие на свой брак с королевой, и ровно девять лет минуло, как она полуребенком была обвенчана с французским дофином, – Мария Стюарт, доселе не слишком заботливая мамаша, вдруг изъявляет горячее желание проведать своего сыночка в замке Стирлинг. Недоверчиво встречает ее граф Мар, официальный опекун наследника, – до него, видимо, дошли темные слухи. Только в присутствии других женщин дозволено Марии Стюарт встретиться с сыном – верно, лорды страшатся, как бы она не завладела младенцем и не выдала его Босуэлу: всем уже ясно, что эта женщина готова выполнить любое, хотя бы и преступное, приказание своего тирана. В сопровождении нескольких всадников, в том числе Мэйтленда и Хантлея, конечно, во все посвященных, возвращается королева в Эдинбург. Но в шести милях от города из засады выскакивает большой конный отряд во главе с Босуэлом и «нападает» на королевский кортеж. Дело, разумеется, обходится миром: «во избежание кровопролития» Мария Стюарт запрещает своим спутникам оказать сопротивление. Достаточно Босуэлу схватить за повод ее коня, как королева добровольно «сдается в плен» – позволяет увезти себя в сладостное заточение в замке Данбар. Какому-то переусердствовавшему капитану, который, собрав подмогу, разлетелся было освободить ее, дают понять, что в его услугах не нуждаются, а взятых в плен Мэйтленда и Хантлея наилюбезнейшим образом отпускают по домам. Никто не пострадал, все с миром отправляются восвояси, и только королева остается в плену у возлюбленного «насильника». Больше недели «жертва» делит ложе похитителя, а между тем в Эдинбурге с величайшей поспешностью и не щадя затрат обстряпывают дело о разводе Босуэла с его законной супругой – сначала в протестантском суде под весьма шатким предлогом, будто Босуэл нарушил супружескую верность, согрешив со служанкою, а затем и в католическом – судьи с запозданием спохватились, что Босуэл состоит со своей женой Джейн Гордон в каком-то отдаленном родстве. Но вот благополучно завершена и эта темная сделка. Пришло время объявить миру, что Босуэл, как дерзкий разбойник с большой дороги, напал на бедную королеву

и в своей необузданной похоти надругался над ней, и теперь только брак с человеком, овладевшим ею против воли, может восстановить поруганную честь королевы Шотландской.

Однако «похищение» сработано чересчур уж топорно: никто всерьез не верит, что над королевой Шотландской «учинено насилие», и даже испанский посланник, наиболее из всех благожелательный, доносит в Мадрид, что все это чистейшая уловка.

Но как ни странно, именно те, кому обман особенно ясен, притворяются, будто они убеждены в факте насилия. Лорды, тем временем подписавшие новый «бонд» на предмет полного свержения Босуэла, отваживаются почти на остроумную каверзу: они принимают версию о похищении королевы со всей подобающей серьезностью. Внезапно преисполнясь трогательной верности, они заявляют с великим возмущением, что государыня их страны «насильственно содержится в заточении, сие же есть величайшее надругательство над честью Шотландии». С необычным единомыслием договариваются они вырвать беззащитную овечку из пасти злого волка Босуэла. Наконец-то они обрели желанный повод напасть на грозного диктатора из-за угла под флагом ультрапатриотизма. Наспех сговариваются они «избавить» Марию Стюарт от Босуэла и этим помешать свадьбе, которую сами еще неделю назад поощряли.

Разумеется, для Марии Стюарт не может быть худшей услуги, чем это внезапное и назойливое попечение лордов, вознамерившихся вырвать ее из когтей «насильника». Тем самым у нее выбиты из рук карты, которые она смешала с таким хитрым расчетом. И так как она отнюдь не хочет быть «избавленной» от Босуэла, а, наоборот, хочет навек с ним соединиться, то ей приходится по возможности свести на нет выдумку, будто он ее обесчестил. Если еще вчера она усиленно чернила Босуэла, то сегодня не знает, как его обелить. Весь фарс теряет, таким образом, всякий смысл. Чтобы уберечь своего обольстителя от суда и расправы, она выгораживает его со всеми увертками заправского адвоката. «Поначалу с ней, правда, обошлись несколько странно, зато уж потом – как нельзя лучше, и у нее нет оснований жаловаться». А так как не было рядом никого, кто бы мог прийти ей на помощь, то она «была вынуждена умерить свое первоначальное неудовольствие и здраво поразмыслить над сделанным предложением». Все постыднее становится положение женщины, запутавшейся в дебрях страсти. Последняя прикрывавшая ее пелена стыдливости разодрана в клочья, и, вырвавшись из чащи, стоит она обнаженная перед насмешкою

всего мира.

Глубокое замешательство охватывает друзей Марии Стюарт, когда в первых числах мая они встречают свою высокочтимую королеву при ее возвращении в Эдинбург: Босуэл ведет коня под уздцы, а его солдаты в знак того, что она следует за ним по доброй воле, бросают свои копья наземь. Напрасно пытаются истинные доброжелатели Марии Стюарт и Шотландии предостеречь ослепленную. Французский посланник Дю Крок заявляет ей, что брак с Босуэлом – это конец дружбы с Францией; один из ее верных, лорд Херрис, бросается к ее ногам, а испытанному Мелвилу, который еще в последнюю минуту старается помешать этому браку, приходится бежать от гнева Босуэла. С сокрушенным Сердцем взирают они на то, как эта отважная, независимая женщина отдается на волю оголтелого авантюриста, и с тревогой предвидят, что в сумасбродном нетерпении соединиться с убийцей своего мужа она неминуемо утратит престол и честь. Зато враги ее торжествуют. Сбылись во всем своем страшном значении мрачные пророчества Джона Нокса. Его преемник Джон Крэг отказывается вывесить в храме греховное оглашение; не обинуясь, называет он этот брак «odious and slanderous before the world»[*] и только тогда вступает в переговоры, когда Босуэл грозится отправить его на виселицу. Марии Стюарт приходится все ниже и ниже клонить голову. Теперь, когда все знают, как она спешит со свадьбой, каждый бесстыдный вымогатель старается сорвать с нее побольше. Хантлей за хлопоты о разводе Босуэла получает доставшиеся короне церковные земли; католического епископа умасливают высокими титулами и назначениями; но самую тяжкую мзду налагает на нее протестантское духовенство. Суровым судьей, а не подданным выступает перед королевою и Босуэлом пастор, требующий от нее публичного самоуничижения; пусть – она, католическая государыня, племянница Гизов, обвенчается и по реформатскому, еретическому, чину. Решившись на эту позорную уступку, Мария Стюарт теряет последнюю опору, единственный козырь, какой у нее оставался: лишается поддержки католической Европы, утрачивает благоволение папы, симпатии Испании и Франции. Теперь она одна против всех. Сбылись слова одного из ее сонетов:

Pour luy depuis j’ay mesprise l’honneur,
Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour luy j’ay hazardé grandeur & conscience,
Pour luy tous mes parents j’ay quitte & amis.

Я для него забыла честь мою –
Единственное счастье нашей жизни,
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него покинула семью,
Презренной стала в собственной отчизне.

Но нет средства помочь тому, кто сам себя отдал на заклание: бессмысленных жертв не приемлют боги.

История не помнит за многие столетия такой трагической свадьбы, как та, что имела место 15 мая 1567 года: все унижение Марии Стюарт, как в зеркале, отразилось в этой мрачной картине. Первый ее брак с французским дофином был заключен среди бела дня; то был день блистательного торжества. Десятки тысяч зрителей приветствовали юную королеву, вся знать стеклась из городов и весей; послы всех государств прибыли полюбоваться на то, как окруженная королевской фамилией и цветом рыцарства дофина торжественно шествует в Нотр-Дам. Мимо ликующих трибун, мимо восторженно машущих окон проследовала она в пышной процессии, и весь народ благоговейно и радостно взирал на нее. Уже вторая свадьба была куда скромнее. Не среди бела дня, а в сумерках рассвета, в шесть часов утра, соединил ее священник с правнуком Генриха VII. Однако же на торжество явилась вся знать, присутствовали послы, целые дни напролет шло пирование, Эдинбург веселился напропалую. Эта же, третья свадьба – с Босуэлом (его еще второпях жалуют титулом герцога Оркнейского) – совершается тайком, словно преступление. В четыре часа утра – город еще спит, ночь нависла над крышами – несколько робких фигур незаметно прокрадываются в замковую часовню, ту самую – не прошло еще и трех месяцев, и королева еще не сняла свой траурный наряд, – где отпевали ее убитого супруга. Пусто на сей раз в часовне. Приглашено много гостей, но явилось оскорбительно мало, никому не хочется быть свидетелем того, как королева Шотландии наденет кольцо на руку, злодейски прикончившую Генри Дарнлея. Почти никто из лордов королевства не счел нужным прийти и даже не удосужился извиниться, Меррей и Ленокс покинули страну, Мэйтленд и Хантлей – даже эти полуверные держатся поодаль, а единственный человек, которому она, истовая католичка, поверяла до сих пор свои тайные мысли, ее духовник, навсегда ее покинул: печально возвещает страж ее совести, что отныне считает ее своей утерянной овечкой. Ни один человек, дорожащий честью, не хочет видеть, как убийца Дарнлея берет в

супружество жену убиенного и как служитель божий благословляет кощунственный союз. Напрасно умоляет Мария Стюарт французского посланника быть на свадьбе, чтобы придать торжеству хотя бы видимость блеска. Всегда столь обязательный друг, он наотрез отказывается прийти. Ведь его присутствие могут истолковать как соизволение Франции. «Еще подумают, – возражает он в свое оправдание, – что мой король как-то в этом замешан»; к тому же он не хочет признать в Босуэле супруга Марии Стюарт. Священник не служит обедни, молчит орган, обряд совершается с неприличной поспешностью. Ввечеру слуги не осветили свечами зал, готовя его к танцам, не снарядили пиршественных столов. Никто с криками «Largesse, largesse!»[*] не швырял денег в народ, как это было на ее предыдущей свадьбе; холодная, пустая и сумрачная часовня напоминает гроб; угрюмо, словно плакальщики на похоронах, выстроились свидетели странного празднества. Свадебный кортеж не шествует через весь город по ликующим улицам; издрогнув в пустынной часовне, удаляются новобрачные во внутренние покои и прячутся за крепкие затворы.

Именно теперь, когда она у цели, к которой неслась, бросив поводья, не разбирая дороги, именно теперь в душе у Марии Стюарт происходит какой-то надлом. Исступленная ее мечта завладеть Босуэлом и удержать его – сбылась; лихорадочно ждала она, вперив глаза в одну точку, желанного часа соединения в обманчивой надежде, что его близость, его любовь победят страх. Но теперь, когда ее воспаленный взор не устремлен к одной цели, глаза ее прозревают; она оглядывается и видит вокруг себя пустоту, ничто. Даже между ним, безрассудно любимым, и ею сразу же после женитьбы пошли нелады: всегда, когда двое вовлекают друг друга в гибель, начинаются упреки и взаимные обвинения. Уже в трагический день свадьбы французский посол находит королеву, обезумевшую, убитую горем. Еще не спустился вечер, а между супругами уже пролегла холодная тень. «Началось похмелье, – сообщает Дю Крок в Париж. – Когда в четверг Ее Величество прислала за мной, я сразу почувствовал, что между ними не все ладно. Чтобы отвести мне глаза, она сказала: если я нахожу ее печальной, то лишь потому, что она ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Вчера из-за запертой двери, где они были одни с графом Босуэлом, вдруг раздались ее крики; пусть ей дадут нож, она хочет покончить с собой. Люди в соседней комнате, слышавшие эти вопли, выражали опасения, как бы она чего над собой не сотворила, – один только бог в силах ей помочь». Ходят все новые слухи о раздорах между супругами. Босуэл, очевидно, смотрит на развод со своей юной красавицей

женой как на пустую формальность и все ночи проводит с ней, а не с Марией Стюарт. «Со дня злополучной свадьбы, – сообщает посол в Париж несколько позднее, – Мария Стюарт не перестает стенать и лить слезы». Итак, не успела ослепленная женщина достигнуть того, чего так пламенно добивалась, как она уже знает, что все для нее потеряно и что даже смерть была бы избавлением от той пытки, на которую она себя обрекла.

Три недели длится тот горький медовый месяц – три недели неизбывного страха и агонии. Все старания новобрачных как-нибудь удержаться, спастись идут прахом, Босуэл на людях сугубо почтителен и нежен с королевой, он – сама преданность и уважение, но никакие слова и позы уже ничего не могут изменить; в сумрачном молчании взирает город на преступную чету. Тщетно старается диктатор снискать любовь народа: он разыгрывает простодушного, доброго, благочестивого правителя; он посещает проповеди реформатских священников, однако протестантское духовенство держится так же враждебно, как и католическое. Он пишет смиренные письма Елизавете – она не внемлет. Он обращается в Париж – его не замечают. Мария Стюарт зовет своих лордов – те шагу не делают из Стирлинга. Она требует, чтобы ей вернули сына, – никакого ответа. Все затаилось, все зловеще немотствует вокруг обреченной пары. Босуэл для поднятия духа еще устраивает напоследок маскарад и водные игрища; он сам участвует в них, и королева с трибуны улыбается ему бледной улыбкой. В зеваках, как всегда, недостатка нет, но ликования не слышно. Какое-то оцепенение страха, какая-то мертвая неподвижность объяла страну, одно неосторожное движение – и грянет буря возмущения и гнева.

Однако Босуэл не из тех, кто обольщается сентиментальными иллюзиями. Опытный моряк, он чувствует в этой зловещей тишине предвестие бури. Как всегда решительный, он берется за приготовления. Он знает: в закладе его голова, и последнее слово в близком споре скажет оружие. Лихорадочно набирает он отовсюду конных и пеших ратников, чтобы достойно встретить нападение. С готовностью жертвует Мария Стюарт для его наемников все, чем она еще может пожертвовать: продает драгоценности, занимает где только можно и даже – позор для шотландской, оскорбление для английской королевы – отдает перелить недавно привезенную золотую купель – дар Елизаветы крестнику, – чтобы получить лишний десяток золотых монет и хоть немного продлить агонию. Но от молчания лордов все больше веет грозой, свинцовые тучи обложили королевский замок, вот-вот ударит молния. Босуэлу слишком знакомо

коварство его сотоварищей, чтобы доверять этому спокойствию; он знает: на него готовится вероломное нападение. И чем ждать приступа в незащищенном Холируде, он седьмого июня, без малого три недели спустя после бракосочетания, бежит в неприступную Бортуикскую крепость, поближе к своим верным. Туда же созывает Мария Стюарт на двенадцатое июня, очевидно, в последней попытке обратиться к народу, своих subjects, noblemen, knights, esquires, gentlemen and yeomen[*], предлагая им явиться в полном вооружении, с шестидневным запасом довольствия; видимо, Босуэл замыслил молниеносным ударом разбить всю шайку своих врагов, прежде чем они соберутся с силами.

Но как раз это бегство из Холируда и придает лордам храбрости. С великой поспешностью подступают они к Эдинбургу и захватывают его, не встречая сопротивления. Подручный Босуэла, убийца Джеймс Балфур, торопясь отречься от своего сообщника, сдает врагу неприступный замок. Обеспечив себе таким образом тыл, две-три тысячи всадников могут спокойно ударить на Бортуик, чтобы захватить Босуэла еще до того, как он приведет войско в боевую готовность. Но Босуэл не дает взять себя голыми руками. Не долго думая, выскакивает он в окно и очертя голову мчится прочь, оставив королеву одну в Бортуикском замке. Лорды все еще не отваживаются обнажить оружие против своей монархини и только уговаривают ее порвать с ее погубителем Босуэлом. Однако злосчастная женщина по-прежнему телом и душой предана своему тирану; ночью, переодетая в мужское платье, она смело садится в седло и одна, без провожатых, кинув все на произвол судьбы, скачет в Данбар, чтобы с ним жить или умереть.

Некий многозначительный сигнал должен был бы подсказать королеве, что дело ее безнадежно потеряно. В день их бегства в Бортуикский замок внезапно исчезает «without leave-taking»[*] ее последний советник Мэйтленд Летингтонский, единственный, кто и в дни ослепления Марии Стюарт относился к ней с известной благожелательностью. Сравнительно большой отрезок рокового пути пройден Мэйтлендом вместе с его госпожой; быть может, никто так усердно, как он, не помогал сплести удавку для Дарнлея. Но теперь и он учуял задувший противный ветер и, как истый дипломат, всегда поворачивающий свой парус в сторону сильнейшего, а не бессильного, не хочет больше отстаивать безнадежное дело. Воспользовавшись суетой при переезде в Бортуик, он поворачивает коня и, незаметно отстав от королевского поезда, направляется в стан лордов. Последняя

крыса бежит с тонущего корабля.

Но ничто уже не может испугать или остеречь неисправимую Марию Стюарт. Опасность, как всегда, лишь разжигает в этой изумительной женщине неукротимую отвагу, которая и самым сумасбродным ее выходкам сообщает какое-то романтическое очарование. Прискакав в Данбар в мужском платье, она не находит здесь ни королевского убора, ни лат, ни оружия. Неважно! Что ей теперь жеманство и придворный этикет! На войне как на войне! И Мария Стюарт, не задумываясь, занимает у бедной женщины одежду, какую носит простонародье: короткую клетчатую юбку – kilt, красную блузу и бархатную шляпу; пусть у нее в этом одеянии неподобающий, не королевский вид – только бы скакать бок о бок с тем, кто для нее весь мир, с тех пор как она всего лишилась. Босуэл второпях строит свое разношерстное войско. Никто из рыцарей, дворян и лордов не явился на зов, страна уже не повинуется своей королеве, и только двести наемных аркебузиров в качестве ударного отряда движутся на Эдинбург, а за ними тянется плохо вооруженная орда пограничных крестьян и горцев – в общем, человек тысяча с небольшим. Единственно неколебимая воля Босуэла, стремящегося опередить лордов, гонит их вперед. Босуэл знает; лишь безрассудная храбрость способна иной раз спасти то, что кажется рассудку полной безысходностью.

У Карберри-хилла, в шести милях от Эдинбурга, сходятся два полчища (полками их не назовешь). Численное превосходство на стороне королевского войска. Но ни один из лордов, ни один из этих великолепно снаряженных благородных всадников не становится под вызывающе развернутое знамя с королевским львом; кроме наемных аркебузиров, за Босуэлом следуют лишь кое-как вооруженные и не слишком воинственно настроенные люди его клана. А напротив, на расстоянии не более полумили, так близко, что Мария Стюарт различает знакомые лица своих противников, сверкающими шеренгами на чудо-конях выстроились воинственные лорды, радуясь предстоящему делу. Под странным они собрались знаменем, водрузив его как раз насупротив королевского штандарта. На белом поле, распростертое под деревом, лежит тело убитого. Рядом на коленях дитя, плача, простирает ручонки к небу со словами: «Господи, к тебе взываю о суде и мести!» Тем самым лорды, еще недавно наущавшие Босуэла расправиться с Дарнлеем, хотят представить себя благородными мстителями, а также дать понять, что только против убийцы Дарнлея выступили они вооружась, а отнюдь не восстали против своей королевы.

Ярко и многоцветно полощутся на ветру оба знамени. Но ни там, ни здесь не чувствуется настоящего подъема. Ни одно из полчищ не делает попыток перейти в наступление через разделяющий их ручей; и те и другие будто чего-то ждут и только издали наблюдают друг за другом. Собранное впопыхах мужичье Босуэла не выказывает большого желания лечь костьми за дело, ему чуждое и темное. Лорды все еще скованы нерешительностью. Не так это просто – с копьем и мечом открыто ударить на свою законную государыню. Одно дело – состряпать добрый заговор и убрать неугодного короля, ибо всегда найдутся два-три бедняка, которых можно будет потом вздернуть, а самим торжественно умыть руки; подобные темные махинации никогда не тревожили совести лордов; но с поднятым забралом, средь бела дня ринуться на свою монархиню – слишком это противоречило идее феодальной верности, все еще нерушимо владевшей умами.

От французского посланника Дю Крока – он появляется на поле брани в качестве нейтрального наблюдателя – не укрылось настроение обоих станов: не теряя времени, предлагает он повести переговоры. В лагере лордов выкидывают парламентерский флаг, и, радуясь лучезарному летнему дню, оба полчища располагаются бивуаком, каждое по свою сторону ручья. Всадники спешиваются, ратники сбрасывают с себя тяжелые доспехи, и все с удовольствием закусывают, а между тем Дю Крок с небольшим конным эскортом переправляется через ручей и поднимается на холм – в ставку королевы.

Поистине невиданная аудиенция! Королева, никогда не принимавшая французского посла иначе как в драгоценной робе, под тронным балдахином, сидит на камне в пестром «килте», короткая юбчонка не прикрывает колен. Но достоинство и неукротимая гордость у нее те же, что и в придворном наряде. Возбужденная, бледная, невыспавшаяся, она дает волю своему гневу. Словно чувствуя себя по-прежнему повелительницей страны, госпожой положения, она требует, чтобы лорды беспрекословно ей покорились. Сами же они вынесли Босуэлу оправдательный приговор, зачем же теперь обвиняют его в убийстве? Сами настаивали на этом браке, а ныне объявляют его преступным! Негодование Марии Стюарт законно, но не время ссылаться на закон, когда поднят меч войны. Пока посол ведет переговоры, подъезжает Босуэл. Посол приветствует его, однако руки не подает. Слово берет Босуэл. Он говорит ясно, без колебаний, в его смелом, открытом взоре ни тени страха; даже Дю Крок вынужден отдать должное безупречной выдержке этого головореза. «Признаться, – пишет он в своем сообщении, – он показался мне настоящим полководцем, так как говорил со мной

с полным сознанием своего достоинства, как искусный и смелый воитель, умеющий вести полки в бой. Я не мог не восхищаться им, ибо он видел, что его противники настроены решительно, сам же он едва ли мог рассчитывать и на половину своих людей. И все же он непоколебим». Босуэл предлагает решить дело поединком с любым из лордов равного ему ранга. Его дело правое, бог, конечно, не оставит его. Даже в столь отчаянном положении сохраняет он свой обычный задор, предлагая Дю Кроку наблюдать поединок с одного из холмов: увлекательное будет зрелище! Но королева и слышать не хочет о поединке. Она все еще надеется, что лорды придут к ней с повинной, – неисправимый романтик, она, как всегда, лишена чувства действительности. Вскоре Дю Кроку становится ясна бесполезность его миссии; старый вельможа видит слезы на глазах у Марии Стюарт, он и рад бы ей помочь, но, пока она не откажется от Босуэла, ей нет спасения, а она не желает от него отказаться. Итак, до свидания! Откланявшись с отменной любезностью, он неспешно возвращается в стан лордов.

Время слов миновало, пора дать бой. Но солдаты мудрее своих полководцев. Они видят, что господа чинно беседуют, зачем же им, бедным горемыкам, убивать друг друга в такой погожий летний день? Все разбрелись кто куда; напрасно Мария Стюарт командует в атаку, видя в том единственное спасение, – люди больше ей не повинуются. Вся эта орда с бору да с сосенки, уже шесть-семь часов пребывающая в праздности, постепенно рассыпается, и как только лорды замечают это, они посылают двести человек всадников отрезать Босуэлу и королеве отступление. Только теперь понимает Мария Стюарт, что им грозит, и, как истинно любящая женщина, думает не о себе, а только о своем возлюбленном Босуэле. Она знает: ни у одного из ее подданных не поднимется рука на нее, зато его они не пощадят, хотя бы уж затем, чтобы он не рассказал чего лишнего, что им, запоздалым мстителям за смерть Дарнлея, может прийтись не по вкусу. Впервые за все эти годы ломает она свою гордость. Она посылает в лагерь лордов парламентера с белым флагом просить начальника конного отряда Керколди Грейнджского, чтобы он прибыл к ней один, без провожатых.

Священный приказ королевского величества еще исполнен магической, чудодейственной силы. Керколди Грейнджский останавливает своих всадников. Один, он переправляется на ту сторону и, прежде чем сказать что-либо, верноподданнически преклоняет колено. Он ставит последнее условие: пусть королева откажется от Босуэла и вместе с ними вернется в Эдинбург. Тогда Босуэла не станут преследовать – скатертью дорога!

Босуэл – изумительная сцена, изумительный актер! – стоит в молчании. Ни слова не говорит он Керколди, ни слова королеве, чтобы не повлиять на ее решение. Чувствуется, что он готов и один скакать навстречу двумстам всадникам, которые, стоя у подошвы холма и не выпуская поводьев из рук, только и ждут сигнала Керколди, его поднятого меча, чтобы ринуться на неприятельские линии. И лишь услышав, что королева дала согласие на предложение Керколди, Босуэл подходит и обнимает ее – в последний раз, но они еще этого не знают. Затем садится на коня и стремительно скачет прочь, сопровождаемый двумя слугами. Горячечный сон кончился. Наступает окончательное, жестокое пробуждение.

Страшное, беспощадное пробуждение! Лорды обещали Марии Стюарт отвезти ее в Эдинбург с подобающими почестями, и таково было, по-видимому, их первоначальное намерение. Но едва униженная женщина в своей жалкой, запыленной одежде приближается к толпе наемников, как огненной змейкой вспыхивает насмешка. Пока железный кулак Босуэла защищал королеву, народный гнев не смел ее коснуться. Но теперь она беззащитна, и ненависть дерзко и бесцеремонно поднимает голову. Королева, сдавшаяся на капитуляцию, не внушает уважения мятежным солдатам. Все сильнее напирают они, сначала движимые любопытством, а затем и возмущением. «На костер шлюху!», «В огонь мужеубийцу!..» – раздаются исступленные крики. Тщетно Керколди колошматит их мечом: едва рассеявшись, озлобленные толпы собираются с новым ожесточением, и вот уж они, будто в триумфальном шествии, выступают впереди своей, пленницы, неся в руках знамя с изображением убитого супруга и молящего о мести дитяти. Так с шести до десяти вечера, от Лангсайда до Эдинбурга, гонят они ее сквозь строй. Из каждого дома, из окружных деревень прибывают все новые охотники посмотреть небывалое зрелище – полоненную королеву, и порой натиск любопытствующих так велик, что они прорывают цепи охраны и солдаты вынуждены прокладывать себе дорогу в толпе; ни разу не изведала Мария Стюарт такого унижения, как в тот памятный день.

Однако эту гордую женщину можно унизить, но нельзя согнуть. Как рана начинает гореть лишь тогда, когда ее загрязнят, так Мария Стюарт чувствует свое унижение, лишь когда оно сдобрено насмешкой. Ее горячая кровь – кровь Стюартов, кровь Гизов – вскипает, и вместо того, чтобы мудро притвориться равнодушной, она вымещает свою обиду на лордах, призывая их к ответу за народную хулу. Словно разъяренная львица, набрасывается она на них, грозя, что прикажет их вздернуть,

распять; схватив за руку лорда Линдсея, едущего рядом, она грозится: «Клянусь этой рукой, не сносить тебе головы!» Как всегда в минуты опасности, ее раздразненная отвага переходит в безумие. Открыто изливает она на лордов свою ненависть, свое презрение, вместо того чтобы мудро промолчать или трусливо заискивать в них.

Быть может, именно ее озлобление вызывает ответное озлобление лордов, быть может, их первоначальные намерения и не заходили так далеко. Ибо теперь, увидев, что им нечего надеяться на прощение, они делают все, чтобы эта строптивица почувствовала свою беззащитность. Вместо того чтобы доставить королеву в Холирудский замок за стенами города, ее везут – и путь ее лежит через Керк о'Филд, достопамятное место злодеяния, – по главной городской улице, наводненной толпами зевак. Здесь, на Хай-стрит, ее приводят в дом профоса, словно затем, чтобы выставить к позорному столбу. Доступ туда закрыт, ни одна из ее дам или служанок не может к ней проникнуть. И вот начинается ночь безысходного отчаяния. Королева уже много дней не раздевалась, с самого утра у нее маковой росинки во рту не было; то, что эта женщина перенесла с Исхода до захода солнца, не поддается описанию; она потеряла королевство и возлюбленного. Под ее окнами, словно перед клеткой в зверинце, собирается гнусный городской сброд, из толпы доносятся непристойные выкрики и площадная ругань. И только теперь, когда, по мнению лордов, она достаточно унижена, вступают с ней в переговоры. В сущности, от нее хотят немногого: лорды требуют, чтобы Мария Стюарт окончательно порвала с Босуэлом. Но за безнадежное дело эта своенравная женщина борется еще ожесточеннее, чем за то, что сулило бы ей самые радужные надежды. С презрением отвергает она это условие, и один из ее противников вынужден потом признать: «Никогда не доводилось мне видеть женщины более мужественной и неустрашимой, чем королева в эти минуты».

Но угрозы не помогают, и умнейший из лордов пытается действовать хитростью. Мэйтленд, ее испытанный и еще недавно преданный советник, обращается к более изощренным средствам. Играя на женской ревности и гордости, он рассказывает Марии Стюарт – кто знает, где тут правда, а где ложь, разве поймешь у дипломата! – что Босуэл ее обманывает: он даже в дни их бракосочетания поддерживал нежные отношения с отставной женой и будто бы клялся ей, что она его настоящая супруга, а королева только наложница. Но Мария Стюарт давно уже не верит никому из этих обманщиков. Наветы Мэйтленда лишь усиливают ее раздражение, и Эдинбург становится свидетелем

жестокого зрелища; он видит свою королеву за оконной решеткой; в изодранном платье, с обнаженной грудью и распущенными по плечам волосами, она, как безумная, вскочила на подоконник и, истерически рыдая, призывает народ спасти ее, так как вельможи заточили ее в тюрьму, и, невзирая на свою ненависть, народ потрясен ее страданиями.

Положение час от часу становится невыносимее. Лорды готовы бить отбой. Но они понимают, что чересчур далеко зашли и что путь к отступлению им отрезан. Отвезти Марию Стюарт в Холируд на правах королевы им уже кажется невозможным; но и оставить ее в доме профоса, среди возбужденной толпы, значило бы рисковать слишком многим: навлечь на себя гнев Елизаветы и чужеземных монархов. Единственного человека, у которого достало бы мужества и авторитета, чтобы принять какое-то решение, – Меррея – нет в стране, а без него лорды не в силах на что-либо отважиться. А потому решено на первых порах отвезти королеву в безопасное место, и в качестве такого избран замок Лохливен. Этот замок стоит посреди озера и со всех сторон отрезан от суши, а владеет им Маргарита Дуглас, мать Меррея, – вряд ли станет она мирволить дочери Марии де Гиз, женщины, отнявшей у нее Иакова V. Осторожности ради лорды избегают в выданной ими грамоте опасного слова «заточение»; королеву, гласит текст, подвергли домашнему аресту, чтобы помешать ей снестись с помянутым графом Босуэлом или же стакнуться с людьми, кои желали бы защитить его от справедливого возмездия. Это лишь полумера, паллиатив, рожденный страхом и нечистой совестью: восстание еще не решается объявить себя смутой, всю вину лорды валят на бежавшего Босуэла и свое тайное намерение – свергнуть Марию Стюарт с престола – прячут под общими рассуждениями и уклончивыми фразами. Чтобы обмануть народ, с нетерпением ждущий суда над «девкою» (whore) и казни, Марию Стюарт семнадцатого июня вечером увозят в Холируд; триста человек стражи охраняют королеву. Но едва лишь обыватели улеглись спать, как во дворе замка строится небольшой отряд, которому поручают отвезти ее в Лохливен, – и до утренней зари длится печальная, одинокая скачка. В первом мерцании рассвета видит Мария Стюарт сверкающую гладь озера, а посреди него – сильно укрепленный, одинокий, неприступный замок, ее место заточения, – кто знает, на сколько долгих лет! В лодке перевозят ее на остров, и окованные железом ворота с лязгом захлопываются. Исполненная страсти и мрака баллада о Дарнлее и Босуэле приходит к концу: начинается скорбная и унылая песня причитальная о вечном заточении.

15. Низложение (лето 1567 года)

С этого дня, с поворотного в ее судьбе семнадцатого июня, когда лорды засадили свою королеву в замок Лохливен за крепкие засовы и затворы, Мария Стюарт становится причиной непрекращающейся смуты и смятения в Европе. Ведь в ее лице встал перед веком новый, можно сказать, революционный вопрос неоглядного значения – о том, какие меры следует принять в отношении монарха, впавшего в непримиримый конфликт со своим народом и оказавшегося недостойным королевского венца. Вина здесь неоспоримо лежит на повелительнице: отдавшись на произвол легкомысленной страсти, Мария Стюарт создала невозможное, нетерпимое положение. Вопреки воле своего дворянства, народа и духовенства она избрала супругом человека, который не только был связан брачными узами, но и единодушно заклеймен общественным мнением как убийца шотландского короля. Презрев закон и добрые нравы, она и теперь отказывается признать этот безрассудный союз недействительным. Даже самые преданные ее друзья согласны между собой в том, что рядом с этим убийцей она не может дольше править Шотландией.

Но какие существуют средства принудить королеву либо расстаться с Босуэлом, либо отречься от престола в пользу сына? Ответ звучит ошеломляюще: да никаких. Государственные правомочия по отношению к монарху в то время равны нулю; народу еще не дозволено подвергать сомнению или порицанию действия своего властителя, всякая юрисдикция кончается у ступеней трона. Гражданское право не простирается на особу короля, он за пределами и выше этого права. Как и священник, он рукоположен самим Господом Богом и ни передать, ни подарить свой сан никому не властен. Никто не вправе лишить помазанника божия его высокого достоинства. С точки зрения абсолютизма позволительнее отнять у монарха жизнь, нежели корону. Можно умертвить венценосца, но не свести его с престола, ибо применить к нему какие-то меры принуждения значило бы посягнуть на иерархический строй мироздания в целом. Мария Стюарт своим преступным браком поставила мир перед совершенно новой задачей. От того, как решится ее судьба, зависел не только единичный конфликт, но и умозрительный принцип, основа целого мировоззрения.

Потому-то так судорожно ищут лорды – в меру доступной им учтивости, конечно, – ищут путей уладить дело полюбовно. Даже

сейчас, из далей столетий, ясно чувствуется трепет, какой внушало им собственное деяние, – шутка ли, посадить свою повелительницу под замок! – и на первых порах для Марии Стюарт не отрезана возможность возвращения, стоит ей лишь объявить свой брак с Босуэлом незаконным и тем признать свою ошибку. Правда, ее популярность и авторитет изрядно пошатнулись, а все же она могла бы на более или менее почетных условиях вернуться в Холируд и со временем избрать себе достойного супруга. Но у Марии Стюарт еще не открылись глаза. По-прежнему слепо веря в свою непогрешимость, она не хочет понять, что все эти непрерывные скандалы – Шателяр, Риччо, Дарнлей, Босуэл – навлекли на нее обвинение в пагубном легкомыслии. Даже самую ничтожную уступку отвергает она, как недостойную. Против всей страны, против всего света защищает она Босуэла, заявляя, что не может от него отказаться, так как иначе дитя, которое она носит, родится бастардом. Она все еще парит в облаках – неисправимый романтик, она не хочет считаться с действительностью. Но это своеволие, которое можно при желании назвать и нелепым и великолепным, с необходимостью вызывает к жизни насильственные меры, какие и были к ней применены, вплоть до той, значение которой еще скажется в веках: ибо не только она, а и кровный ее внук Карл I головой заплатит за свое притязание на неограниченный княжеский произвол.

Но на первых порах, во всяком случае, она еще может рассчитывать на некоторую помощь. Ведь такой конфликт между государыней и народом виден издалека, и ее собратьям и единомышленникам, европейским монархам, он не безразличен; особенно решительно на сторону своей давней противницы становится Елизавета. Многие усматривают непоследовательность и недобросовестность в том, что Елизавета вдруг так энергично вступается за соперницу. А между тем поведение Елизаветы и последовательно, и логично, и ясно. Став на сторону Марии Стюарт, она отнюдь не хочет выгородить – и эту разницу нужно всячески подчеркнуть – ни лично Марию Стюарт, ни женщину, ни все ее неблаговидное и более чем сомнительное поведение. Лишь за королеву вступается она как королева, за чисто умозрительную идею неприкосновенности царственных прав, тем самым отстаивая и собственное дело. Елизавета далеко не уверена в лояльности своего дворянства и потому не может потерпеть, чтобы в соседней стране был безнаказанно подан пример крамолы, когда мятежные подданные поднимают оружие против законной государыни, хватают ее и

сажают под замок. В противоположность Сесилу, который охотно выручил бы протестантских лордов, она полна решимости вновь привести к послушанию этих мятежников, посягнувших на королевский суверенитет, – в лице Марии Стюарт она защищает собственные позиции. И мы, в порядке исключения, склонны ей верить, когда она заявляет, что преисполнена глубокого участия к узнице. Нимало не медля, обещает она свергнутой королеве поддержать ее по-родственному, хоть и не отказывает себе в удовольствии язвительно поставить на вид оступившейся женщине ее вину. С нарочитой ясностью отделяет она свою личную точку зрения от государственной. «Madame, – пишет она, – относительно дружбы всегда существовало мнение, что счастье приносит друзей, а несчастье их проверяет; и так как приспело время на деле доказать нашу дружбу, мы, исходя из наших собственных интересов, а также из участия к Вам, сочли за должное засвидетельствовать в этих кратких словах нашу дружбу… Madame, скажу, не обинуясь, Вы немало огорчили нас, выказав Вашим замужеством столь прискорбный недостаток сдержанности, и нам пришлось убедиться, что никто из Ваших друзей в мире не одобряет Ваших поступков; утаить это значило бы просто солгать Вам. Вы не могли бы ужаснее замарать свою честь, чем выйдя с такой поспешностью за человека, не только известного всем с самой худшей стороны, но к тому же обвиняемого молвой в убийстве Вашего супруга; не мудрено, что Вы навлекли на себя обвинение в соучастии, хотя мы всемерно уповаем, что оно не соответствует истине. И каким же опасностям Вы подвергли себя, сочетавшись с ним при живой жене, – ведь ни по божеским, ни по человеческим законам Вы не можете почитаться его законной женой, и дети Ваши не будут почитаться рожденными в законе! Таким образом, Вы ясно видите, как мы мыслим о Вашем браке и, к великому сожалению, иначе мыслить не можем, какие бы убедительные доводы ни приводил Ваш посланец, склоняя нас на Вашу сторону. Мы предпочли бы, чтобы после смерти мужа первой Вашей заботой было схватить и казнить убийц. Если б это было сделано – что в случае столь ясном не представляло никакой трудности, – мы на многие стороны Вашего брака закрыли бы глаза. Но поскольку этого не произошло, мы можем лишь, во имя дружбы к Вам и уз крови, связывающих нас как с Вами, так и с Вашим почившим супругом, заверить, что мы готовы приложить все наши силы и старания, чтобы достойно воздать за убийство, кто бы из Ваших подданных ни совершил его и сколь бы он ни был Вам близок».

Это ясные слова, острые и отточенные, как бритва, тут не

приходится ни мудрить, ни гадать. Слова эти показывают, что Елизавета, через своих соглядатаев, а также по устным донесениям Меррея лучше осведомленная о происшествии в Керк о'Филде, нежели пламенные апологеты Марии Стюарт много веков спустя, не питает никаких иллюзий насчет соучастия Марии Стюарт. Обвиняющим перстом указует она на Босуэла как на убийцу. Характерно, что в своем дипломатическом послании она пользуется намеренно церемонным оборотом: она-де «всемерно уповает», а не глубоко убеждена, что Мария Стюарт не замешана в убийстве. «Всемерно уповаю» – чересчур осторожное выражение, когда речь идет о столь страшном злодеянии, и при достаточно изощренном слухе вы улавливаете, что Елизавета ни в коем случае не поручилась бы за то, что Мария Стюарт невиновна, и только из солидарности хочет она как можно скорее потушить скандал. Однако чем сильнее порицает Елизавета поведение Марии Стюарт, тем упрямее отстаивает она – sua res agitur[*] – ее достоинство властительницы. «Но чтобы утешить Вас в Вашем несчастье, о котором мы наслышаны, – продолжает она в том же многозначительном письме, – мы спешим заверить Вас, что сделаем все, что в наших силах и что почтем нужным, чтобы защитить Вашу честь и безопасность».

И Елизавета сдержала обещание. Она поручает своему посланнику самым энергичным образом опротестовать все меры, предпринятые бунтовщиками против Марии Стюарт; ясно дает она понять лордам, что, если они прибегнут к насилию, она не остановится и перед объявлением войны. В чрезвычайно резком по тону письме она предупреждает, чтобы они не осмелились предать суду помазанницу божию. «Найдите мне в Священном писании, – пишет она, – место, позволяющее подданным свести с престола своего государя. Где, в какой христианской монархии сыщется писаный закон, разрешающий подданным прикасаться к особе своего государя, лишать его свободы или вершить над ним суд?.. Мы не меньше лордов осуждаем убийство нашего августейшего кузена, а брак нашей сестры с Босуэлом несравненно больше огорчил нас, нежели любого из вас. Но вашего последующего обращения с королевой Шотландской мы не можем ни одобрить, ни стерпеть. Велением божиим вы – подданные, а она – ваша госпожа, и вы не вправе приневоливать ее к ответу на ваши обвинения, ибо противно законам естества, чтобы ноги начальствовали над головой».

Однако Елизавета впервые наталкивается на открытое сопротивление лордов, как ни трудно было его ждать от тех, кто в большинстве своем уже годами тайно состоит у нее на

жаловании. Убийство Риччо научило их, чего им ждать, если Мария Стюарт снова вернется к власти: никакие угрозы, никакие посулы не побудили ее до сих пор отказаться от Босуэла, а ее истошные проклятья во время обратной скачки в Эдинбург, когда в своем унижении она грозила им великими опалами, все еще зловеще звенят у них в ушах. Не для того убрали они с дороги сначала Риччо, потом Дарнлея, потом Босуэла, чтобы снова отдаться на милость безрассудной женщины; для них было бы куда удобнее возвести на престол ее сына – годовалое дитя: ребенок не станет ими помыкать, и на два десятилетия, пока несовершеннолетний король не войдет в возраст, они были бы неоспоримыми господами страны.

И все же лорды вряд ли нашли бы в себе мужество открыто восстать против своего денежного мешка – Елизаветы, если бы случай не дал им в руки поистине страшное, смертоносное оружие против Марии Стюарт. Спустя шесть дней после битвы при Карберри-хилле низкое предательство спешит преподнести им чрезвычайно радостную для них весть. Джеймс Балфур, правая рука Босуэла в убийстве Дарнлея, чувствует себя не по себе с тех пор, как задул противный ветер, и он видит одну лишь возможность спасти свою шкуру – совершить новую подлость. Стремясь заручиться дружбой всесильных лордов, он предает опального друга. Тайно приносит он лордам радостную весть, что бежавший Босуэл тайно прислал в Эдинбург слугу с поручением незаметно выкрасть из замка оставленный им ларец с важными бумагами. Слугу, по имени Далглиш, тут же хватают, и на дыбе, под страшными пытками, несчастный в смертном страхе выдает, где тайник. По его указаниям в замке, под одной из кроватей, находят драгоценный серебряный ларец – Франциск II во время оно подарил его своей супруге Марии Стюарт, а она, ничего не жалевшая для своего возлюбленного Босуэла, отдала ему вместе со всем остальным и заветный ларец. В этом накрепко запирающемся хитроумными замками сундучке временщик хранил свои личные бумаги, в том числе, очевидно, и обещание королевы выйти за него замуж, а также ее письма, наряду с другими документами, в частности и теми, что компрометировали лордов. Очевидно – ничего не может быть естественнее, – Босуэл побоялся захватить с собой столь важные бумаги, отправляясь в Бортуик, на бой с лордами. Он предпочел спрятать их в надежном месте, рассчитывая при удобном случае послать за ними верного слугу. Ведь и «бонд», которым он обменялся с лордами, и обещание Марии Стюарт стать его женой, и ее конфиденциальные письма могли в трудную минуту очень и очень ему пригодиться как для шантажа, так и для самозащиты:

заручившись письменными уликами, он мог крепко держать в руках королеву, если бы эта ветреница пожелала от него отпасть, а также и лордов, вздумай они обвинить его в убийстве. Едва почувствовав себя в безопасности, изгнанник должен был прежде всего подумать о том, как бы снова завладеть драгоценными уликами. Лордам, таким образом, вдвойне повезло с их счастливой находкой: теперь они могли втихомолку уничтожить все письменные доказательства собственной виновности и в то же время без всякого снисхождения использовать документы, свидетельствующие против королевы.

Одну лишь ночь главарь шайки граф Мортон хранил запретный ларец у себя, а уж на следующий день он сзывает остальных лордов, среди них – факт, заслуживающий особого упоминания, – также и католиков и друзей Марии Стюарт, и в их присутствии шкатулка вскрывается. Тут-то и обнаруживают знаменитые письма и сонеты, писанные ее рукой. Оставив даже в стороне вопрос о том, намного ли отличались найденные оригиналы от напечатанных впоследствии текстов, мы можем утверждать с уверенностью, что содержание писем оказалось крайне неблагоприятным для Марии Стюарт; с этого часа поведение лордов меняется, они становятся увереннее, смелее, настойчивее. В минуту первого ликования, даже не дав себе времени снять копии с писем, не говоря уже о том, чтобы их подделать, они спешат раструбить радостную весть – шлют гонца к Меррею во Францию сообщить ему хотя бы общее содержание наиболее компрометирующего королеву письма. Они сносятся с французским послом, допрашивают с пристрастием слуг Босуэла, попавших к ним в руки, и записывают их показания; такое напористое, целеустремленное поведение было бы невозможным, если бы найденные бумаги не содержали достаточно убедительных улик преступного соучастия Марии Стюарт в убийстве. Положение королевы сразу же резко ухудшается.

Ибо найденные в столь критическую минуту письма неимоверно укрепили позиции мятежников. Наконец-то они обрели для своего ослушания моральное оправдание, которого им так недоставало, До сих пор они цареубийство валили на одного Босуэла, в то же время остерегаясь слишком допекать беглеца из опасения, как бы он в ответ не разоблачил их как соучастников. Марии Стюарт вменялось в вину лишь то, что она вышла замуж за убийцу. Теперь же благодаря найденным письмам невинные агнцы внезапно «открывают», что королева и сама замешана в убийстве: ее неосторожные письменные признания дают этим завзятым циничным вымогателям верное средство привести ее к повиновению. Наконец-то в руках у них

орудие, с помощью которого они вынудят ее «добровольно» отречься от престола в пользу сына, а станет отпираться – что ж, можно будет выдвинуть против нее гласное обвинение в прелюбодеянии и соучастии в убийстве.

Именно выдвинуть из-за чужого плеча, а не открыто с ним выступить. Ибо лорды прекрасно знают, что Елизавета не позволит им судить свою королеву. А потому они благоразумно ретируются на задний план и требовать открытого процесса предоставляют третьим лицам. Эту миссию – натравить против Марии Стюарт общественное мнение – с великой охотой берет на себя обуянный жестоким злорадством Джон Нокс. После убийства Риччо фанатический проповедник из осторожности покинул страну. Теперь же, когда его мрачные пророчества насчет «кровавой Иезавели» и того, каких бед она натворит своим легкомыслием, не только сбылись, но даже превзошли все ожидания, он, облаченный в ризы пророка, возвращается в Эдинбург. И вот с амвона громогласно и отчетливо зазвучали призывы возбудить дело против грешной папистки; библический проповедник требует суда над королевой-прелюбодейкой. От воскресенья к воскресенью тон реформатских проповедников становится все наглее. Королеве так же мало простительно нарушение супружеской верности и убийство, кричат они ликующим толпам, как и последней простолюдинке; Ясно и недвусмысленно добиваются они казни Марии Стюарт, и это неустанное науськивание делает свое дело. Ненависть, брызжущая с церковных кафедр, вскоре изливается на улицу. Увлекаемое надеждой увидеть, как женщину, на которую оно взирало с робостью, волокут в покаянной одежде на эшафот, то самое простонародье, которое никогда еще в Шотландии не получало ни слова, ни голоса, требует гласного процесса, и особенно беснуются женщины, распаленные яростью против королевы. «The women were most furious and impudent against her, yet the men were bad enough»[*]. Каждая нищенка в Шотландии знает, что позорный столб и костер были бы ее уделом, если бы она так же безбоязненно отдалась преступной похоти, – так неужто позволить этой женщине, потому что она королева, безнаказанно блудить и убивать и уйти от огненной смерти! Все неистовее звучит в стране клич: «На костер шлюху!» – «Burn the whore!» И, порядком струсив, докладывает английский посланник в Лондон: «Как бы эта трагедия не кончилась для королевы тем, чем началась она для итальянца Давида и для супруга королевы».

А лордам только того и нужно. Тяжелое орудие подкатили, и оно стоит наготове, чтобы вдребезги разнести всякое дальнейшее

сопротивление Марии Стюарт «добровольному отречению». По требованию Джона Нокса уже готов обвинительный акт для публичного процесса: Марии Стюарт вменяется в вину «нарушение законов», а, также – и тут с осторожностью подбирают слова – «предосудительное поведение в отношении Босуэла и других» («incontinence with Bothwell and others»). Если королева и сейчас не отречется от престола, можно будет огласить на суде найденные в ларце письма, прямо говорящие о сокрытии убийства, и тем довершить ее позор. Это вполне оправдало бы смуту перед всем миром. Изобличенную своей собственной рукой соучастницу убийства и распутницу не поддержит ни Елизавета, ни другие монархи.

Вооружась угрозой гласного трибунала, Мелвил и Линдсей едут двадцать пятого июля в Лохливен. Они везут с собой три изготовленных на пергаменте акта, кои Марии Стюарт надлежит подписать, если она хочет избежать позора публичного обвинения. Первый акт гласит, что, наскучив властью, она «рада» избавиться от тягот правления и что у нее нет ни склонности, ни сил их больше нести. Во втором она изъявляет согласие на коронование сына; в третьем не возражает против того, чтобы возложить регентство на ее сводного брата Меррея или другое достойное лицо.

Переговоры ведет Мелвил, из всех лордов по-человечески самый ей близкий. Он уже дважды приезжал в надежде уговорить ее расстаться с Босуэлом, кончить свару миром, но она отказалась внять ему под тем предлогом, что дитя, которое она носит под сердцем, не должно родиться на свет бастардом. Однако сейчас, когда найдены письма, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сначала королева горячо противится. Она разражается слезами, она клянется, что с жизнью простится скорее, чем с короной, и этой своей клятве она пребудет верна до последнего вздоха. Но Мелвил беспощаден; в самых черных красках живописует он то, что ей предстоит: оглашение писем, очная ставка с изловленными слугами Босуэла и, наконец, гласный суд – допрос и приговор. С содроганием видит Мария Стюарт, в какую трясину позора завела ее собственная опрометчивость. Постепенно страх перед публичным унижением лишает ее мужества. После долгих колебаний, после неистовых взрывов гнева и отчаяния она сдается и подписывает все три документа.

Итак, полная договоренность. Но, как и всегда бывало с шотландскими «бондами», ни одна из сторон не считает себя связанной данным словом и присягой. Невзирая на обещание, лорды не преминут огласить в парламенте письма Марии Стюарт и растрезвонят о ее причастности к убийству всему миру, чтобы

отрезать ей возможность отступления. Со своей стороны, и Мария Стюарт отнюдь не считает себя низложенной каким-то росчерком пера на клочке мертвого пергамента. Все, что придает нашему существованию смысл и цену – честь, верность, долг, – никогда не шло для нее в счет по сравнению с ее державными правами, неотъемлемыми для нее, как жизнь, как кровь, горячо струящаяся в ее жилах.

Несколькими днями позже совершается коронация малолетнего короля; народ вынужден довольствоваться более скромным зрелищем, чем оживленное аутодафе на городской площади. Церемония происходит в Стирлинге, лорд Этол несет корону, Мортон – скипетр, Гленкерн – меч, а за ними выступает Мар, держа на руках младенца, который отныне будет именоваться Иаковом VI Шотландским. И то, что обряд помазания совершает Джон Нокс, свидетельствует перед всем миром, что это дитя, этот внове коронуемый король навсегда избавлен от тенет римского лжеучения. За воротами замка ликует народ, празднично звонят колокола, по всей стране зажигают костры. На какое-то мгновение – увы! всегда лишь на мгновение – в Шотландии вновь воцаряется радость и мир.

А теперь, когда с трудной и неприятной работой покончено, ничто не мешает Меррею, этому актеру на выигрышные роли, вернуться домой триумфатором. Снова блестяще оправдала себя его коварная тактика – в минуту опасных поворотов отступать в тень. Он отсутствовал при убийстве Риччо, отсутствовал при убийстве Дарнлея, не замешан он и в мятеже против сестры; его верность не запятнана, на его руках нет крови. Все для мудро исчезнувшего со сцены сделало время. Он сумел расчетливо выждать, поэтому теперь ему с почетом и без малейшего труда само падает в руки то, чего он втайне алкал. Единогласно предлагают ему, как самому разумному из лордов, взять на себя регентство.

Но Меррей, рожденный властвовать, поскольку он умеет властвовать собой, отнюдь не хватается за предложенную честь. Он слишком умен, чтобы принять ее как милость от людей, которыми ему должно повелевать. К тому же да никто не подумает, будто он, любящий и покорный брат, притязает на право, насильственно отнятое у его сестры. Нет, пусть она сама – психологически мастерский штрих – навяжет ему регентство: он жаждет полномочий и просьб от обеих сторон – как от восставших лордов, так и от низложенной королевы.

Сцена его приезда в Лохливен достойна пера великого

драматурга. При виде сводного брата страдалица неудержимо бросается в его объятия. Наконец-то она обретет утешение, поддержку, дружбу, а главное – недостающий ей добрый совет. Но Меррей с нарочитым равнодушием взирает на ее волнение. Он уводит ее в спальню и сурово пробирает за все, что она натворила, ни единым словом не подавая надежды на снисхождение. Ошеломленная его холодностью, королева разражается слезами, оправдывается, защищается. Но прокурор Меррей молчит, молчит и молчит с насупленным челом. Чтобы поддержать в отчаявшейся женщине страх, он делает вид, будто в его молчании скрыта еще неведомая угроза.

На всю ночь оставляет Меррей сестру в этом чистилище страха; пагубный яд неуверенности, который он по капле влил в нее, должен сперва глубоко просочиться ей в душу. Беременная женщина, оторванная от мира – иноземным послам доступ к ней закрыт, – не знает, что ее ждет: гласное обвинение или суд, позор или смерть. Всю ночь не смыкает она глаз, и к утру силы ее сломлены. И тут Меррей начинает понемногу применять снисхождение. Осторожно намекает он, что, если она откажется от попыток к бегству и всяких сношений с иностранными дворами, а главное – порвет с Босуэлом, быть может, еще удастся – он говорит это неуверенным тоном – спасти в глазах мира ее честь. Даже это мерцание надежды вливает жизнь в несчастную, отчаявшуюся женщину. Она бросается в объятия брата, просит, молит, пусть он возьмет на себя тяготы регентства. Тогда ее сын будет в полной сохранности, государство – в руках мудрого правителя, а сама она – в безопасности. Она молит и молит, и Меррей заставляет себя долго просить при свидетелях, пока великодушно не соглашается принять из ее рук то, за чем он, собственно, явился. Он уходит довольный, оставляя успокоенную Марию Стюарт; теперь, когда она знает, что власть в руках ее брата, она тешит себя надеждой, что пресловутые письма останутся тайной и что честь ее спасена.

Но нет милости для бессильного. Как только Меррей берет бразды в свои жесткие руки, он прежде всего старается сделать возвращение сестры невозможным: как регент, он хочет морально прикончить неудобную конкурентку. Уже и речи нет о ее освобождении, напротив, все делается для того, чтобы задержать пленницу в ее узилище. Несмотря на данное Мерреем Елизавете, а также сестре обещание защитить ее честь, с его ведома и попущения пятнадцатого декабря в шотландском парламенте позорящие Марию Стюарт письма и сонеты извлекаются из серебряного ларца, зачитываются вслух, сравниваются с другими документами и признаются подлинными. Четыре епископа,

четырнадцать аббатов, двадцать графов, пятнадцать лордов и более тридцати мелкопоместных дворян, среди них немало близких друзей королевы, удостоверяют честью и присягой подлинность писем и сонетов, и ни один голос, даже из лагеря друзей – немаловажный факт, – не выражает ни малейшего сомнения. Так парламентское заседание превращается в трибунал, незримо стоит королева перед судом своих подданных. Все беззакония последних месяцев – смута, заточение, – едва лишь письма прочтены, узакониваются, и со всей ясностью заявляется, что королева заслужила свою кару, так как убийство ее супруга произошло с ее ведома и соизволения (art and part), «что доказано письмами, писанными ее рукой как до, так и после убийства и обращенными к Босуэлу, главному зачинщику и коноводу, а также позорным браком, в который она вступила вскоре после убийства». А чтобы весь мир узнал вину Марии Стюарт и дабы всем стало ведомо, что честные, добропорядочные лорды лишь из чисто моральных побуждений восстали против нее, иностранным дворам рассылаются копии писем; так Марию Стюарт перед всем миром объявляют отверженной и выжигают у нее на лбу клеймо позора. С алым знаком поношения на челе она уже не осмелится – так полагают Меррей и лорды – требовать себе корону.

Но Мария Стюарт столь прочно замурована в сознание своего королевского величия, что ни поношение, ни поругание не в силах ее смирить. Нет клейма, чувствует она, которое изуродовало бы лоб, носивший царственный обруч и помазанный елеем избранничества. Ни пред чьим приговором или приказом не склонит она головы, и чем больше заталкивают ее под ярмо бесславного прозябания, тем решительнее она противится. Такую волю не удержишь взаперти; она взрывает самые крепкие стены, сносит плотины. А если заковать ее в цепи, она будет потрясать ими так, что содрогнутся камни и сердца.

16. Прощание со свободой (лето 1567 – лето 1568)

Если сумрачные сцены трагедии о Босуэле потребовали бы для своей поэтической разработки гениальности Шекспира, то более мягкие, романтически взволнованные сцены эпилога, разыгравшегося в замке Лохливен, выпало воссоздать писателю куда менее значительному – Вальтеру Скотту[59]. И все же душе того, кто прочел эту книгу в детстве, мальчиком, она говорит несравненно больше, нежели любая историческая правда, – ведь в иных редких, избранных случаях прекрасная легенда одерживает верх над действительностью. Как все мы юными, пылкими подростками любили эти сцены, как живо они запали нам в душу, как трогали наши сердца! Уже в самом материале заложены все элементы волнующей романтики: тут и суровые стражи, стерегущие невинную принцессу, и подлые клеветники, ее бесчестящие, и сама она, юная, сердечная, прекрасная, чудесно обращающая суровость врагов в добрые чувства, вдохновляющая мужские сердца на рыцарское служение. Но не только сюжет, романтично и сценическое оформление – угрюмый замок посреди живописного озера.

Принцесса может затуманенным взором любоваться с башни своей прекрасной Шотландией, нежным очарованием этого чудесного края с его лесами и горами, а где-то там, вдали, бушует Северное море. Все поэтические силы, скрытые в сердцах шотландцев, как бы кристаллизовались вокруг романтического эпизода из жизни их возлюбленной королевы, а когда такая легенда находит себе и совершенное воплощение, она глубоко и неотъемлемо проникает в кровь народа. В каждом поколении ее вновь пересказывают и вновь утверждают; точно неувядающее дерево, дает она, что ни год, все новые ростки; рядом с этой высокой истиной лежит в небрежении бумажная труха исторических факторов, ибо то, что однажды нашло прекрасное воплощение, живет и сохраняется в веках по праву всего прекрасного. И когда с годами к нам вместе с зрелостью приходит недоверие и мы пытаемся за трогательной легендой нащупать истину, она представляется нам кощунственно трезвой, как стихотворение, пересказанное холодной, черствой прозой.

Но опасность легенды в том, что об истинно трагическом она умалчивает в угоду трогательному. Так и романтическая баллада о лохливенском заточении Марии Стюарт замалчивает истинное, сокровенное, подлинно человеческое ее горе. Вальтер Скотт

упорно забывает рассказать, что его романтическая принцесса была в ту пору в тягости от убийцы своего мужа, а ведь в этом, в сущности, и заключалась величайшая ее душевная драма в те страшные месяцы унижения. Ведь если ребенок, которого она носит во чреве, как и следует ожидать, родится до срока, любой хулитель сможет безжалостно вычислить по непреложному календарю природы, когда она стала физически принадлежать Босуэлу. Пусть день и час нам неизвестны, но произошло это в непозволительное с точки зрения права и морали время, когда любовь была равносильна супружеской измене или распутству – быть может, в дни траура по умершему супругу, – в Сетоне или во время ее прихотливых кочеваний из замка в замок, а может быть, и даже вернее, еще до этого, при жизни мужа, – и то и другое равно зазорно. Мы лишь в том случае до конца постигнем душевные терзания отчаявшейся женщины, когда вспомним, что предстоящее ей рождение ребенка открыло бы миру с календарной точностью начало ее преступной страсти.

Однако покров так и не был сорван с этой тайны. Мы не знаем, как далеко зашла беременность Марии Стюарт к моменту ее появления в Лохливене, не знаем, когда она избавилась от снедавших ее страхов, ни того, родился ребенок живым или мертвым, ни сколько недель или месяцев было детищу недозволенной любви, когда его у нее забрали. Здесь все темно и зыбко, все свидетельства противоречат друг другу, ясно лишь, что у Марии Стюарт были достаточно веские основания скрывать даты своего материнства. Ни в одном письме, ни единым словом – уже это подозрительно – не обмолвилась она никому о ребенке Босуэла. По официальному сообщению, составленному ее секретарем Нау при ее личном участии, она преждевременно произвела на свет нежизнеспособных близнецов – преждевременно: остается лишь предположить, что в этой преждевременности не было ничего случайного, недаром она взяла с собой в заточение своего аптекаря. По другой, столь же мало достоверной версии, ребенок – девочка – родилась живой, была тайно увезена во Францию и там скончалась в женском монастыре, не зная о своем королевском происхождении. Но всякие догадки и предположения бессильны в этой недоступной исследованию области, действительные события на веки вечные сокрыты непроницаемой тьмой. Ключ к последней тайне Марии Стюарт заброшен на дно Лохливенского озера.

Уже то обстоятельство, что стражи Марии Стюарт помогли ей скрыть опасную тайну рождения – или преждевременных родов – незаконного ребенка, доказывает, что они отнюдь не были теми

извергами, какими их – черным по черному – рисует романтическая легенда. Госпожа Лохливена, леди Дуглас, которой лорды доверили надзор за Марией Стюарт, тридцать лет назад была возлюбленной ее отца; шестерых детей родила она Иакову V – старшим был граф Меррей, – прежде чем вышла замуж за Дугласа Лохливенского, которому также родила семерых. Женщина, тринадцать раз познавшая муки деторождения и сама терзавшаяся тем, что первые ее дети рождены бастардами, могла больше чем кто-либо понять тревогу Марии Стюарт. Жестокость, в которой ее упрекают, по-видимому, ложь и напраслина; узницу, надо думать, приняли в Лохливене как почетную гостью. В ее распоряжении была целая анфилада комнат, привезенные из Холируда повар и аптекарь, а также четыре или пять приближенных женщин. Она пользовалась полной свободой в замке и как будто выезжала даже на охоту. Если смотреть на вещи здраво, без романтического пристрастия, обращение с ней надо прямо назвать снисходительным. В самом деле – романтика заставляет нас забывать об этом, – женщина, решившаяся выйти замуж за убийцу своего мужа спустя три месяца после убийства, виновата по меньшей мере в преступном легкомыслии, и даже в наши дни суд помиловал бы соучастницу, разве лишь приняв во внимание такие смягчающие вину обстоятельства, как временное душевное расстройство или подчинение чужой воле. Словом, если королеву, своим скандальным поведением нарушившую мир в стране и восстановившую против себя всю Европу, на некоторое время принудили уйти на покой, то это было благом не только для страны, но и для самой королевы. В эти недели затворничества она наконец-то получает возможность успокоить взбудораженные, взвинченные нервы, восстановить нарушенное равновесие, укрепить подорванную Босуэлом волю; лохливенское заточение, в сущности, хотя бы на несколько месяцев избавило безрассудную женщину от самой большой опасности – от снедающей ее тревоги и нетерпения.

Поистине снисходительной карой за столько содеянных безумств должно назвать это романтическое заточение по сравнению с тем, что выпало на долю ее соучастника и возлюбленного. Не так мягко обошлась судьба с Босуэлом! На море и на суше, невзирая на обещания, преследует изгнанника разъяренная свора, голова его оценена в тысячу шотландских крон, и Босуэл знает: самый надежный друг в Шотландии выдаст и продаст его за эту награду. Но не так-то легко захватить удальца: он пытается собрать своих верных для последнего сопротивления, а потом бежит на Оркнейские острова, чтобы

оттуда развязать войну с лордами. Меррей с флотилией из четырех кораблей высаживается на островах, и лишь с трудом ускользает гонимый от своих преследователей, отважившись в утлой скорлупке выйти в открытое море. Он попадает в шторм. С изодранными парусами держит курс суденышко, предназначенное для каботажного плавания, к берегам Норвегии, где его захватывает датский военный корабль. Опасаясь выдачи, Босуэл хочет остаться неузнанным. Он берет у матроса платье – уж лучше сойти за пирата, чем за разыскиваемого короля Шотландии. Однако вскоре дознаются, кто он. Босуэла пересылают с места на место и в Дании даже отпускают на свободу; он уже радуется счастливому избавлению. Но тут лихого сердцееда настигает Немезида: положение его резко ухудшается, оттого что какая-то датчанка, которую он в свое время обольстил, пообещав на ней жениться, подала на него жалобу. Между тем в Копенгагене дознались, какие ему вменяются преступления, и с этой минуты над его головой занесен топор. Дипломатические курьеры мчатся взад и вперед. Меррей требует его выдачи, особенно неистовствует Елизавета, которой важно заручиться свидетелем против Марии Стюарт. В свою очередь, французские родичи Марии Стюарт тайно хлопочут, чтобы датский король не выдал опасного свидетеля. Заточение Босуэла становится все более строгим, однако только тюрьма и защищает его от возмездия. Человек, который на поле брани не дрогнул бы и перед сотнею врагов, должен каждый день со страхом ждать, что его в цепях пошлют на родину и после страшных пыток казнят как цареубийцу. Одна темница сменяется другой, все суровее и теснее его заключение, точно опасного зверя, держат узника за стенами и решетками, и вскоре он уже узнает, что только смерть освободит его от оков. В ужасающем одиночестве и бездействии проводит неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом этот сильный, брызжущий энергией человек, гроза врагов, кумир женщин, живьем гниет и разлагается исполинский сгусток жизненной энергии. Хуже пытки, хуже смерти для бесшабашного удальца, который только в преизбытке сил и в безбрежности свободы дышал полной грудью, который вихрем носился по полям во главе охоты, вел своих верных навстречу врагу, дарил любовь женщинам всех стран и познал все радости духа, – хуже пытки и смерти для него это жуткое праздное одиночество среди холодных, немых, угрюмых стен, эта пустота уходящего времени, сокрушающая жизненную энергию. По рассказам, которым охотно веришь, он как бесноватый бился о железные прутья своей клетки и жалким безумцем кончил жизнь. Из всех многочисленных спутников, претерпевших ради Марии Стюарт пытку и смерть, на

долю этого горячо любимого выпало самое долгое и страшное покаяние.

Но помнит ли еще Мария Стюарт о Босуэле? Действует ли и на расстоянии заклятие его воли или медленно и постепенно расступается огненный круг? Никто не знает. Как и многое другое в ее жизни, это осталось тайной. И только одному удивляешься. Едва встав после родов, едва сбросив с себя иго материнства, она уже вновь исполнена женского очарования, опять источает соблазн и тревогу. Опять – в третий раз – вовлекает она юное существо в орбиту своей судьбы.

Приходится все снова и снова с прискорбием повторять это: дошедшие до нас портреты Марии Стюарт; написанные большей частью посредственными мазилами, не позволяют нам взглянуть в ее душу. Со всех полотен глядит на нас с будничным безразличием милое, спокойное, приветливое лицо, но ни одно из них не передает того чувственного очарования, которое, несомненно, исходило от этой удивительной женщины. Надо полагать, она излучала какое-то особое обаяние женственности, ибо всюду, и даже среди врагов, приобретает она друзей. И невестою, и вдовой, на каждом троне и в каждом узилище умела она создать вокруг себя эту атмосферу сочувствия, так что самый воздух вокруг нее как бы пронизан теплом и лаской. Едва появившись в Лохливене, она сразу покорила молодого лорда Рутвена, одного из своих стражей; лорды вынуждены были убрать его. Но не успел Рутвен покинуть замок, как ею покорен другой юный лорд, Джордж Дуглас Лохливенский. Понадобилось лишь несколько недель, и сын ее тюремщицы готов на любые жертвы – во время ее побега он самый ревностный и преданный ее помощник.

Был ли он только помощником? Не был ли юный Дуглас для нее чем-то большим в эти месяцы заточения? Осталась ли эта склонность рыцарственной и платонической? Ignorabimus[*]. Во всяком случае, Мария Стюарт, не стесняясь, использует чувства молодого человека и не скупится на хитрость и обман. Кроме личного очарования, у королевы имеется еще и другая приманка: соблазн добиться вместе с ее рукой и власти магнетически действует на всех, кого она ни встречает на своем пути. Похоже, что Мария Стюарт – но тут можно отважиться лишь на догадку – поманила польщенную мать юного Дугласа возможностью брака, чтобы купить ее снисходительность, ибо постепенно охрана становится все более нерадивой и Мария Стюарт может наконец приступить к делу, к которому устремлены все ее помыслы: к своему освобождению.

Первая попытка (25 марта), хоть и искусно подготовлена, терпит неудачу. Каждую неделю одна из прачек замка вместе с другими служанками переправляется в лодке на берег и обратно. Дуглас взялся уломать прачку, и она согласилась обменяться с королевой платьем. В грубой одежде служанки; под густым покрывалом, скрывающим ее черты, Мария Стюарт благополучно минует охрану у замковых ворот. Она садится в лодку, отплывающую к берегу, где ее поджидает с лошадьми Джордж Дуглас. Но тут одному из гребцов вздумалось пошутить со стройной прачкой, накинувшей на голову вуаль. Под предлогом, что он хочет поглядеть, какова она лицом, он пытается сорвать с нее покрывало, и Мария Стюарт в страхе хватается за нее своими узкими, белыми, нежными руками. И эта тонкая аристократическая рука с холеными пальчиками, какие трудно предположить у прачки, выдает ее. Гребцы всполошились и, хоть разгневанная королева приказывает им грести к противоположному берегу, поворачиваются отвозят ее обратно в тюрьму.

О случае этом немедленно доносят властям, и охрану узницы усиливают. Джорджу Дугласу запрещено появляться в замке. Но это не мешает ему поселиться поблизости и держать с королевой постоянную связь; как преданный гонец, он несет почтовую службу между ней и ее сторонниками. Ибо, сколь это ни странно, у королевы-узницы, объявленной вне закона и уличенной в убийстве, после года правления Меррея опять появились сторонники. Кое-кто из лордов, Сетоны и Хантлеи в первую голову, отчасти из ненависти к Меррею все время хранили верность Марии Стюарт. Но что особенно удивительно, самых рьяных приверженцев находит она в Гамильтонах, своих заклятых противниках. Дома Гамильтонов и Стюартов искони враждовали между собой. Гамильтоны – самый могущественный род после Стюартов – ревниво оспаривали у Стюартов корону для своего клана; теперь им представляется удобный случай, женив одного из своих сынов на Марии Стюарт, возвести его на шотландский престол. Эти соображения заставляют их – ибо что политике до морали! – стать на сторону женщины, чьей казни за мужеубийство они домогались всего лишь несколько месяцев назад. Трудно предположить, что Мария Стюарт серьезно (или Босуэл уже забыт?) подумывала о том, чтобы выйти замуж за одного за Гамильтонов. Очевидно, она изъявила согласие из расчета, надеясь этим купить себе свободу. Джордж Дуглас, которому она тоже обещала свою руку – двойная игра отчаявшейся женщины, – служит ей посредником в этих

переговорах, кроме того, он руководит всей операцией в целом. Второго мая приготовления закончены; и, как всегда в тех случаях, когда отвага призвана заменить осмотрительность, Мария Стюарт бестрепетно встречает неизвестность.

Побег этот необычайно романтичен, как и подобает романтичной королеве. Мария Стюарт или Джордж Дуглас заручились в замке помощью мальчика Уильяма Дугласа, который служит здесь пажом, и сметливый, проворный подросток с честью выполнил свою задачу. По заведенному строгому порядку все ключи от Лохливенских ворот на время общего ужина кладутся для верности рядом с прибором коменданта, а после ужина он уносит их с собой и прячет под изголовье. Даже за трапезой хочет он их иметь перед глазами. Так и сейчас тяжелая связка лежит перед ним, поблескивая металлом. Разнося блюда, смышленый мальчуган пострел неприметно бросает на ключи салфетку, и, пользуясь тем, что общество за столом, изрядно приложившись к бутылкам, беззаботно беседует, он, убирая со стола, прихватывает с салфеткой и ключи. А потом все идет как по-писаному. Мария Стюарт переодевается в платье одной из служанок, мальчик спешит вперед и, открывая дверь за дверью, тщательно запирает их снаружи, чтобы затруднить преследователям выход, а потом всю связку бросает в озеро. Он уже заранее сцепил все имеющиеся на острове лодки и выводит их за своей на середину озера: этим он отрезает дорогу погоне. После чего ему остается одно: в сумерках теплого майского вечера быстрыми ударами весел править к берегу, где их ждут Джордж Дуглас и лорд Сетон с пятьюдесятью всадниками. Королева немедля садится в седло и скачет всю ночь напролет к замку Гамильтонов. Едва она почувствовала Себя на свободе, как в ней снова пробудилась ее обычная отвага.

Такова знаменитая баллада о побеге Марии Стюарт из омываемого волнами замка, побеге, который стал возможен благодаря преданности любящего юноши и самопожертвованию отрока; обо всем этом при случае можно прочитать у Вальтера Скотта, запечатлевшего этот эпизод во всей его романтичности. Летописцы смотрят на дело трезвее. По их мнению, суровая тюремщица леди Дуглас якобы больше была осведомлена о побеге, чем считала нужным показать и чем это вообще показывают, и всю эту прекрасную повесть она сочинила потом, чтобы объяснить, почему стража так кстати ослепла и проявила такую нерадивость. Но не стоит разрушать легенду, когда она так прекрасна. К чему гасить эту последнюю романтическую зорю в жизни Марии Стюарт? Ибо на горизонте уже сгущаются тучи.

Пора приключений приходит к концу. В последний раз эта молодая смелая женщина пробудила и познала любовь.

Спустя неделю у Марии Стюарт уже шеститысячное войско. Еще раз как будто готовы рассеяться тучи, снова воссияли на какое-то мгновение благосклонные звезды над ее головой. Не только Сетоны и Хантлеи – вернулись все старые ее сподвижники, не только клан Гамильтонов перешел под ее знамена, но и, как это ни удивительно, большая часть шотландской знати, восемь графов, девять епископов, восемнадцать дворян и более сотни баронов. Поистине странно – а впрочем, ничуть не странно, если вспомнить, что никто в Шотландии не может править самовластно, не восстановив против себя всю знать. Жесткая рука Меррея пришлась лордам не по нраву. Лучше присмиревшая, хоть и стократ виновная королева, нежели суровый регент. Да и за границей спешат поддержать освобожденную королеву. Французский посол явился к Марии Стюарт, чтобы засвидетельствовать ей, правомерной властительнице, свою лояльность. Елизавета послала нарочного выразить радость по поводу «счастливого избавления». Положение Марии Стюарт за год неволи значительно окрепло и прояснилось, опять ей выпала счастливая карта. Но, словно охваченная недобрым предчувствием, уклоняется шотландская королева, доселе такая мужественная и воинственная, от вооруженной схватки – она предпочла бы кончить дело миром; когда бы брат оставил ей хоть робкий глянец королевского величия, она, так много пережившая, охотно отдала б ему всю власть. Какая-то часть той энергии, которую крепила в ней железная воля Босуэла, надломилась – ближайшие дни это покажут; после пережитых тревог, забот и треволнений, после всей этой неистовой вражды она мечтает лишь об одном – о свободе, умиротворенности и покое. Но Меррей и не думает хотя бы частично поступиться властью. Его честолюбие и честолюбие Марии Стюарт – дети одного отца, а тут нашлись и советчики, старающиеся закалить его решимость. В то время как Елизавета посылает Марии Стюарт поздравления, английский, государственный канцлер Сесил, со своей стороны, всячески нажимает на Меррея, требуя, чтобы он разделался наконец с Марией Стюарт и католической партией в Шотландии. И Меррей не долго раздумывает. Он знает: пока Мария Стюарт на свободе, в Шотландии не быть миру. Перед ним великий соблазн раз навсегда поквитаться с лордами-смутьянами и преподать им памятный урок. С обычной своей энергией он быстро собирает войско, уступающее, правда, по численности противнику, но зато лучше управляемое и более дисциплинированное. Не выжидая

подмоги, выступает он в направлении Глазго. И тринадцатого мая под Лангсайдом настает час окончательного расчета между королевой и регентом, между братом и сестрой, между одним Стюартом и другим.

Битва при Лангсайде была короткой, но решающей. Ни долгих колебаний, ни переговоров, как это было в битве при Карберри; в стремительной атаке налетает конница Марии Стюарт на неприятельские линии. Но Меррей хорошо выбрал позицию; еще до того, как вражеской кавалерии удается штурмовать холм, она рассеяна жарким огнем, а потом смята и разгромлена в контратаке. Все кончено в каких-нибудь три четверти часа. Бросив все орудия и триста человек убитыми, последняя армия королевы обращается в беспорядочное бегство.

Мария Стюарт наблюдала сражение с высокого холма; увидев, что все потеряно, она сбегает вниз, садится на коня и с небольшим отрядом провожатых гонит во весь опор. Она больше не думает о сопротивлении, панический ужас охватил ее. Сломя голову, не разбирая дороги, несется она через пастбища и болота, по полям и лесам – и так без отдыха весь этот первый день, с одной мыслью: только бы спастись! «Я изведала все, – напишет она позднее кардиналу Лотарингскому, – хулу и поношение, плен, голод, холод и палящий зной, бежала неведомо куда, проскакав девяносто две мили по бездорожью без отдыха и пищи. Спала на голой земле, пила прокисшее молоко, утоляла голод овсянкой, не видя куска хлеба. Три ночи провела я в глуши, одна, как сова, без женской помощи». Такой, в освещении этих последних дней, отважной амазонкой, романтической героиней и осталась она в памяти народа. В Шотландии ныне забыты все ее слабости и безрассудства, прощены и оправданы все ее преступления, внушенные страстью. Живет лишь эта картина – кроткая пленница в уединенном замке и вторая – отважная всадница, которая, спасая свою свободу, скачет ночью на взмыленном коне, предпочитая тысячу раз умереть, чем трусливо и бесславно сдаться врагам. Уже трижды бежала она под покровом ночи – первый раз с Дарнлеем из Холируда, второй раз в мужской одежде к Босуэлу из замка Бортуик, в третий раз с Дугласом из Лохливена. Трижды в отчаянной, бешеной скачке спасала она свою корону и свободу. Теперь она спасает только свою жизнь.

На третий день после битвы при Лангсайде достигает Мария Стюарт Дандреннанского аббатства у самого моря. Здесь граница ее государства. До последнего рубежа своих владений бежала она,

как затравленная лань. Для вчерашней королевы не найдется сегодня надежного прибежища во всей Шотландии; все пути назад ей отрезаны; в Эдинбурге ее ждет неумолимый Джон Нокс и снова – поношение черни, снова – ненависть духовенства, а возможно, позорный столб и костер. Ее последняя армия разбита, прахом пошли ее последние надежды. Настал трудный час выбора. Позади лежит утраченная страна, куда не ведет ни одна дорога, впереди – безбрежное море, ведущее во все страны мира. Она может уехать во Францию, может уехать в Англию, в Испанию. Во Франции она выросла, там у нее друзья и родичи и много еще тех, кто ей предан, – поэты, посвящавшие ей стихи, дворяне, провожавшие ее к шотландским берегам; эта страна уже однажды дарила ее гостеприимством, венчала пышностью и великолепием. Но именно потому, что ее знали там королевой во всем блеске земной славы, вознесенную превыше всякого величия, ей претит вернуться туда нищенкой, просительницей в жалких лохмотьях, с замаранной честью. Она не хочет видеть язвительную усмешку ненавистной итальянки Екатерины Медичи, не хочет жить подачками или быть запертой в монастыре. Но и бежать к замороженному Филиппу в Испанию кажется ей унизительным; никогда этот ханжеский двор не простит ей, что с Босуэлом соединил ее протестантский пастора что она стала под благословение еретика. Итак, остается один лишь выбор, вернее, не выбор, а неизбежность: направиться в Англию. Разве в самые беспросветные дни ее пленения не дошел до нее подбадривающий голос Елизаветы, заверявший, что она «в любое время найдет в английской королеве верную подругу»? Разве Елизавета не дала торжественную клятву восстановить ее на престоле? Разве не послала ей перстень – верный залог, с помощью которого она в любой час может воззвать к ее сестринским чувствам?

Но тот, чьей руки хоть однажды коснулось несчастье, всегда вытягивает неверный жребий. Впопыхах, как обычно при ответственных решениях, принимает Мария Стюарт это, самое ответственное; не требуя никаких гарантий, она еще из Дандреннанского монастыря пишет Елизавете: «Разумеется, дорогая сестра, тебе известна большая часть моих злоключений. Но то, что сегодня заставляет меня писать тебе, произошло так недавно, что вряд ли успело коснуться твоего слуха. А потому я должна со всей краткостью сообщить, что те мои подданные, которым я особенно доверяла и которых облекла высшими почестями, подняли против меня оружие и недостойно со мной поступили. Всемогущему вершителю судеб угодно было освободить меня из жестокого заточения, в кое я была ввергнута. С тех пор, однако, я проиграла сражение и большинство моих

верных погибло у меня на глазах. Ныне я изгнана из моего королевства и обретаюсь в столь тяжких бедствиях, что, кроме Вседержителя, уповаю лишь на твое доброе сердце. А потому прошу тебя, милая сестрица, позволь мне предстать перед тобой, чтобы я могла рассказать тебе о моих злоключениях.

Я также молю бога, да ниспошлет тебе благословение неба, а мне – кротость и утешение, которое я больше всего надеюсь и молю получить из твоих рук. А в напоминание того, что позволяет мне довериться Англии, я посылаю ее королеве этот перстень, знак обещанной дружбы и помощи. Твоя любящая сестра Maria R.»[*].

Второпях, словно не давая себе опомниться, набрасывает Мария Стюарт эти строки, от которых зависит все ее будущее. Потом она запечатывает в письмо перстень и передает то и другое верховому. Однако в письме не только перстень, но и ее судьба.

Итак, жребий брошен. Шестнадцатого мая Мария Стюарт садится в рыбачий челн, пересекает Солуэйский залив и высаживается на английском берегу возле небольшого портового городка Карлайла. В этот роковой день ей нет еще двадцати пяти, а между тем жизнь для нее, в сущности, кончена. Все, чем судьба может в преизбытке одарить человека, она пережила и перестрадала, все вершины земные ею достигнуты, все глубины измерены. В столь ничтожный отрезок времени ценой величайшего душевного напряжения познала она все крайности жизни: двух мужей схоронила и утратила два королевства, побывала в тюрьме, заплуталась на черных путях преступления и все вновь всходила на ступени трона, на ступени алтаря, обуянная новой гордыней. Все эти недели, все эти годы она жила в огне, в таком ярком, полыхающем, всепожирающем пламени, что отблеск его светит нам и через столетия. И вот уже рассыпается и гаснет костер, все, что было в ней лучшего, в нем перегорело; от некогда ослепительного сияния остался лишь пепел и шлак. Тенью былой Марии Стюарт вступает она в сумерки своего существования.

17. Беглянке свивают петлю (16 мая – 28 июня 1568)

Известие, что Мария Стюарт высадилась в Англии, конечно, не на шутку встревожило Елизавету. Нечего и говорить, что непрошеная гостья ставила ее в крайне трудное положение. Правда, весь последний год она, как монархиня монархиню, из солидарности защищала Марию Стюарт от ее мятежных подданных. В прочувствованных посланиях – ведь бумага недорога, а изъяснения в дружбе легко стекают с дипломатического пера – заверяла она ее в своем участии, в своей преданности, своей любви. С пламенным – увы, чересчур пламенным – красноречием убеждала она шотландскую королеву рассчитывать на нее при любых обстоятельствах, как на преданную сестру. Но ни разу Елизавета не позвала Марию Стюарт в Англию, напротив, все эти годы она парировала всякую возможность личной встречи. И вдруг, как снег на голову, эта назойливая особа объявилась в Англии, в той самой Англии, на которую она еще недавно притязала в качестве единственной законной престолонаследницы. Прибыла самовольно, непрошеная и незваная, и с первого же слова ссылается на то самое обещание поддержки и дружбы, которое, как всякому ясно, имело чисто метафорический смысл. Во втором письме Мария Стюарт, даже не спрашивая, хочет того Елизавета или нет, требует свидания как своего неоспоримого права: «Прошу Вас возможно скорее вызволить меня отсюда, ибо я обретаюсь в состоянии, недостойном не только королевы, но даже простой дворянки. Единственное, что я спасла, – это свою жизнь: ведь первый день мне пришлось шестьдесят миль скакать прямиком через поля. Вы сами убедитесь в этом, когда, как я твердо верю, проникнетесь участием к моим безмерным невзгодам».

И участие действительно первое чувство Елизаветы. Разумеется, ее гордость находит величайшее удовлетворение в том, что женщина, замышлявшая свергнуть ее с престола, сама себя свергла – ей, Елизавете, и пальцем шевельнуть не пришлось. Пусть весь мир видит, как она поднимает гордячку с колен и с высоты своего величия раскрывает ей объятия! Поэтому первое, правильное ее побуждение – великодушно призвать к себе беглянку. «Мне донесли, – пишет французский посланник, – что королева в коронном совете горячо заступилась за королеву Шотландскую и дала ясно понять, что намерена принять и почтить ее сообразно ее былому достоинству и величию, а не

нынешнему положению». Со свойственным ей чувством ответственности перед историей Елизавета хочет остаться верна своему слову. Послушайся она этого непосредственного побуждения, не только жизнь Марии Стюарт, но и ее собственная честь была бы спасена.

Но Елизавета не одна. Рядом с ней стоит Сесил, человек с холодными, отливающими сталью глазами, политик, бесстрастно делающий ход за ходом на шахматной доске. Нервическая натура, болезненно отзывающаяся на малейшее дуновение ветра, Елизавета недаром избрала себе в советчики этого жестокого, трезвого, расчетливого дельца; недоступный поэзии и романтике, пуританин по характеру и темпераменту, он презирает в Марии Стюарт ее порывистость и страстность, убежденный протестант, он ненавидит католичку; а кроме того, судя по его личным записям, он с полным убеждением смотрит на нее как на соучастницу и пособницу в убийстве Дарнлея. Не успела Елизавета расчувствоваться, как он останавливает ее участливо протянутую руку. Дальновидный политик, он понимает, в какие трудности вовлечет английское правительство возня с этой неугомонной особой, с этой интриганкой, которая уже много лет сеет смятение повсюду, где ни появится. Принять Марию Стюарт в Лондоне, оказав ей королевские почести, значит признать ее права на Шотландию, а это наложит на Англию обязанность с оружием в руках и с полным кошельком выступить против лордов и Меррея. Но к этому у Сесил а нет ли малейшей склонности, ведь сам же он подстрекал лордов к смуте. Для него Мария Стюарт – смертельный враг протестантизма, главная опасность, угрожающая Англии, и ему нетрудно убедить в этом Елизавету; с неудовольствием внемлет английская королева его рассказам о том, как почтительно ее дворяне встретили шотландскую королеву на ее земле. Нортумберленд, наиболее могущественный из католических лордов, пригласил беглянку в свой замок; самый влиятельный из протестантских лордов, Норфолк, явился к ней с визитом. Все они явно очарованы пленницей, и, недоверчивая и до глупости тщеславная как женщина, Елизавета вскоре оставляет великодушную мысль призвать ко двору государыню, которая затмит ее своими личными качествами и будет для недовольных в ее стране желанной претенденткой.

Итак, прошло всего несколько дней, а Елизавета уже избавилась от своих человеколюбивых побуждений и твердо решила не допускать Марию Стюарт ко двору, но в то же время не выпускать ее из страны. Елизавета, однако, не была бы Елизаветой, если бы она хоть в каком-нибудь вопросе выражалась ясно и действовала прямо. А между тем как в человеческих

взаимоотношениях, так и в политике двусмысленность – величайшее зло, ибо она морочит людей и вносит в мир смятение. Но тут-то и берет свое начало великая и бесспорная вина Елизаветы перед Марией Стюарт. Сама судьба даровала ей победу, о которой она мечтала годами: ее соперница, слывшая зерцалом рыцарских доблестей, совершенно независимо от ее, Елизаветы, стараний выставлена к позорному столбу; королева, притязавшая на ее венец, потеряла свой собственный; женщина, в горделивом сознании своих наследных прав надменно ей противостоявшая, униженно просит у нее помощи. Когда б Елизавета хотела поступить как должно, у нее было бы две возможности. Она могла бы предоставить Марии Стюарт, как просительнице, право убежища, в котором Англия великодушно не отказывает изгнанникам, и этим морально поставила бы ее на колени. Или она могла бы из политических соображений запретить ей пребывание в стране. И то и другое было бы равно освящено законом. И только одно противоречит всем законам земли и неба: привлечь к себе просящего, а потом насильственно задержать. Нет оправдания, нет снисхождения, бессердечному коварству Елизаветы, тому, что, несмотря на ясно выраженное желание своей жертвы, она не позволила ей покинуть Англию, но всячески ее удерживала – хитростью и обманом, вероломными обещаниями и тайным насилием – и загнала этим коварным лишением свободы униженную, побежденную женщину гораздо дальше, чем сама намеревалась, – в гибельные дебри отчаяния и вины.

Это заведомое попрание прав в самой подлой, замаскированной форме навсегда останется темным пятном в личной биографии Елизаветы, его, пожалуй, еще труднее простить, чем последующий смертный приговор и казнь. Ведь для насильственного лишения свободы еще нет ни малейшего повода или основания. В самом деле, когда Наполеон – к этому доказательству от противного не раз обращались, – бежал на борт «Беллерофонта»[60] и там апеллировал к английскому праву убежища, Англия с полным основанием отвергла это притязание как патетический фарс. Оба государства, Франция и Англия, находились в состоянии открытой войны, и сам Наполеон командовал вражеской армией, не говоря уже о том, что он в течение четверти века только и ждал, как бы вцепиться Англии в горло. Но Шотландия отнюдь не воюет с Англией, у них самые добрососедские отношения, Елизавета и Мария Стюарт искони именуют себя задушевными подругами и сестрами, и когда Мария Стюарт бежит к Елизавете, она может предъявить ей перстень, пресловутый «token», знак ее дружеского расположения, может

сослаться на заявление Елизаветы, что «ни один человек на свете не выслушает ее с таким сочувственным вниманием». Она может также сослаться на то, что Елизавета предоставляла право убежища всем шотландским беглецам, что Меррей и Мортон, убийцы Риччо и убийцы Дарнлея, несмотря на свои преступления, находили в Англии приют. И наконец, Мария Стюарт явилась не с притязаниями на английский трон, а лишь со скромной просьбой дозволить ей тихо и мирно жить на английской земле, если же Елизавете это не угодно, не препятствовать ей отправиться дальше, во Францию. И Елизавета, разумеется, прекрасно знает, что она не вправе задержать Марию Стюарт, знает это и Сесил, о чем свидетельствует его собственноручная запись На памятном листке (Pro Regina Scotorum)[*]. «Придется помочь ей, – пишет он, – ведь она явилась в Англию по доброй воле и доверясь королеве». Оба в глубине души отлично сознают, что нет у них и ниточки права, из которой можно было бы свить эту грубую веревку беззакония. Но зачем же существуют политики; если не для того, чтобы в самых трудных положениях находить увертки и лазейки, превращать «ничто» в «нечто» и «нечто» в «ничто»? Если нет оснований задержать беглянку, значит, надо их выдумать; если Мария Стюарт ничем не провинилась перед Елизаветой, значит, надо взвести на нее напраслину. Но все должно быть сделано шито-крыто, ведь мир не дремлет, и он следит. Надо втихомолку, крадучись, накинуть на птичку силок и затягивать все туже и туже, пока жертва не успела опомниться. Когда же она наконец (слишком поздно) начнет рваться на свободу, каждое, резкое движение, послужит ей к гибели.

Это запутывание и оплетание начинается со сплошных учтивостей. Двое самых видных вельмож Елизаветы – лорд Скроуп и лорд Ноллис – со всей поспешностью (какое нежное внимание!) откомандировываются в Карлайл к Марии Стюарт в качестве почетных кавалеров. Однако подлинная их миссия столь же темна, сколь многообразна. Им доверено от лица Елизаветы приветствовать знатную гостью, изъявить свергнутой государыне сочувствие в ее невзгодах; им также поручено успокоить и утихомирить взволнованную женщину, чтобы она не слишком рано встревожилась и не воззвала о помощи к иностранным дворам. Но самое главное и существенное поручение дано им тайно, а оно предписывает строго охранять ту, что, по сути говоря, уже пленница, прекратить всякие посещения, конфисковать письма – недаром в тот же день в Карлайл направлены полсотни алебардиров. Кроме того, оным Скроупу и Ноллису ведено каждое слово Марии Стюарт немедленно сообщать в Лондон. Там только и ждут малейшей ее оплошности,

чтобы задним числом сфабриковать для уже состоявшегося пленения благовидный предлог.

Лорд Ноллис образцово справился со своей ролью тайного соглядатая, его искусному перу обязаны мы, пожалуй, самыми выразительными и живыми зарисовками характера Марии Стюарт. Знакомишься с ними и убеждаешься, что эта женщина в те редкие минуты, когда все ее душевные силы мобилизованы, вызывает поклонение и восхищение даже у очень умных мужчин. Сэр Фрэнсис Ноллис пишет Сесилу: «Что и говорить, это замечательная женщина, она не поддается на лесть, с ней можно обо всем говорить, говорить прямо, и она нимало не рассердится, лишь бы она била уверена в вашей порядочности». Он восхищается ее разумом и красноречием, отдает должное ее «редкому мужеству», ее «liberal heart» – сердечному обхождению. Не укрылась от него и ее неистовая гордость: «Более всего жаждет она победы, и по сравнению с этим высшим благом богатство и другие земные приманки кажутся ей презренными и мелкими». Нетрудно себе представить, с какими чувствами подозрительная Елизавета читала эти описания своей соперницы и как быстро отвердевали ее рука и сердце.

Но и у Марии Стюарт тонкий слух. Очень скоро она замечает, что ласковое участие и учтивые расшаркивания служат обоим эмиссарам ширмой и они потому рассыпаются перед ней мелким бесом, что хотят что-то скрыть. Исподволь, словно подавая ей горькое лекарство в приторном сиропе комплиментов, ей сообщают, что Елизавета не склонна ее принять, пока она не очистится от всех обвинений. Эту пустую отговорку изобрели тем временем в Лондоне, бессердечное, наглое намерение держать Марию Стюарт как можно дальше и взаперти прикрывают для приличия фиговым листком морали. Но либо Мария Стюарт не замечает, либо притворяется, что не замечает, сколь вероломна эта проволочка. С горячностью заявляет она, что готова оправдаться – «но, разумеется, перед особой, которую я считаю равной себе по рождению, лишь перед королевой Английской». Чем скорее, тем лучше, нет, сию же минуту хочет она увидеть Елизавету, «доверчиво броситься в ее объятия». Настоятельно просит она, «не теряя времени, отвезти ее в Лондон, дабы она могла принести жалобу и защитить свою честь от клеветнических наветов». С радостью готова она предстать на суд Елизаветы, но, разумеется, только на ее суд.

Это как раз те слова, которые Елизавете хотелось услышать. Принципиальное согласие Марии Стюарт оправдаться дает Елизавете в руки первую зацепку для того, чтобы постепенно

втянуть женщину, ищущую в ее стране гостеприимства, в судебное разбирательство. Конечно, необходима осторожность, этого нельзя сделать внезапным наскоком, чтобы и без того встревоженная жертва не переполошила до времени весь мир; перед решительной операцией по лишению Марии Стюарт чести надо сперва усыпить ее обещаниями, чтобы спокойно, не сопротивляясь, легла она под нож. Итак, Елизавета пишет письмо, которое могло бы обмануть нас своим взволнованным тоном, если бы мы не знали, что советом министров давно принято решение о задержании беглянки. Отказ ее лично встретиться с Марией Стюарт словно обернут в вату.

«Madame, – пишет она со змеиным лукавством, – лорд Херрис сообщил мне о Вашем желании оправдаться лично передо мной в тяготеющих на Вас обвинениях. О Madame, нет на земле человека, который радовался бы Вашему оправданию больше, чем я. Никто охотнее меня не преклонит ухо к каждому ответу, помогающему восстановить Вашу честь. Но я не могу ради Вашего дела рисковать собственным престижем. Не стану скрывать от Вас, меня и так упрекают, будто я более склонна отстаивать Вашу невиновность, нежели раскрыть глаза на те деяния, в коих Ваши подданные Вас обвиняют». За этим коварным отказом следует, однако, еще более изощренная приманка. Торжественно ручается Елизавета «своим королевским словом» – надо особенно подчеркнуть эти строки – в том, что «ни Ваши подданные, ни увещания моих советников не заставят меня требовать от Вас того, что могло бы причинить Вам зло или бесчестие». Все настойчивее, все красноречивее звучит письмо. «Вам кажется странным, что я уклоняюсь от встречи с Вами, но прошу Вас, поставьте себя на мое место. Если Вы очиститесь от обвинений, я приму Вас с подобающим почетом, до тех же пор это невозможно. Зато потом, клянусь Создателем, Вы не найдете человека, более к Вам расположенного, встреча с Вами – самая большая для меня радость».

Утешительные, теплые, мягкие, расслабляющие душу слова, но они прикрывают сухую, жесткую, правду. Ибо посланцу, привезшему письмо, поручено наконец разъяснить Марии Стюарт, что ни о каком оправдании перед Елизаветой не может быть и речи, что имеется в виду настоящее судебное расследование шотландских событий, пусть пока еще под стыдливым названием «конференция».

Но от таких слов, как дознание, судебное расследование, приговор, гордость Марии Стюарт взвивается на дыбы, как от прикосновения раскаленным железом. «Нет у меня иного судьи,

кроме предвечного, – вырывается у нее с гневными рыданиями, – и никто не вправе меня судить. Я знаю, кто я, и знаю все преимущества, принадлежащие моему сану. Я и в самом деле по собственному почину и со всем доверием предложила королеве, моей сестре, выступить судьею в моих делах. Однако как же это возможно, раз она отказывается меня принять?» С угрозой предрекает она (и дальнейшее подтвердит ее слова), что Елизавете не будет проку от того, что она задержала ее в своей стране. И тут она берется за перо. «Hélas Madame![*] – восклицает она в волнении. – Где же это слыхано, чтобы кто-нибудь укорил государя за то, что он преклонил свой слух к словам жалобщика, сетующего на бесчестное обвинение!.. Оставьте мысль, будто я прибыла в эту страну, спасая свою жизнь. Ни Шотландия, ни весь прочий мир от меня не отвернулись, а прибыла я сюда, чтобы отстоять свою честь и найти управу на ложных обвинителей моих, а не для того, чтобы отвечать им, как равным. Среди всех друзей избрала я Вас, ближайшую родственницу и лучшего друга (perfaicte Amye), чтобы бить Вам челом на моих хулителей, в надежде, что Вы честью для себя почтете восстановить добрую славу королевы». Не чаяла она, убегая из одной тюрьмы, быть задержанной «quasi en un autre»[*]. И запальчиво требует она того, чего ни один человек еще не мог добиться от Елизаветы, а именно: ясных, недвусмысленных поступков, либо помощи, либо свободы. Она готова de bonne voglia[*] оправдаться перед Елизаветой, но только не перед своими подданными на суде, разве что их приведут к ней со связанными руками. С полным сознанием лежащей на ней неотъемлемой благодати отказывается она быть поставленной на одну доску со своими подданными: лучше ей умереть.

Юридически под точку зрения Марии Стюарт не подкопаешься. У королевы Английской нет суверенных прав в отношении королевы Шотландской; не ее дело – расследовать убийство, происшедшее в другой стране, вмешиваться в тяжбу чужеземной государыни с ее подданными. И Елизавета это прекрасно знает, потому-то она и удваивает льстивые старания выманить Марию Стюарт с ее укрепленных, неприступных позиций на зыбкую почву процесса. Нет, не как судья, а как сестра и подруга хочет она разобраться в злополучной тяжбе – ведь это единственное препятствие на пути к ее заветному желанию наконец-то встретиться со своей кузиной и вернуть ей престол. Чтобы оттеснить Марию Стюарт с ее безопасной позиции, Елизавета не жалеет обещаний, делая вид, будто ни на минуту не сомневается в невиновности той, кого так злостно оклеветали;

разбирательству якобы подлежат не поступки Марии Стюарт, а крамола Меррея и прочих смутьянов. Ложь ложью погоняет: Елизавета клянется, что на дознании и речи не будет о том, что может коснуться чести Марии Стюарт («against her honour»), – дальнейшее покажет, как было выполнено это обещание. А главное, она заверяет посредников, что, чем бы дело ни кончилось, Мария Стюарт так или иначе останется королевой Шотландии. Но пока Елизавета дает эти клятвенные обещания, ее канцлер Сесил гнет свою линию. Желая успокоить Меррея и расположить его в пользу процесса, он клянется, что ни о каком восстановлении на троне его сводной сестры не может быть и речи, из чего следует, что чемодан с двойным дном не является политическим изобретением нашего века.

От Марии Стюарт не укрылись все эти закулисные плутни и подвохи. Если Елизавета не верит ей, то и у Марии Стюарт не осталось никаких иллюзий насчет истинных намерений ее любимой кузины. Она обороняется и противится, пишет то льстивые, то возмущенные письма, но в Лондоне уже не отпускают захлестнутую петлю, наоборот, ее стягивают все туже и туже. Для усиления психического воздействия принимаются меры, долженствующие показать, что в случае сопротивления, спора или отказа там не остановятся и перед насилием. Мало-помалу ее лишают привычных удобств, не допускают к ней посетителей из Шотландии, разрешают выезжать не иначе как под эскортом из сотни всадников, пока однажды не огорошивает ее приказ оставить Карлайл, стоящий у открытого моря, где хотя бы взор ее свободно теряется вдали и откуда однажды ее может увезти спасительное судно, и переехать в Йоркширское графство, в укрепленный Болтонский замок – «a very strong, very fair and very stately house»[*]. Разумеется, и эту горькую пилюлю густо обмазывают патокой, острые когти все еще трусливо прячутся в бархатных рукавичках: Марию Стюарт уверяют, что лишь из нежного попечения, из желания иметь ее поближе и ускорить обмен письмами распорядилась Елизавета о переезде. В Болтоне у нее будет «больше радостей и свободы, там ее не достигнут происки врагов». Мария Стюарт не так наивна, чтобы поверить в эту горячую любовь, она все еще барахтается и борется, хоть и знает, что игра проиграна. Но что ей остается делать? В Шотландию нет возврата, во Францию путь ей заказан, а между тем положение ее день ото дня становится все более постыдным: она ест чужой хлеб, и даже платье Елизавета дарит ей со своего плеча. Совсем одна, оторванная от друзей, окруженная только подданными противницы, Мария Стюарт не в силах устоять: сопротивление ее становится все неувереннее.

И наконец, как правильно рассчитал Сесил, она совершает величайшую ошибку, которую с таким нетерпением подкарауливала Елизавета: в минуту душевной слабости она соглашается на судебное расследование. Изменив своей исходной точке зрения, заключающейся в том, что Елизавета не вправе ни судить ее, ни лишать свободы, что, как королева и гостья, она неподсудна чужеземному третейскому суду, Мария Стюарт совершает самую грубую, самую непростительную ошибку в своей жизни. Но Мария Стюарт способна лишь на короткие бурные вспышки мужества, вечно ей не хватает стойкости и выдержки, необходимых государыне. Чувствуя, что теряет почву под ногами, она все еще силится что-то спасти, ставит задним числом какие-то условия и, позволив выманить у себя согласие, хватается за руку, сталкивающую ее в бездну. «Нет ничего такого, – пишет она двадцать восьмого июня, – чего бы я не сделала по одному слову Вашему, так твердо уповаю я на Вашу честь и Вашу королевскую справедливость».

Но кто отдался на милость противника, тому не помогут ни просьбы, ни уговоры. У победителя свои права, и всегда они оборачиваются бесправием для побежденного. Vae victis[*].

18. Петля затягивается (июль 1568 – январь 1569)

Как только Мария Стюарт неосмотрительно дала исторгнуть у себя согласие на «нелицеприятное дознание», английское правительство пустило в ход все имеющиеся у него средства власти, чтобы сделать дознание лицеприятным. Если лордам разрешено явиться лично, во всеоружии обвинительного материала, то Марии Стюарт дозволено прислать лишь двух доверенных представителей; только на расстоянии и через посредников может она предъявить свои обвинения мятежным лордам, тогда как тем не возбраняется вопить во всеуслышание и втихомолку сговариваться – этим подвохом ее сразу же вынуждают от нападения перейти к обороне. Все обещания одно за другим летят под стол. Та самая Елизавета, которой совесть не дозволяла встретиться с Марией Стюарт до окончания процесса, без колебаний принимает у себя мятежника Меррея. Никто и не думает о о том, чтобы щадить «честь» шотландской королевы. Правда, намерение посадить ее на скамью подсудимых пока хранится в тайне – что скажут за границей! – и официально поддерживается версия, будто лордам надлежит «оправдаться» в поднятой смуте. Но, лицемерно призывая к ответу лордов, английская королева, в сущности, ждет от них одного объяснения: почему они подняли оружие против своей, королевы? А это значит, что им придется переворошить всю историю убийства и тем самым обратить острие процесса против Марии Стюарт. Если обвинения будут веские, в Лондоне не замедлят подвести под арест Марии Стюарт юридическую базу, и необоснованное лишение свободы предстанет перед миром как обоснованное.

Однако псевдоразбирательство, именуемое конференцией – только с риском оскорбить правосудие можно назвать это судом, – превращается в комедию совсем иного сорта, чем желали бы Сесил и Елизавета. Хотя противников посадили за круглый стол, чтобы они предъявили друг другу свои обвинения, ни та, ни другая сторона не обнаруживает большого желания побивать друг друга актами и фактами, и это, конечно, неспроста. Ибо, обвинители и обвиняемые здесь – такова курьезная особенность этого процесса, – по сути дела, соучастники одного преступления: и тем и другим было бы приятнее молчаливо обойти неприглядные обстоятельства убийства Дарнлея, в котором равно замешана и та и другая сторона. Если Мортон, Мэйтленд и

Меррей могут предъявить ларец с письмами и с полным правом обвинить Марию Стюарт в пособничестве или по меньшей мере в укрывательстве, то и Мария Стюарт может с таким же правом изобличить лордов: ведь они были во все посвящены и своим молчанием потакали убийству. Буде лорды вздумают положить на стол неблаговидные письма, как бы это не заставило Марию Стюарт, конечно же знающую от Босуэла, кто из лордов обменялся с ним «бондом», а может быть, имеющую в руках и самый «бонд», сорвать маску с этих запоздалых воителей за своего короля. Отсюда естественное опасение наступить противнику на горло, отсюда и общий интерес – покончить грязное дело миром и не тревожить прах бедняги Дарнлея в его гробу. «Requiescat in pace!»[*] – благочестивый клич обеих сторон.

Так становится возможным нечто странное и весьма для Елизаветы неожиданное: при открытии судебного разбирательства Меррей ограничился обвинением Босуэла – он знает: опасный человек где-то за тридевять земель и не выдаст своих сообщников; но с редким тактом щадит он сестру. У шотландских баронов точно выскочило из памяти, что всего лишь год назад сами они на открытой парламентской сессии обвинили ее в пособничестве убийству. В общем, благородные рыцари не выезжают на арену с тем лихим молодечеством, на какое рассчитывал Сесил, не швыряют на судейский стол предосудительные письма, и – вторая, но не последняя особенность этой изобретательной комедии – английские комиссары тоже на редкость молчаливы и предпочитают меньше спрашивать. Лорду Нортумберленду, как католику, Мария Стюарт, пожалуй, ближе, чем его королева, Елизавета; что же касается лорда Норфолка, то по личным мотивам, о которых мы еще услышим, он тоже клонит к мировой. Вырисовываются уже и контуры намечаемого соглашения: Марии Стюарт будут возвращены титул и свобода, зато Меррей сохранит единственно для него важное – подлинную власть. Итак, вместо громов и молний, должных по расчетам Елизаветы морально уничтожить Марию Стюарт, – сплошное благорастворение воздухов. Идет задушевный разговор при закрытых дверях. Там, где предполагалось бурное обсуждение всяких актов и фактов, царит теплое, дружественное согласие. Проходит несколько дней, и – поистине странное разбирательство! – обвинители и обвиняемые, комиссары и судьи, забыв о полученных предписаниях и неожиданно найдя общий язык, готовы уже похоронить по первому разряду процесс, задуманный Елизаветой в качестве важнейшей государственной акции против Марии Стюарт.

Незаменимым посредником, идеальной свахой, которая, ног под собой не чуя, носится взад-вперед и улаживает дело, служит все тот же шотландский статс-секретарь Мэйтленд Летингтонский. В темной заварухе с Дарнлеем он выполнял самую темную роль, притом, как и подобает прирожденному дипломату, роль двуличную. Когда в Крэгмиллере к Марии Стюарт явились лорды и стали предлагать, чтобы она развелась с Дарнлеем либо еще как-нибудь развязалась с ним, от общего их имени выступил Мэйтленд, и это он уронил туманное замечание о том, что Меррей «не станет придираться». С другой стороны, это он налаживал ее брачный союз с Босуэлом, это он «случайно» оказался свидетелем пресловутого похищения и только в последнюю минуту перебежал к лордам. Если бы дошло до перестрелки между Марией Стюарт и лордами, не миновать бы ему очутиться в самом пекле. Потому-то он и готов идти напролом и не остановится и перед самыми недозволенными средствами, лишь бы добиться полюбовного соглашения.

Для начала он стращает Марию Стюарт, внушая ей, что, если она заартачится, лорды на все пойдут для своей защиты, а тогда не избыть ей сраму. И чтобы доказать ей, каким убийственным для ее чести орудием располагают лорды, он потихоньку поручает своей жене Мэри Флеминг снять копию с главной улики обвинения – с любовных писем и сонетов из ларца – и передать эту копию Марии Стюарт.

Тайная выдача Марии Стюарт еще неизвестного ей обвинительного материала, – конечно же, шахматный ход Мэйтленда против его коллег, не говоря уже о грубом нарушении процессуального права. Но и лорды не остаются в долгу и так же противно всем правилам передают «письма из ларца», так сказать, под судейским столом, Норфолку и другим английским комиссарам. Для Марии Стюарт это тяжелый афронт, ведь судьи, только что склонявшиеся к примирению сторон, теперь будут против нее восстановлены. В особенности Норфолк сражен удушливой вонью, которой неожиданно понесло из этого ящика Пандоры[61]. Тотчас же сообщает он в Лондон – опять-таки в нарушение правил, но в этой удивительной тяжбе все идет шиворот-навыворот, – что «необузданная и грязная страсть, привязывавшая королеву к Босуэлу, ее отвращение к убитому супругу и участие в заговоре против его жизни так очевидны, что всякий порядочный и благонравный человек содрогнется и с отвращением отпрянет от этого ужаса».

Недобрая весть для Марии Стюарт, зато чрезвычайно радостная для Елизаветы. Теперь она знает, какой убийственный для чести ее соперницы обвинительный материал может в любую

минуту быть положен на стол, и не успокоится до тех пор, пока он не будет предан огласке. Чем больше Мария Стюарт склоняется к мировой, тем решительнее Елизавета требует публичного шельмования. Враждебная позиция Норфолка, непритворное возмущение, вызванное в нем письмами из пресловутого ларца, по-видимому, обрекают игру Марии Стюарт на полную безнадежность.

Но как за игорным столом, так и в политике партия не считается безнадежной, покуда на руках у противников сохранилась хоть одна карта. В критическую минуту Мэйтленд выкидывает совсем уже головоломный номер. Он направляется к Норфолку, продолжительно беседует с ним один на один и – о диво! – вы ошеломлены, вы глазам своим не верите, читая источники: свершилось чудо, Савл обратился в Павла[62], возмущенный, негодующий Норфолк, судья, заранее восстановленный против подсудимой, стал ревностным ее защитником и доброжелателем. В ущерб своей повелительнице, добивающейся открытого разбирательства, он хлопочет об интересах шотландской королевы: он уговаривает ее не Отказываться ни от своей короны, ни от прав на английский престол, он крепит ее волю, поднимает в ней дух; В то же время он отговаривает Меррея предъявлять письма, и – о диво! – у Меррея после укромной беседы с Норфолком тоже меняется настроение. Он стал кроток и покладист, в полном единодушии с Норфолком готов он валить все на Босуэла и всячески выгораживать Марию Стюарт; похоже, что за одну ночь погода изменилась, подул живительный теплый ветер, лед тронулся: еще денек-другой, и над этим странным судилищем воссияют весна и дружба.

Естественно, возникает вопрос: что же заставило Норфолка повернуть на сто восемьдесят градусов, что вынудило судью Елизаветы презреть ее волю и из противника Марии Стюарт сделаться ей лучшим другом? Первое, что приходит в голову, – это что Мэйтленд подкупил Норфолка. Но стоит вглядеться поближе, и это предположение отпадает. Норфолк – самый богатый вельможа Англии, его род лишь немногим уступает Тюдорам. Денег, потребных на его подкуп, нет не только у Мэйтленда, их не наскрести во всей нищей Шотландии. И все же, как обычно, первое чувство самое правильное, Мэйтленду действительно удалось подкупить Норфолка. Он посулил молодому вдовцу то, чем можно прельстить и самого могущественного человека, а именно – еще большее могущество. Мэйтленд предложил герцогу руку королевы и, стало быть,

наследственные права на английскую корону. От королевского же венца по-прежнему исходит магическая сила, которая и в труса вливает мужество и самого равнодушного делает честолюбцем, а самого рассудительного – глупцом. Теперь понятно, почему Норфолк, только вчера убеждавший Марию Стюарт отречься от своих королевских прав, сегодня так настойчиво советует ей их отстаивать. Он не прочь жениться на Марии Стюарт – единственно, ради притязания, которое сразу ставит его на место тех самых Тюдоров, что приговорили к казни его отца и деда, обвинив их в предательстве. И можно ли вменить в вину сыну и внуку его измену королевской фамилий, которая расправилась с его собственной фамилией топором палача!

Разумеется, нам, людям с современными чувствами, кажется чудовищным, что тот самый человек, который только вчера приходил в ужас от Марии Стюарт, убийцы и прелюбодейки, и возмущался ее «грязными» любовными похождениями, вдруг вознамерился взять ее в супруги. И конечно же, апологеты Марии Стюарт сюда-то и толкаются со своей гипотезой: Мэйтленд будто бы в том разговоре с глазу на глаз убедил Норфолка в невиновности королевы, доказав ему, что письма подложные. Однако источники об этом умалчивают, да и Норфолк, спустя несколько недель, защищаясь перед Елизаветой, опять назовет Марию Стюарт убийцей. Было бы заведомым анахронизмом переносить наши моральные взгляды назад, в эпоху четырехсотлетней давности: ведь стоимость человеческой жизни на протяжении различных времен и широт – понятие далеко не безусловное; каждая эпоха оценивает ее по-разному; мораль всегда относительна. Наш век гораздо терпимее к политическому убийству, чем девятнадцатый, но и шестнадцатый был не слишком щепетилен в этом вопросе. Моральная разборчивость и вообще-то была чужда эпохе, которая черпала свои нравственные устои не в Священном писании, а в учении Макиавелли: тот, кто в те времена рвался к трону, не слишком затруднял себя сентиментальными оглядками и не старался рассмотреть сквозь лупу, обагрены ли ступени трона пролитой кровью. В конце концов, сцена в «Ричарде III», где королева отдает свою руку заведомому убийце ее мужа, написана современником, и зрители не находили ее маловероятной. Чтобы стать королем, убивали отца, изводили ядом брата, тысячи безвинных жертв ввергали в войну, людей, не задумываясь, устраняли, убирали с дороги; в Европе того времени вряд ли нашелся бы царствующий дом, который не знал бы за собой подобных преступлений. Ради, королевского венца четырнадцатилетние мальчики женились на пятидесятилетних матронах, а незрелые отроковицы выходили за

дряхлых дедушек; никто не спрашивал добродетели, красоты, достоинства и благонравия – женились на слабоумных, увечных и параличных, на сифилитиках, калеках и преступниках, – зачем же ждать какой-то особой щепетильности от тщеславного честолюбца Норфолка, когда молодая, красивая, пылкая государыня не прочь назвать его своим супругом? Ослепленный честолюбием, Норфолк не оглядывается на то, что сделала Мария Стюарт в прошлом, он больше занят тем, что она может для него сделать в будущем; этот болезненный недалекий человек мысленно уже видит себя в Вестминстере, на месте Елизаветы. Итак, дело внезапно приняло новый оборот: ловкие руки Мэйтленда ослабили петлю, в которой запуталась Мария Стюарт, и вместо ожидаемого сурового судьи она вдруг находит жениха и помощника.

Но недаром у Елизаветы чуткие наушники и неусыпный, склонный к подозрительности ум. «Les princes ont des oreilles grandes, qui oyent loin et près»[*], – похвалилась она как-то французскому послу. По сотне незаметных признаков чует она, что в Йорке варятся какие-то подозрительные снадобья – не будет ей от них проку. Первым делом призывает она к себе Норфолка и спрашивает с усмешкой, уж не затеял ли он жениться. Норфолк никакой не герой. Громко и отчетливо пропел евангельский петух: растерявшись, как уличенный в шалости мальчишка, новоявленный Петр[63] – Норфолк тут же отрекается от Марии Стюарт, чьей руки он лишь вчера домогался. Все это ложь и клевета, никогда бы он не женился на распутнице и убийце. «Ложась спать, – говорит он с наигранным пафосом, – я хочу быть уверен, что под подушкой меня не ждет отравленный кинжал».

Елизавета себе на уме – что она знает, то знает: с гордостью скажет она потом: «Il m'ont cru si sotte, que je n'en sentirais rien»[*]. Когда эта женщина в неудержимом гневе хватает за шиворот кого-либо из своих лизоблюдов, тот сразу же вытряхивает из рукава все свои секреты. Теперь она сама наведет порядок. По ее приказу сессия двадцать пятого ноября переносится из Йорка в Вестминстер, в Camera Depicta[*]. Здесь, в двух шагах от ее двери, под ее сверлящим взглядом, Мэйтленду труднее извернуться, чем в Йоркшире, в двух днях езды от Лондона, вдали от ее стражи и шпионов. К тому же Елизавета в подкрепление комиссарам, не оправдавшим ее надежд, назначает других, более надежных людей, в первую очередь своего любимца Лестера. Теперь, когда вожжи прибраны к ее крепким рукам, процесс идет в быстром темпе, не отклоняясь от указанной цели. Старому ее нахлебнику Меррею дан ясный и недвусмысленный наказ «защищаться» и к

этому опасное напутствие – не отступать и перед «extremity of odious accusation»[*], иначе говоря, не стесняясь, предъявить «письма из ларца» в доказательство того, что Мария Стюарт находилась с Босуэлом в прелюбодейственных отношениях. О торжественной клятве своей милой кузине, что на процессе не будет произнесено ничего «against her honour», Елизавета и думать забыла. Лордам, однако, все еще не по себе. Они медлят, и колеблются и вместо того, чтобы прямо предъявить письма, ограничиваются общими намеками. И так как открыто приказать им Елизавета не может, не рискуя выдать свою пристрастность, она пускается на еще большее лицемерие. Притворяясь, будто она свято уверена в невиновности Марии Стюарт и видит одну лишь возможность восстановить ее честь – выяснить все до конца, она с нетерпением любящей сестры требует, чтобы ей были предъявлены все улики, дающие основание для «клеветы». Она домогается, чтобы письма и любовные сонеты были положены на судейский стол.

Под таким давлением лорды наконец уступают. Меррей еще в последнюю минуту разыгрывает комедию: симулируя сопротивление, он не сам кладет письма на стол, а, помахав ими, поспешно прячет, предоставляя секретарю «насильно» вырвать у него всю пачку. И вот, к вящему торжеству Елизаветы, письма на столе, их зачитывают вслух: сперва один раз, а назавтра, перед расширенной комиссией, в другой. Лорды, правда, в свое время клятвенно засвидетельствовали их подлинность, но Елизавете этого мало. Словно предвидя возражения защитников Марии Стюарт, которые спустя столетия провозгласят, что письма подложные, она приказывает в присутствии всей комиссии сравнить их самым тщательным образом с теми, которые шотландская королева писала ей своей рукой. Во время этого расследования представители Марии Стюарт покидают зал – еще один важный аргумент в пользу подлинности писем, – вполне резонно заявляя, что Елизавета не сдержала своего обещания, что не будет допущено ничего порочащего Марию Стюарт – «against her honour».

Но какая может быть речь о законности в этом самом беззаконном из судебных разбирательств, на котором не позволено быть главной обвиняемой, тогда как обвинителям, таким, как Ленокс, никто не завязывает рта. Не успели представители Марии Стюарт хлопнуть дверью, как комиссары единогласно выносят «предварительное постановление» о том, что Елизавете не подобает допускать к себе Марию Стюарт, пока та не очистится от всех обвинений. Елизавета добилась своего. Наконец-то сфабрикован предлог, который был ей до смерти

нужен, чтобы с полным правом отвернуться от беглянки; теперь уже нетрудно измыслить основание, которое позволило бы и впредь содержать узницу «in honourable custody»[*] – более благоприличный, иносказательный оборот для одиозного слова «заточение». С торжеством воскликнет один из верных Елизаветы, архиепископ Паркер: «Наконец-то наша добрая королева держит волка за уши!»

«Предварительное» ошельмование сделало свое дело: опозоренной Марии Стюарт остается только, склонив голову и заголив шею, ждать приговора, словно удара топором. Можно уже официально заклеймить ее именем убийцы и выдать Шотландии, а там Джон Нокс не знает пощады. Но в этот миг Елизавета подъемлет руку, предупреждая смертельный удар. Неизменно, когда нужно принять последнее решение, доброе или злое, этой непостижимой женщине изменяет мужество. Великодушный ли то порыв человечности, отнюдь ей не чуждой, или же запоздалое раскаяние в том, что она нарушила свое королевское обещание пощадить честь Марии Стюарт? Дипломатический ли расчет, или – нередкое у таких загадочных натур – хаотическое смешение самых противоречивых чувств – трудно сказать, но Елизавета снова отступает перед возможностью окончательно расправиться с противницей. Вместо того чтобы дать суду вынести суровый приговор, она откладывает решение и вступает с Марией Стюарт в переговоры. В душе Елизавета жаждет одного – чтобы эта упрямая, строптивая, неугомонная женщина оставила ее в покое, она хочет только принизить ее и усмирить; поэтому она подает Марии Стюарт мысль – еще до произнесения приговора опротестовать подлинность документов; кроме того, подсудимой через третьих лиц сообщают, что в случае ее добровольного отречения ей будет вынесен оправдательный приговор и дозволено свободно проживать в Англии, где ей назначат государственный пенсион. В то же самое время ее стращают публичной казнью – все те же методы кнута и пряника, – и Ноллис, доверенный английского двора, доносит, что сделал все от него зависящее, дабы до смерти запугать узницу. Итак, опять угрозы и приманки – излюбленный метод Елизаветы.

Но ни угрозы, ни приманки уже не действуют на Марию Стюарт. Как всегда, обжигающее дыхание опасности только пришпоривает ее мужество, а вместе с ним растет и ее самообладание. Она не хочет требовать пересмотра вопроса о подлинности документов. Пусть с запозданием, она поняла, в какую попалась ловушку, и, возвращаясь к своей исходной позиции, отказывается вести переговоры со своими подданными

на равной ноге. Довольно ее королевского слова, оно еще должно перевесить все показания и документальные свидетельства врагов. Наотрез отказывается Мария Стюарт от предложенной сделки – ценой отречения купить себе милость судей, чьих правомочий она не признает. И, полная решимости, бросает она посредникам слова, верность которых докажет потом всей своей жизнью и смертью: «Ни слова о том, чтобы мне отказаться от своей короны! Чем согласиться, я предпочитаю умереть, но и последние слова мои будут словами королевы Шотландской».

Итак, запугать ее не удалось: половинчатым решениям Елизаветы противопоставила Мария Стюарт свое непреклонное решение. Опять Елизавета колеблется, и, невзирая на позицию, занятую подсудимой, суд не отваживается на гласный приговор. Елизавета, как всегда и как мы не раз еще увидим, отступает перед последствиями своих желаний. В результате приговор звучит не так сокрушительно, как предполагалось вначале, но со всей предательской двусмысленностью и низостью, свойственной процессу в целом. Десятого января торжественно выносится хромающее на обе ноги определение, гласящее, что в действиях Меррея и его сторонников не усмотрено ничего противного чести и долгу. Это – полное оправдание мятежа, поднятого лордами. Куда двусмысленнее звучит реабилитация Марии Стюарт: лордам якобы не удалось привести достаточно убедительных улик, чтобы изменить доброе мнение королевы о ее сестре. На первый взгляд это можно принять за реабилитацию подсудимой и за признание обвинения несостоятельным. Но отравленный наконечник стрелы засел в словах «bene sufficiently». Этим как бы намекается, что улики были тяжкие и многообразные, но им не хватало той «полноты», какая единственно могла бы убедить столь добросердечную королеву, как Елизавета. А больше Сесилу для его планов ничего и не нужно: над Марией Стюарт по-прежнему висит подозрение, найден достаточный предлог, чтобы держать беззащитную женщину под замком. На данное время победила Елизавета.

Но это пиррова победа. Ибо, пока Елизавета держит Марию Стюарт в заточении, в Англии существуют как бы две королевы, и доколе одна не умрет, в стране не будет мира. Беззаконие всегда родит беспокойство, и нет проку в том, что добыто хитростью. В тот день, когда Елизавета отняла у Марии Стюарт свободу, она и себя лишила свободы. Обращаясь с ней как с врагом, она и ей открывает дорогу для враждебных действий, преступив клятву, и ее благословляет на любое клятвопреступление, своей ложью оправдывает ее ложь. Годами будет Елизавета расплачиваться за

то, что ослушалась первого, естественного своего побуждения. Слишком поздно придет к ней признание, что великодушие в этом случае было бы и мудростью. Незаметно заглохла бы в песках жизнь Марии Стюарт, если бы Елизавета после дешевой церемонии прохладного приема отпустила ее из Англии! В самом деле, куда девалась бы та, что с презрением отпущена на все четыре стороны? Ни один судья, ни один поэт никогда бы уж за нее не заступился; с печатью зачумленной на лбу после всех происшедших с ней скандалов, униженная великодушием Елизаветы, она бесцельно кочевала бы от двора к двору; путь в Шотландию ей преграждал Меррей, во Франции и Испании не слишком обрадовались бы приезду беспокойной гостьи. Быть может, по пылкости нрава она запуталась бы в новых любовных приключениях, быть может, последовала бы за Босуэлом в Данию. Имя ее затерялось бы в веках или в лучшем случае называлось бы без большого уважения, как имя королевы, сочетавшейся браком с убийцею своего мужа. И от этой-то безвестной, жалкой доли спасла ее историческая несправедливость Елизаветы. Это Елизавета позаботилась о том, чтобы звезда Марии Стюарт воссияла в прежней славе, и, стараясь ее унизить, лишь возвысила, украсила низвергнутую мученическим венцом. Ни одно из ее собственных дел не превратило Марию Стюарт в такую легендарную фигуру, как причиненная ей несправедливость, и ничто не умалило в такой мере моральный престиж английской королевы, как то, что в решающий миг она упустила возможность проявить истинное великодушие.

19. Годы в тени (1569-1584)

Безнадежное занятие – рисовать пустоту, безуспешный труд – живописать однообразие. Заточение Марии Стюарт – это именно такое прозябание, унылая, беззвездная ночь. После того как ей вынесли приговор, горячий, размашистый ритм ее жизни надломился. Год за годом уходят, как в море волна за волной. То они всплещут чуть оживленнее, то снова ползут медлительно и вяло, но никогда уже не вскипит заветная глубина – ни полное счастье, ни страдание не даны одинокой. Лишенная событий и потому вдвойне бессмысленная, дремлет в полузабытьи эта когда-то столь жаркая судьба, мертвенным, медленным шагом проходят, уходят двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый год этой жадной до жизни женщины. А там потянулся и новый десяток, такой же унылый и пустой. Тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый год – устаешь выписывать эти числа. Между тем их должно называть год за годом, чтобы восчувствовать всю томительность, всю изнуряющую, разъедающую томительность этой душевной агонии, ибо каждый год – сотни дней, а каждый день – энное количество часов, и ни один не оживлен подлинным волнением и радостью. А потом ей минуло сорок, и та, для которой наступил этот поворотный год, уже не молодая, а усталая и больная женщина; медленно крадутся сорок первый, сорок второй и сорок третий, и наконец, если не люди, то сжалилась смерть и увела усталую душу из плена. Кое-что меняется за эти годы, но лишь по мелочам, по пустякам. То Мария Стюарт здорова, то больна, иногда ее посетит надежда – одна на сотню разочарований, то с ней обращаются хуже, то лучше, от Елизаветы приходят то гневные, то ласковые письма, но в целом это все то же томительное корректное однообразие, все те же стертые четки бесцветных часов, попусту скользящие меж пальцев. Внешне меняются тюрьмы, королеву содержат под стражей то в Болтоне, то в Четсуорте, в Шеффилде, Татбери, Уингфилде и Фотерингсе, однако разнятся лишь названия, разнятся камни и стены, все эти замки для нее как один, ибо все они скрывают от нее свободу. Со злобным постоянством вращаются вокруг этого тесного кружка по обширным, причудливым своим орбитам звезды, солнце и луна; ночь сменяется днем, тянутся месяцы и годы; рушатся империи и

восстают из праха, короли приходят и уходят, женщины созревают, родят детей и отцветают, за морями, за горами беспрерывно меняется мир. И только эта жизнь безнадежно глохнет в тени; отрезанная от корней и стебля, она больше не цветет и не плодоносит. Медленно иссушаемая ядом бессильной тоски, увядает молодость Марии Стюарт, проходит жизнь.

Однако, как ни странно это звучит, самым тяжелым в ее нескончаемом плену было то, что никогда он внешне не был особенно тяжел. Ибо грубому насилию противостоит гордый разум, из унижения он высекает ожесточение, душа растет в яростном протесте. И только перед пустотой она отступает, перед ее обескровливающим, разрушительным действием. Резиновую камеру, в стены которой нельзя барабанить кулаками, труднее вынести, чем каменное подземелье. Никакой бич, никакая брань так не жгут благородное сердце, как попрание свободы под низкие поклоны и подобострастное титулование. Нет насмешки, которая жалила бы сильнее, чем насмешка официальной учтивости. Но именно такое лживое уважение, не к страждущему человеку, а к его сану, становится мучительным уделом Марии Стюарт, именно эта подобострастная опека, прикрытый надзор, почетная стража (honourable custody), которая со шляпой в руке и раболепно опущенным взором следует за нею по пятам. Все эти годы тюремщики ни на минуту не забывают, что Мария Стюарт – королева, ей предоставляется всевозможный комфорт, всевозможные маленькие свободы, только не одно, священное, наиболее важное жизненное право – Свобода с большой буквы. Елизавета, ревниво оберегающая свой престиж гуманной властительницы, достаточно умна, чтобы не вымещать на сопернице былые обиды. О, она заботится о милой сестрице! Стоит Марии Стюарт заболеть, как из Лондона беспрестанно осведомляются о ее здоровье. Елизавета предлагает своего врача, она требует, чтобы пищу готовил кто-нибудь из личного штата Марии Стюарт: пусть хулители не ропщут под сурдинку, будто Елизавета пытается извести соперницу ядом, пусть не скулят, что она держит в заточении помазанницу божию: она только настойчиво – с неотразимой настойчивостью – упросила шотландскую сестрицу погостить подольше в чудесных английских поместьях! Разумеется, и проще и вернее было бы для Елизаветы запереть упрямицу в Тауэр, чем устраивать ей роскошную и расточительную жизнь по замкам. Но более искушенная в тонкой политике, чем ее министры, которые снова и снова рекомендуют ей эту грубую меру, Елизавета боится снискать одиозную славу ненавистницы. Она настаивает на

своем: надо содержать Марию Стюарт как королеву, но опутав ее шлейфом почтительности, сковав золотыми цепями. Скрепя сердце фанатически скаредная Елизавета готова в этом единственном случае на расходы: со вздохом и скрежетом зубовным выбрасывает она пятьдесят два фунта в неделю на свое непрошеное гостеприимство – и так все долгие двадцать лет. А поскольку Мария Стюарт вдобавок получает из Франции изрядный пенсион в тысячу двести фунтов ежегодно, то ей поистине голодать не приходится. Она может жить в английских замках вполне на княжескую ногу. Ей не возбраняется водрузить в своем приемном зале балдахин с королевской короной; каждый посетитель видите первого взгляда, что здесь живет королева, пусть и пленная. Ест она только на серебре, во всех покоях горят дорогие восковые свечи в серебряных канделябрах, полы устланы турецкими коврами – драгоценность по тому времени. У нее такая богатая утварь, что каждый раз, чтобы перевезти ее добро из одного замка в другой, требуются десятки возов четверней. Для личных услуг к Марии Стюарт приставлен целый рой статс-дам, горничных и камеристок: в лучшие времена ее окружает не менее пятидесяти человек, целый придворный штат в миниатюре – гофмейстеры, священники, врачи, секретари, казначеи, камердинеры, гардеробмейстеры, портные, обойщики, повара – штат, который скаредная хозяйка страны с отчаянной настойчивостью стремится сократить и за который ее пленница держится зубами.

Что никто не собирался гноить свергнутую монархиню в сумрачно романтическом подземелье, доказывает уже выбор человека, который должен был стать ее постоянным стражем. Джордж Толбот, граф Шрусбери, мог по праву называться дворянином и джентльменом. А до июня 1569 года, когда Елизавета остановила на нем свой выбор, его можно было считать и благополучным человеком. У него обширные владения в северных и средних графствах и девять собственных замков; как удельный князек, пребывает он в своих поместьях, вдали от шума истории, вдали от чинов и отличий. Чуждый политическому честолюбию, богатый вельможа, он живет своими интересами, довольный миром и собой. Борода его тронута серебром, он уже считает, что пора и на покой, как вдруг Елизавета взваливает на него пренеприятное поручение: охранять ее честолюбивую и ожесточенную многими неправдами соперницу. Его предшественник Ноллис вздохнул с облегчением, узнав, что Шрусбери должен сменить его на этом незавидном посту: «Как бог свят, лучше любое наказание, чем возиться с таким каверзным делом». Ибо почетное заточение, пресловутая «honourable

custody» представляет крайне неблагодарную задачу с весьма неясно, обозначенными границами и правами; неизбежная двойственность такого поручения обязывает к исключительному такту. С одной стороны, Мария Стюарт как будто королева, с другой стороны, как будто и нет; формально она гостья, а по сути узница. А отсюда следует, что Шрусбери, как внимательный и учтивый хозяин дома, должен всячески ей угождать и в то же время, в качестве доверенного лица Елизаветы, во всем ее ограничивать. Он поставлен над королевой, но разговаривать с ней может, лишь преклонив колено; он должен быть суров, но под личиной покорности, должен ублажать свою гостью и в то же время неусыпно ее сторожить. Трудность этой задачи еще усугубляется его женой, которая свела в могилу трех мужей и теперь досаждает четвертому вечными сплетнями и наговорами – ибо она интригует то за, то против Елизаветы, то за, то против Марии Стюарт. Нелегко этому славному человеку лавировать между тремя разъяренными фуриями, из которых одной он подвластен, с другой связан узами брака, а к третьей прикован незримыми, но нерасторжимыми цепями: в сущности, бедняга Шрусбери все эти пятнадцать лет не столько тюремщик Марии Стюарт, сколько собрат по несчастью, такой же узник, как она; над ним также тяготеет таинственное проклятие, заключающееся в том, что эта женщина приносит зло каждому, кого встречает на своем тернистом пути.

Как же проводит Мария Стюарт эти пустые, бессмысленные годы? Очень тихо и беззаботно на первый взгляд. Со стороны глядя, круг ее дневных занятий ничем не отличается от обихода других знатных дам, годами безвыездно проживающих в своих феодальных поместьях. Будучи здорова, она часто выезжает на свою любимую охоту, разумеется, в сопровождении все той же зловещей «почетной стражи», или старается игрою в мяч и другими физическими упражнениями восстановить бодрость и свежесть своего уже несколько утомленного тела. У нее нет недостатка в обществе, то и дело наезжают соседи из окрестных замков почтить интересную узницу, ибо – нельзя ни на минуту упускать это из виду – эта женщина, хоть и лишенная власти, все же по праву ближайшая наследница престола и, буде с Елизаветой – все мы в руце божьей – завтра что-нибудь случится, ее преемницей может оказаться Мария Стюарт. А потому все, кто поумней и подальновидней, и прежде всего ее постоянный страж Шрусбери, всячески стараются с ней ладить. Даже сердечные дружки Елизаветы, фавориты Хэтон и Лестер, предпочитают не сжигать кораблей и за спиной у своей покровительницы шлют

письма и приветы ее ярой ненавистнице и сопернице: кто знает, не придется ли уже завтра, преклонив колена, выпрашивать у нее королевских милостей. Хоть и запертая в своем сельском захолустье, Мария Стюарт знает все, что происходит как при дворе, так и во всем большом мире. А уж леди Шрусбери рассказывает ей и то, о чем бы ей лучше не знать, о многих интимных сторонах жизни Елизаветы. И отовсюду подземными путями приходят к узнице слова участия и одобрения. Словом, не как тесную, темную тюремную камеру надо себе представлять заточение Марии Стюарт, не как полное одиночество и оторванность от мира. Зимними вечерами в замке музицируют; правда, юные поэты не слагают ей больше нежных мадригалов, как во времена Шателяра, забыты и галантные «маски», которыми когда-то увлекались в Холируде; это нетерпеливое сердце уже не вмещает любви и страсти: вместе с юностью отходит пора увлечений. Из всех экзальтированных друзей она сохранила только маленького пажа Уильяма Дугласа, своего лохливенского спасителя, из всех приближенных мужчин – увы, среди них нет больше Босуэлов и Риччо – она чаще всего видится с врачом. Мария Стюарт теперь то и дело хворает, у нее ревматизм и какие-то странные боли в боку. Ноги у нее иногда так распухают, что это надолго пригвождает ее к креслу и она ищет исцеления на горячих водах; из-за недостатка живительных прогулок ее когда-то нежное, стройное тело постепенно становится тучным и дряблым. Очень редко находит она в себе силы для смелых эскапад в привычном ей когда-то духе: безвозвратно миновали времена бешеной скачки по шотландским полям и лугам, времена увеселительных поездок из замка в замок. Чем дольше тянется ее заточение, тем охотнее ищет узница утешения в домашних занятиях. Одетая в черное, как монахиня, она долгие часы просиживает за пяльцами и своими точеными, все еще красивыми белыми руками вышивает те чудесные златотканые узоры, образцами которых мы еще и сегодня любуемся, или же углубляется в свои любимые книги. Не сохранилось преданий ни об одном ее увлечении за без малого двадцать лет. С тех пор как скрытый жар ее души не может излиться на любимого человека – на Босуэла, он ищет выхода в более умеренной и ровной привязанности к существам, никогда не обманывающим – к животным. По просьбе Марии Стюарт ей доставляют из Франции самых умных и ласковых собак – спаниелей и легавых; она держит в комнате певчих птиц и возится с голубями, поливает цветы в саду и заботится о приближенных женщинах. Тот, кто знает ее лишь поверхностно, видит ее лишь наездами и не вникает глубоко, может и в самом деле вообразить, будто ее

неукротимое честолюбие, когда-то сотрясавшее мир, угасло, будто в ней утихли земные желания. Ибо часто – и с каждым годом все чаще – ходит эта понемногу стареющая женщина, окутанная реющим вдовьим покрывалом, к обедне, все чаще склоняется перед аналоем[*] в своей часовне и только очень редко заносит стихи в свой молитвенник или на чистый листок бумаги. И это уже не пламенные сонеты, а слова благочестивого смирения и меланхолической отрешенности:

Que suis je helas et quoy sert ma vie
J'en suis fors q'un corps prive de coeur
Un ombre vayn, un object de malheur
Qui n'a plus rien que de mourir en vie…

Чем стала я, зачем еще дышу?
Я тело без души, я тень былого.
Носимая по воле вихря злого,
У жизни только смерти я прошу.

Все больше укрепляется в таком наблюдателе впечатление, что многострадальная душа оставила попечение о мирской власти, что благочестиво и бестревожно ждет она одного – всепримиряющей смерти.

Но не будем обманываться: все это – лишь притворство и маска. На самом деле это пламенное сердце, эта гордая королева живет одной лишь мечтой – вновь вернуть себе свободу и власть. Ни на минуту не склоняется она к мысли покорно принять свой жребий. Все это посиживание за пяльцами, за книгами, мирные беседы и ленивые грезы наяву – лишь ширма для каждодневной кипучей деятельности – заговорщической. Неустанно, с первого дня своего заточения до последнего, плетет она заговоры и интриги, повсюду ее кабинет превращается в тайную политическую канцелярию, здесь день и ночь кипит работа. За запертыми дверьми в обществе двух секретарей Мария Стюарт собственноручно набрасывает секретные обращения к послам – французскому, испанскому, папскому, а также к своим приверженцам в Шотландии и Нидерландах, в то же время, осторожности ради, забрасывая Елизавету умоляющими, кроткими и возмущенными письмами, на которые та уже давно не отвечает. Неустанно под сотнею личин спешат ее посланцы в Париж, Мадрид и обратно, постоянно придумываются пароли, изобретаются шифровальные коды – ежемесячно новые, – регулярно работает настоявшая международная почта, связывая

ее с врагами Елизаветы. Все ее домочадцы – о чем Сесил прекрасно осведомлен, почему он и тщится сократить число ее оруженосцев, – представляют собой генеральный штаб, неустанно разрабатывающий все ту же операцию ее освобождения; все пять десятков ее слуг постоянно сносятся с окружающими деревнями, сами ходят в гости и принимают гостей, чтобы передавать и получать известия; все окружающее население под видом благостыни регулярно подкупается, и благодаря этой изощренной организации дипломатическая, эстафетная почта безотказно работает до самого Парижа и Рима. Письма провозятся контрабандой в белье, книгах, выдолбленных тростях, в крышках футляров с драгоценностями и даже за амальгамою зеркал. Для того чтобы перехитрить Шрусбери, изобретаются все новые уловки, расшиваются подошвы и в них закладываются послания, писанные симпатическими чернилами, или же изготовляются парики и в букли завертываются бумажные папильотки. В книгах, которые Мария Стюарт выписывает из Парижа, подчеркиваются по известной системе буквы, так что в целом получается связный текст, а бумаги первостепенного значения проносит в подоле сутаны ее духовник. Мария Стюарт, с юности возившаяся с тайнописью, искусно шифровавшая и расшифровывавшая письма, руководит всеми операциями, и эта увлекательная, азартная игра, путающая Елизавете карты, напрягает все душевные силы узницы, возмещая недостаток физических упражнений и других утех. Со свойственным ей пылким безрассудством отдается она заговорам и дипломатическим интригам, и в иные часы, когда новые посулы и предложения из Мадрида, Парижа или Рима все новыми окольными путями достигают ее кельи, эта униженная монархиня может и вправду вообразить себя силой, чуть ли не средоточием всеевропейских интересов. И-то, что Елизавета знает об этой угрозе и бессильна против такого упорства, то, что она, ее пленница, через головы надзирателей и стражей может руководить этой кампанией в тиши своей кельи и участвовать в решении судеб мира, пожалуй, единственная отрада, чудесно поддерживающая дух Марии Стюарт все эти долгие, беспросветные годы.

Удивления достойна эта непоколебимая энергия, эта скованная сила, и в то же время она потрясает нас своей тщетностью, ибо все, что бы Мария Стюарт ни придумала и ни предприняла, обречено на неудачу. Все эти многочисленные заговоры и комплоты, которые она плетет неустанно, заранее осуждены на поражение. Слишком неравны силы противников. Всегда слабее тот, кто борется в одиночку против целой

организаций. Мария Стюарт действует одна, в то время как за Елизаветой стоит все государство – канцлеры, советники, полицмейстеры, солдаты и шпионы, – не говоря уже о том, что из государственной канцелярий легче бороться, чем из тюремной камеры. У Сесила сколько угодно золота, сколько угодно средств обороны, он ничем не ограничен в своих действиях, тысячи глаз его тайных соглядатаев следят за одинокой неопытной женщиной. Полиция в те времена знала до мелочей чуть ли не все о каждом из трех миллионов граждан, составляющих население Англии; каждый чужеземец, высаживавшийся на английской земле, брался под надзор; в харчевни, тюрьмы, на прибывающие суда направлялись лазутчики, ко всем подозрительным лицам подсылались шпионы, а там, где эти полумеры оказывались недействительными, применялась самая действенная мера – пытка. И превосходство коллективной силы немедленно дает себя знать. Самоотверженные друзья Марии Стюарт один за другим попадают в темные казематы Тауэра, а там на дыбе у них исторгают полное признание и имена соучастников – и так, клещами палачей, в порошок размалывается заговор за заговором. А если Марии Стюарт порой удается переслать свои письма и предложения через одно из иностранных посольств, то сколько нужно бесконечных недель, чтобы письмо доползло до Рима или Мадрида, сколько недель, чтобы в государственных канцеляриях собрались ответить, и опять-таки сколько недель, чтобы ответ дошел до назначения! И как ничтожна в результате эта помощь, как оскорбительно холодна для горячего, нетерпеливого сердца, которое ждет армад и армий, спешащих на выручку! Да и разве не естественно одинокому пленнику, все дни и ночи занятому мыслями о своей судьбе, воображать, что все его друзья в далеком деятельном мире только и заняты его особой? Но тщетно старается Мария Стюарт представить свое освобождение неотложным делом всей контрреформации, первой и важнейшей спасательной акцией католической церкви: ее друзья только считают и жмутся и никак не могут между собой договориться. Армада не снаряжается в поход. Филипп II, главная опора Марии Стюарт, щедр на молитвы, но скуп на решения. Ему не улыбается вступить из-за пленницы в войну с сомнительным исходом, и он и папа отделываются тем, что посылают немного денег, чтобы было на что подкупить двух-трех искателей приключений для организации покушения или мятежа. Но как жалки эти попытки заговорщиков и как легко берут их на мушку неусыпные шпионы Уолсингема! Только несколько изувеченных, истерзанных трупов на лобном месте Тауэрхилла время от времени напоминают народу, что в уединенном замке все еще

томится в заточении женщина, упрямо притязающая на то, что она единственная правомочная королева Англии, и все еще находятся глупцы или герои, готовые за нее пострадать.

Что все эти заговоры и интриги в конце концов приведут Марию Стюарт к гибели, что она, как всегда опрометчивая, затеяла безнадежную игру, одна, из стен узилища, объявив войну могущественнейшей властительнице мира, – давно ясно каждому современнику. Уже в 1572 году, после крушения заговора Ридольфи, ее шурин, Карл IX заявил с досадой: «Эта дура несчастная до тех пор не успокоится, пока не свихнет себе шею. Она дождется, что ее казнят. А все по собственной глупости, я просто не вижу, чем тут помочь». Таково жестокое суждение человека, который в Варфоломеевскую ночь отважился лишь на то, чтобы из защищенного окна подстреливать безоружных беглецов, человека, который понятия не имел ни о каком героизме. И конечно же, с точки зрения расчетливой осторожности Мария Стюарт поступила неразумно, избрав не более удобный, хоть и трусливый путь капитуляции, а очевидную безнадежность. Быть может, своевременно отказавшись от своих династических прав, она купила бы себе этим свободу, быть может, все эти годы ключ от тюрьмы находился у нее в руках. Надо было лишь покориться, лишь торжественно и добровольно отказаться от всяких притязаний на шотландский, на английский престол, и Англия, облегченно вздохнув, отпустила бы ее на свободу. Не раз пыталась Елизавета – не из великодушия, а из страха, так как Обличающее присутствие опасной узницы преследовало ее кошмаром, – перебросить ей мостик для отступления; переговоры то и дело возобновлялись и на достаточно справедливых условиях. Но Мария Стюарт считала, что лучше быть коронованной узницей, чем отставной королевой, и в первые же дни заточения Ноллис правильно оценил ее, сказав, что у нее достаточно мужества, чтобы бороться, пока есть хоть капля надежды. Чувство истинного величия подсказывало ей, как презренна была бы куцая свобода отставной королевы где-нибудь в захолустье и что только унижение возвеличит ее в истории. В тысячу раз сильней, чем неволя, связывало ее данное слово, что никогда она не отречется и что самые последние ее слова будут словами королевы Шотландской.

Нелегко установить границу, отделяющую безрассудную храбрость от безрассудства, ведь героизму всегда присуще безумие. Санчо Панса превосходит Дон-Кихота житейской мудростью, а Терсит[64] с точки зрения ratio[*] головой выше Ахилла; но слова Гамлета о том, что стоит бороться и за былинку,

когда задета честь, во все времена останутся мерилом истинно героической натуры. Конечно, сопротивление Марии Стюарт при неизмеримом превосходстве сил противника вряд ли к чему-либо могло привести, а все же неверно называть его бессмысленным только потому, что оно оказалось безуспешным. Ибо все эти годы – и даже что ни год, то больше – эта, по-видимому, бессильная, одинокая женщина именно благодаря своему неукротимому задору представляет огромную силу, и только потому, что она потрясает цепями, порой сотрясается вся Англия, и сердце у Елизаветы уходит в пятки. Мы искажаем историческую перспективу, когда с удобной позиции потомков оцениваем события, принимая в расчет и результаты. Легче легкого задним числом осуждать побежденного, отважившегося на бессмысленную борьбу. На самом деле окончательное решение в единоборстве обеих женщин все эти двадцать лет колеблется на чаше весов. Некоторые из заговоров, ставившие себе целью вернуть Марии Стюарт корону, при известной удаче могли стоить Елизавете жизни, а два-три раза меч просвистел над самой ее головой. Сначала выступает Нортумберленд, собравший вокруг себя католическое дворянство; весь Север в огне, и лишь с трудом удается Елизавете овладеть положением. Затем следует еще более опасная интрига Норфолка. Лучшие представители английской знати, среди них ближайшие друзья Елизаветы, такие, как Лестер, поддерживают проект женитьбы Норфолка на шотландской королеве, которая, чтобы придать ему мужества – чего только не сделает она для победы! – пишет ему нежнейшие письма. Благодаря посредничеству флорентийца Ридольфи готовится высадка испанских и французских войск, и, если бы Норфолк, уже раньше своим трусливым отречением показавший, чего он стоит, не был тряпкой и если бы к тому же не помешали случайности фортуны – ветер, непогода, море и предательство, – дело приняло бы другой оборот, роли переменились бы и в Вестминстере восседала бы Мария Стюарт, а Елизавета томилась бы в подземелье Тауэра или лежала бы в гробу. Но и кровь Норфолка и жребий Нортумберленда, равно как и многих других, кто в эти годы сложил голову на плахе, не отпугивают последнего претендента: это дон Хуан Австрийский, внебрачный сын Карла V, сводный брат Филиппа II, победитель при Лепанто[65], идеальный рыцарь, первый воин христианского мира. Рожденный вне брака, он не может притязать на испанскую корону и стремится создать себе королевство в Тунисе, как вдруг ему представляется случай завладеть другой короной, шотландской, а вместе с ней и рукой державной узницы. Он вербует армию в Нидерландах, и освобождение, спасение уже близко, как вдруг –

не везет Марии Стюарт с ее помощниками! – коварная болезнь настигает его и уносит в безвременную могилу. Никому из тех, кто домогался руки Марии Стюарт или бескорыстно служил ей, никогда не сопутствовало счастье.

Ибо, говоря непредвзято и честно, к этому в конце концов и сводится спор между Елизаветой и Марией Стюарт: Елизавете все эти годы не изменяло счастье, а Марии Стюарт – несчастье. Если мерить их сила с силою, характер с характером, то они почти равны. Но у каждой своя звезда. Все, что бы Мария Стюарт, потерпевшая поражение, преданная счастьем, ни предпринимала из своего заточения, терпит крах. Флотилии, посылаемые против Англии, разносит в щепки буря, ее посланцы теряются в пути, искатели ее руки умирают, друзьям в решительную минуту изменяет мужество, каждый, кто стремится ей помочь, сам роет себе могилу.

Поражают справедливостью слова Норфолка, сказанные им на эшафоте: «Что бы она ни затевала и что бы для нее ни затевали другие, заранее обречено на неудачу». С самой встречи с Босуэлом ей изменило счастье. Тот, кто ее любит, обречен смерти, тот, кого любит она, пожнет одну горечь. Кто желает ей добра, приносит зло, кто ей служит, служит собственной гибели. Как черная магнитная гора в сказке притягивает корабли, так и ее судьба на пагубу людям притягивает чужие судьбы; вокруг Марии Стюарт постепенно складывается зловещая легенда – от нее будто бы исходит магия смерти. Но чем безнадежнее ее дело, тем неукротимее дух. Вместо того чтобы сломить, долгое сумрачное заточение лишь закалило ее сердце. И сама, по собственному почину, хоть и зная, что все напрасно, призывает она на свою голову неизбежную развязку.

20. Последний круг (1584-1585)

А годы идут и идут, недели, месяцы, годы, как облака, проносятся над этой неприкаянной головой, словно и не затрагивая ее. Но как ни незаметно, а время меняет человека и окружающий мир. Марии Стюарт пошел сороковой год – критический возраст для женщины, а она все еще узница, все еще томится в неволе. Незаметно подкрадывается старость, в волосах уже мелькает серебро, стройное тело расплывается, Тяжелеет, черты успокоились, в них сквозит зрелость матроны, на всем существе лежит печать уныния, которое охотно ищет выхода в религии. Скоро – женщина глубоко чувствует это – время любви, время жизни уйдет без возврата; что не сбылось до сих пор, не сбудется вовек, наступил вечер, близка темная ночь. Давно не появлялось новых искателей ее руки, должно быть, никто уж и не явится: еще немного – и жизнь навсегда миновала. Так стоит ли ждать и ждать чуда освобождения, помощи равнодушного, колеблющегося мира? Все сильней и сильней в эти закатные годы чувствуем мы, что страдалица пресытилась борьбой и склоняется к отречению и примирению. Все чаще выпадают минуты, когда она спрашивает себя: а не глупо ли зачахнуть без пользы, без любви, как выросший в тени цветок, не лучше ли дорогой ценой купить себе свободу, добровольно сняв корону с седеющей головы? На сороковом году все больше утомляет Марию Стюарт эта гнетущая, беспросветная жизнь, неукротимое властолюбие постепенно отпускает ее, уступая место кроткой, мистической воле к смерти. Должно быть, в один из таких часов она пишет на листке бумаги прочувствованные латинские строки – полужалобу, полумолитву:

O Domine Deus! speravi in Te
O care mi Jesu! nunc libera me.
In dura catena, in misera poena, desidero Te;
Languendo, gemendo et genu flectendo
Adoro, imploro, ut liberes me.

Мое упованье, Господь всеблагой!
Даруй мне свободу, будь кроток со мной.
Терзаясь в неволе, слабея от боли,
Я в мыслях с тобой.
Упав на колени, сквозь слезы и пени

Тебя о свободе молю, всеблагой.

Поскольку избавители мешкают и колеблются, взор ее обращается к Спасителю. Лучше умереть – лишь бы не эта пустота, эта неопределенность, это вечное ожидание, и надежда, и тоска, и неизбежные разочарования! Лишь бы конец – на радость или на горе, с победой или поражением! Борьба неудержимо близится к концу, потому что Мария Стюарт всем жаром своей души этот конец призывает.

Чем дольше тянется эта отчаянная, эта коварная и жестокая, эта величественная и упорная борьба, тем непримиримее стоят друг против друга обе застарелые противницы – Мария Стюарт и Елизавета. Политика Елизаветы приносит ей успех за успехом. С Францией у нее заключен мир. Испания все еще не отваживается на войну, над всеми недовольными одержала она верх. И только один враг, смертельно опасный враг, все еще живет безнаказанно у нее в стране, одна эта побежденная женщина. Лишь устранив последнего недруга, может она почувствовать себя подлинной победительницей. Да и у Марии Стюарт не осталось для ненависти иного объекта, нежели Елизавета. Снова в минуту предельного отчаяния обращается она к своей родственнице, к данной ей роком сестре, с неодолимой страстностью взывая к ее человечности. «Нет у меня больше сил страдать, – воплем, вырывается у нее в этом благородном послании, – и, умирая, я не могу не назвать тех, кто замыслил меня извести. Самых закоренелых злодеев в Ваших тюрьмах выслушивают, им называют имена их наветников и клеветников. Так почему же в этом отказывают мне, королеве. Вашей кузине и законной наследнице престола? Мне думается, что именно последнее обстоятельство и было до сей поры причиной лютости моих врагов… Но увы! У них нет больше необходимости меня мучить, ибо, честью клянусь, не нужно мне теперь иного царства, кроме царства небесного, в кое чувствую я себя готовой войти, ибо лишь в нем обрету конец тяготам моим и мучениям». В последний раз со всем жаром неподдельной искренности заклинает она Елизавету даровать ей все же свободу: «Честью и смертными муками Спасителя и Избавителя нашего заклинаю, смилосердствуйтесь, дозвольте мне оставить это государство и удалиться на покой куда-нибудь в укромное место; там усталое тело, изнуренное неизбывной печалью, обретет отдых, и ничто не помещает мне спокойно готовиться предстать Всевышнему, каждодневно призывающему меня к себе… Окажите мне эту

милость еще до моей кончины, и душа моя, ибо теперь распря меж нами устранена, не будет вынуждена, освободившись от земных уз, принести свои жалобы Творцу, указав на Вас как на виновницу зла, причиненного мне здесь, на земле». Но душераздирающий зов не тронул сердце Елизаветы, она остается нема, ни одного подбадривающего слова не находится у нее для страдалицы. И тогда Мария Стюарт стискивает зубы и кулаки. Отныне она знает одно только чувство – ледяную и пламенную, упорную и испепеляющую ненависть к этой женщине, и эта ненависть тем зорче и непримиримее нацелена именно на нее, единственную, что все ее другие враги и противники кончили земное существование, сами порешив друг друга. Как будто для того, чтобы таинственная магия смерти, исходящая от Марии Стюарт и поражающая всех, кто ее ненавидел или любил, проявилась со всей очевидностью, каждый, кто служил ей или враждовал с ней, кто боролся за или против нее, опередил ее и смерти. Все те, кто свидетельствовал против нее в Йорке – Меррей и Мэйтленд, – умерли насильственной смертью, все, кто призван был ее судить – Нортумберленд и Норфолк, – сложили голову на плахе; все, кто сначала умышлял против Дарнлея, а потом против Босуэла, убрали друг друга с дороги; предатели Керк о'Филда, Карберри и Лангсайда предали сами себя. Все эти своенравные шотландские бароны и графы – неистовая, опасная, честолюбивая свора – истребили друг друга! Поле битвы опустело. Не осталось никого на земле, кого бы ей должно было ненавидеть, кроме нее, Елизаветы. Великая борьба народов, ознаменовавшая два десятилетия, ныне свелась к единоборству. И в этом поединке женщины с женщиной не осталось места ни для каких переговоров. Это бой не на жизнь, а на смерть.

Для этого последнего боя, боя насмерть, Марии Стюарт нужно сделать последнее напряжение. Еще одной, последней надежды должна она лишиться. Еще один удар должна принять в самое больное место, чтобы потом собраться с силами для последнего рывка. Ибо всегда в Марии Стюарт, ее великолепное мужество, ее неукротимая отвага приходят в ту минуту, когда все потеряно или кажется потерянным. Всегда безысходность пробуждает в ней геройство.

Последняя надежда, которую ей предстоит утратить, – надежда договориться с сыном. Ибо за гнетущие пустые годы, когда решительно ничего не происходило, когда она только и делала, что ждала и слушала, как безостановочно бегут часы, словно песок, осыпающийся с полуразрушенной башни, за это нескончаемое время, которое так измотало и состарило ее, подросло дитя, ее кровный сын. Младенцем оставила она Иакова

VI, уезжая из Стирлинга, когда Босуэл со своими всадниками захватил ее перед Эдинбургскими воротами и увлек навстречу гибели; за эти десять, пятнадцать, семнадцать лет бессознательное существо успело стать ребенком, мальчиком, юношей, почти мужчиной. Иаков VI унаследовал немало черт своих родителей, хотя и в смешанной, стертой форме. Этот странноватый мальчик, с неловким, неповоротливым языком, неуклюжим, тяжеловесным телом и нерешительной, робкой душой, на первый взгляд производит впечатление не вполне нормального. Он избегает общества, трепещет при виде ножа, боится собак, груб и неловок в обращении. В нем незаметно ни изысканной грации, ни природного обаяния его матери, не выказывает он и артистических склонностей, ни музыка, ни танцы его не увлекают, не заметно в нем и таланта к легкой, непринужденной беседе. Зато у него способности к языкам и превосходная память, а там, где дело касается его личных интересов, он обнаруживает и ум и упорство. Роковым образом сказалась на его характере мелочная, низменная натура отца. Он, унаследовал от Дарнлея его нетвердую волю, его нечестность и ненадежность: «Чего ждать от такого двуречивого малого!» – как-то в сердцах сказала о нем Елизавета; подобно Дарнлею, он поддается любому влиянию. Сердцу этого черствого эгоиста неведомо благородство, все его поступки диктуются чисто внешним честолюбием, а его бесчувственное отношение к матери можно понять, только если отвлечься от представлений о сыновнем долге, сыновней преданности. Воспитанный заядлыми врагами Марии Стюарт, имея преподавателем латыни Джорджа Бьюкенена, человека, написавшего на нее пресловутый пасквиль «Detectio»[*], он, должно быть, только и слышал о пленнице, томящейся в заточении в соседней стране, что она помогла лишить жизни его отца, а теперь оспаривает право на престол у него самого, коронованного монарха. С раннего детства вдалбливают мальчику, что его мать, в сущности, чужая ему женщина, досадная помеха на пути его честолюбивых устремлений. И если в душе ребенка когда-либо жила мечта увидеть женщину, даровавшую ему жизнь, то английские и шотландские тюремщики зорко следили за тем, чтобы помешать малейшему сближению обоих пленников – Марии Стюарт, пленницы Елизаветы, и Иакова VI, пленника лордов и регента. Время от времени, всего несколько раз за много-много лет, обмениваются они письмами: Мария Стюарт посылает подарки, игрушки, а как-то даже забавную обезьянку, но и дары и письма обычно отвергаются, так как она упорно не признает за сыном прав на королевский титул, а лорды возвращают, как

оскорбительные, письма, где Иаков именуется просто принцем. Мать и сын так и не выходят за пределы чисто официальных, холодных отношений, у обоих властолюбие заглушает голос крови, ибо она хочет быть единодержавной королевой Шотландии, а он – единодержавным королем.

Какое-то сближение становится возможным, когда Мария Стюарт отказывается от своего непримиримого отношения к факту коронования ее сына лордами и выражает готовность признать за ним некоторые права на корону. Разумеется, она и теперь не намерена отречься от королевского титула, и жить и умереть она хочет миропомазанницей с венцом на челе, но, чтобы купить себе свободу, готова делить его с сыном. Впервые мелькает у нее мысль о компромиссе. Пусть сын правит и зовется королем, лишь бы и ей позволили именоваться королевой, лишь бы на ее отречение был наведен стыдливый глянец сусальной позолоты! Постепенно завязываются тайные переговоры. Однако Иаков VI, на которого давят лорды, ведет их как расчетливый игрок. Без зазрения совести торгуется он одновременно с обеими сторонами, ходит Марией Стюарт под Елизавету, а Елизаветой под Марию Стюарт и ставит попеременно на обе религии, готовый отдать предпочтение той стороне, которая дороже заплатит, ибо для него это не вопрос чести: ему важно остаться королем Шотландии и в то же время обеспечить себе право на английский престол; он хочет наследовать не одной, а обеим женщинам. Он не прочь остаться протестантом, поскольку это ему выгодно, но склоняется и к католицизму, буде там лучше заплатят; мало того, семнадцатилетний юноша, чтобы обеспечить себе английскую корону, не отступает и перед вовсе уж неблаговидной сделкой: он готов жениться на изрядно побитой молью Елизавете, даром что та на девять лет старше его матери и к тому же ее испытанная противница и соперница. Для Дарнлея-младшего эти переговоры – вопрос простого расчета, тогда как Мария Стюарт, все еще живущая иллюзиями и чуждая реальной жизни, пылает и трепещет, воодушевленная последней надеждой – путем соглашения с сыном вырваться на свободу и в то же время остаться королевой.

Но Елизавета сразу же бьет тревогу. Она боится, как бы мать с сыном не договорились. Не теряя ни минуты, вторгается она в еще неокрепшую пряжу переговоров. Циническое знание людей подсказывает ей, чем взять неустойчивого юношу: игрой на его человеческих слабостях. Она посылает молодому королю, помешанному на охоте, отборных лошадей и собак. Она подкупает его советников и предлагает ему самому ежегодный пенсион в пять тысяч фунтов, что при вечных недостатках у

шотландского двора само по себе является решающим доводом; кроме того, она пускает в ход испытанную приманку – английское престолонаследие. Как и обычно, дело решают деньги. В то время как ничего не подозревавшая Мария Стюарт продолжает дипломатическую игру на пустом месте, вкупе с папою и испанским королем строит воздушные замки насчет католической Шотландии, Иаков VI тишком подписывает договор с Елизаветой, где подробно изложено, что эта сделка принесет ему как в деньгах, так и в других благах, но где ни словом не упомянут, казалось бы, более чем уместный здесь пункт об освобождении его матери. Ни единой строчки о пленнице, совершенно ему безразличной, раз с нее больше ничего не возьмешь. Через голову матери, как будто ее и нет на свете, договаривается сын со злейшим ее врагом. Пусть женщина, даровавшая ему жизнь, теперь, когда от нее больше нечего ждать, оставит его в покое! Как только договор подписан и милый сынок разжился деньгами и собаками, он сразу же обрывает переговоры с матерью. Стоит ли церемониться с бессильной женщиной! По поручению его величества короля составляется строжайший рескрипт, где в грубо канцелярском тоне сообщается, что Мария Стюарт навсегда лишена титула и всех прав королевы Шотландской… Отняв у противницы державу, корону, власть и свободу, бездетная соперница отнимает у нее еще и последнее – сына. Наконец-то она окончательно отомщена.

Победа Елизаветы означает полный крах последних иллюзий Марии Стюарт. Вслед за мужем, вслед за братом, вслед за подданными от нее отвернулся сын, ее кровное дитя, и теперь она одна в целом мире. Ее разочарованию, ее возмущению нет границ. Отныне ей ни до кого дела нет. Ни с кем она больше считаться не будет! Раз сын от нее отрекся, что ж, и она отречется от сына. Раз он продал ее права на престол, она продаст его права. И она называет Иакова VI выродком, ослушником, неблагодарным, испорченным мальчишкой, она проклинает его и грозит, что по завещательному распоряжению лишит его не только шотландской короны, но и английских преемственных прав. Чем такому изменнику и еретику, пусть лучше престол Стюартов достанется чужому государю! С этим твердым решением она предлагает Филиппу II шотландские и английские преемственные права, если тот обещает бороться за ее освобождение и смирить Елизавету, убийцу всех ее надежд. Что ей теперь ее страна, ее сын! Лишь бы жить подольше, лишь бы вырваться на свободу и победить! Отныне она ничего не боится и самые отчаянные решения ей не страшны. Кто все потерял, тому больше нечего терять.

Годами в измученной, униженной женщине накапливались гнев и озлобление. Годами надеялась она, торговалась, интриговала, злоумышляла и искала возможностей договориться. Ныне мера ее терпения исполнилась. Точно вырвавшееся на волю пламя, вспыхнула подавленная ненависть к мучительнице, узурпаторше, палачихе. Уже не только как королева на королеву – как женщина на женщину бросается Мария Стюарт на Елизавету, словно норовя выцарапать ей глаза. Поводом служит ничтожный инцидент: графиня Шрусбери, злобная истеричка и интриганка, под горячую руку обвинила Марию Стюарт в том, что у той амуры с ее супругом. Глупая бабья сплетня, разумеется, и сама графиня ей не верила, но Елизавета, не пропускавшая случая повредить доброй славе своей соперницы, постаралась, чтобы эта скандальная история дошла до иностранных дворов, так же как в свое время она разослала всем иностранным государям пасквиль Бьюкенена вместе с «письмами из ларца». И тут Мария Стюарт взвилась на дыбы. Мало того что у нее отняли власть, свободу, последнюю надежду и сына, надо еще коварно запятнать ее честь! Ее, которая живет в затворничестве монахиней, не зная ни радостей, ни утех любви, хотят выставить на поругание, как блудодейку, покушающуюся на святость семейного очага! Ее раненая гордость восстает и требует удовлетворения, и графиня Шрусбери на коленях отрекается от своей бесчестной лжи. Однако Марии Стюарт совершенно точно известно, кто воспользовался этой ложью, чтобы смешать ее с грязью; она почуяла предательскую руку противницы и на удар, из-за угла нанесенный ее чести, отвечает открытым ударом. Давно уже грызет ее злобное нетерпение, давно хочется ей, как женщина женщине, высказать этой якобы девственной королеве, которая тщится слыть зерцалом добродетели, всю неприкрытую правду. И она пишет Елизавете письмо, будто бы затем, чтобы уведомить ее по дружбе, какую клевету и небывальщину распространяет графиня Шрусбери насчет ее частной жизни, на самом же деле чтобы бросить в лицо «милой сестрице», что уж ей-то никак не пристало разыгрывать непорочную и порочить других. В письме, дышащем лютой ненавистью, удар следует за ударом. Все слова жестокой правды, какие одна женщина может высказать другой, здесь высказываются вслух, все дурные черты Елизаветы высмеиваются ей в глаза, все ее женские секреты безжалостно выволакиваются на свет. Мария Стюарт сообщает Елизавете якобы «по дружбе», а на самом деле чтобы смертельно ее уязвить, что графиня Шрусбери говорит про нее, будто она так тщеславна и так высоко мнит о своей красоте, словно она сама царица

небесная. Она, мол, ненасытно жадна до лести и требует от своих потакателей, чтобы те постоянно ей кадили и превозносили ее до небес, сама же в припадке раздражения истязает своих придворных дам и горничных. Одной она будто бы сломала палец, другую, которая ей не угодила, прислуживая за столом, ударила ножом по руке. Но все это лишь скромные нападки по сравнению с ужасными разоблачениями из интимной жизни Елизаветы. Графиня Шрусбери, по словам Марии Стюарт, уверяет, будто на ляжке у Елизаветы гнойная язва – намек на сифилитическое наследие ее отца; она, мол, уже старуха и кончает носить крови, а все еще падка до мужчин. И не то чтобы она довольствовалась одним (графом Лестером), с которым спала несчетное число раз – «infinies foys», – она не пропускает ни одного случая потешить свою плоть и ни за что не откажется от своей свободы забавляться и получать удовольствие со все новыми и новыми любовниками – «jamais perdre la liberté de vous fayre d'amour et avoir vostre plésir toujours avecques nouveaulx amoureulx». Среди ночи пробирается она в спальни мужчин в одной рубашке и накидке, и эти приключения обходятся ей недешево. Мария Стюарт называет имена и приводит подробности. И, не щадя ненавистную, наносит ей жестокий удар в самое больное место. С насмешкой ставит она ей на вид (кстати, и Бен Джонсон открыто рассказывал об этом собутыльникам), что она, несомненно, не похожа на всех женщин, а потому глупости болтают все те, что притворно ждут ее предполагаемой свадьбы с герцогом Анжуйским, потому что этого быть не может. «Undubitablement vous n'estiez pas comme les autres femmes, et pour ce respect c'estoit follie à tous ceulx qu'affectoient vostre manage avec le duc d'Anjou, d'aultant qu'il ne se pourroit accomplir». Да пусть Елизавета знает, что ее ревниво оберегаемая тайна стала общим достоянием – тайна ее женского убожества, дозволяющего любострастие, но не подлинную страсть, извращенную игру, но не полное обладание, тайна, навсегда лишающая ее радостей королевского союза и материнства. Ни одна женщина на свете не говорила этой всесветной властительнице всю неприкрытую правду, как сказала эта узница из своего заточения: замороженная на двадцать лет ненависть, удушливый гнев и скованные силы вдруг берут свое – они вздыбливаются в яростном порыве, и удар разъяренной тигрицы метит в самое сердце мучительницы.

После такого неистового, дерзкого письма нечего и думать о примирении. Женщина, написавшая это письмо, и женщина, это письмо получившая, не могут больше дышать одним воздухом,

жить в одной стране. Hasta al cuchillo, как говорят испанцы, война не на жизнь, а на смерть, бой на ножах – единственное, что им остается. После двадцатилетних неустанных упорных козней и вражды всемирно-историческая борьба Марии Стюарт и Елизаветы наконец достигла высшего накала, поистине можно сказать, что дело дошло до ножа. Контрреформация исчерпала все свои дипломатические средства, а до военных еще не добралась. В Испании по-прежнему кропотливо и прилежно строят Армаду[66] – несмотря на сокровища Индии, у этого злополучного двора всегда не хватает денег, не хватает решимости. Почему бы, думает Филипп Благочестивый, – как и Джон Нокс, он видит в физическом уничтожении неверного дело, угодное небу, – почему бы не избрать более дешевый способ – подкупить двух-трех убийц, которые без долгих сборов уберут с дороги Елизавету, опору еретиков? Век Макиавелли и его последователей не страдает излишней щепетильностью, когда дело идет о власти, а ведь здесь противостоят решения неоглядной важности – вера против веры. Юг против Севера: один-единственный удар кинжалом, нацеленный в сердце Елизаветы, может освободить мир от ереси.

Стоит политическим страстям накалиться добела, как рушатся все моральные и правовые преграды, исчезает последняя оглядка на порядочность и честь, и даже убийство из-за угла выдается за жертвенное деяние. После отлучения Елизаветы в 1570 году, а в 1580 – Вильгельма Оранского[67] оба архисупостата католического мира объявлены вне закона, а с тех пор, как папа одобрил избиение шести тысяч человек, восславив Варфоломеевскую ночь как некое достохвальное деяние, каждому католику известно, что, устранив одного из этих заклятых врагов истинной веры, он совершит благородный подвиг. Достаточно смелого, верного удара кинжалом или меткого выстрела, как, выйдя из своего узилища, Мария Стюарт поднимется по ступенькам трона, и Англия с Шотландией объединятся в правой вере. Когда так многое поставлено на карту, недопустимо медлить и колебаться; без всякого зазрения испанское правительство ставит на повестку дня в качестве важнейшей своей политической задачи вероломное убийство Елизаветы; Мендоса, испанский посол, называет в депеше «убийство королевы» (killing the Queen) весьма желательной мерой; наместник Нидерландов герцог Альба полностью присоединяется к этому мнению, а властитель обоих миров Филипп II на докладной записке о предполагаемом убийстве Елизаветы пишет: «С нами бог!» Уже не на дипломатические комбинации и военные действия возлагаются надежды, а на клинок убийцы. И тут и там

не стесняются в средствах: в Мадриде убийство Елизаветы одобрено Тайным советом и на него получено согласие короля; в Лондоне Сесил, Уолсингем и Лестер тоже единодушны в том, что с Марией Стюарт надо покончить насильственным образом. Никакие обходы и лазейки больше невозможны, давно просроченный счет можно погасить только кровью. Вопрос лишь в том, кто поспеет первым – реформация или контрреформация, Лондон или Мадрид, Мария ли Стюарт устранит Елизавету, Елизавета ли Марию Стюарт.

21. Дело идет к концу (сентябрь 1585 – август 1586)

«Пора кончать!» – «The matter must come to an end!» – этой железной формулой, вырвавшейся в горячую минуту, министр Елизаветы выразил чувства всей страны. Ничто так не тяготит народ или человека, как долгая неуверенность. Убийство изувером-католиком второго вождя Реформации принца Оранского (в июне 1584 года) ясно показало Англии, кому предназначен следующий удар; заговор следует за заговором – пора наконец взяться за узницу, за эту опасную поджигательницу, которая сеет смуту и беспокойство! Пора «вырвать зло с корнем»! В сентябре 1584 года протестантские лорды и чиновная знать собираются чуть ли не поголовно и на торжественной «ассоциации» (association) «честью и присягой обязуются перед всевечным богом предать смерти всякого, кто примет участие в заговоре против Елизаветы», причем отвечать будет и «любой претендент, в чью пользу замышлялась измена». После чего парламент в «Акте о личной безопасности ее величества королевы» – «Act for the security of the Queens Royal Person» – облекает это соборное определение в форму закона. Над всяким, кто примет участие в покушении на королеву или же – сугубо важный пункт – хотя бы в принципе с ним согласится, отныне занесен топор палача. Кроме того, постановлено, что «лица, обвиняемые в соучастии в заговоре против королевы, подлежат суду двадцати четырех заседателей по назначению короны».

Итак, Марии Стюарт сделано двойное предупреждение. Во-первых, в том, что на будущее королевский сан уже не помешает привлечь ее к публичному суду; во-вторых, что даже в случае успеха покушение на Елизавету ничего ей не даст, а только неминуемо приведет ее на плаху. Это звучит как последний сигнал фанфары, призывающий непокорную крепость к сдаче. В случае дальнейших колебаний пощады не будет. Отныне всякой недоговоренности и лицемерию между Елизаветой и Марией Стюарт конец, повеяло резким, суровым ветром. Наступила полная ясность.

О том, что время льстивых писем и льстивого притворства миновало и что борьба, растянувшаяся на десятилетия, вступает – hasta al cuchillo – в свой последний круг, когда никакие поблажки уже невозможны, Мария Стюарт и сама может судить по крутым мерам, которые против нее принимаются. Настороженный

участившимися покушениями, английский двор решил прибрать Марию Стюарт к рукам, окончательно пресечь ее интриги и крамолу. Шрусбери, который в своем качестве джентльмена и большого вельможи был слишком снисходительным тюремщиком, «освобождается от должности»; слово «освобождается» – «released» – звучит здесь в прямом смысле, он и в самом деле на коленях благодарит Елизавету за то, что она после пятнадцатилетних мытарств дает ему вольную. Место его занимает фанатик-протестант Эмиас Паулет. Только теперь Мария Стюарт может с полным основанием говорить о «servitude» – рабской неволе, ибо вместо прежнего доброго стража ей назначили жестокого тюремщика.

Эмиас Паулет, твердокаменный пуританин, один из тех праведников, каких взыскует Библия, но Бог не приемлет, отнюдь не скрывает своих намерений превратить жизнь Марии Стюарт в сущий ад. С полным сознанием своего долга и даже с горделивой радостью берется он содержать свою узницу в строгости, лишить ее малейших послаблений. «Я не стану испрашивать снисхождения, – пишет он Елизавете, – если она тайными кознями вырвется из моих рук, ибо сие может произойти лишь при моем преступном попустительстве». С холодной и трезвой методичностью, как человек долга, берется он охранять и полностью обезвредить свою узницу, как будто это – дело его жизни, завещанное ему Господом Богом. Отныне в его непреклонной душе живет одно честолюбивое стремление – стать тюремщиком не за страх, а за совесть; никакой соблазн не смутит этого Катона[68]; ни разу у него не дрогнет сердце и набежавшая волна теплой человечности ни на миг не растопит его постную, ледяную мину. Для него бедная усталая женщина не государыня, чьи несчастья внушают уважение, но единственно черный ворог его королевы, за которым нужен глаз да глаз, ибо от него, как от антихриста правой веры, всего можно ожидать. В том, что здоровье ее расшатано и разбитые ревматизмом ноги делают ее тяжелой на подъем, он цинически усматривает «преимущество для стражей, ибо нечего бояться, что она от них сбежит». Методически, пункт за пунктом, сам не нарадуясь на свою добросовестность, выполняет он обязанности надзирателя и с аккуратностью чиновника ежевечерне заносит свои наблюдения в особую книгу. И если всемирной истории и знакомы более жестокие, более злобные и несправедливые тюремщики, чем этот архиправедник, то вряд ли найдется среди них другой такой, кто умел бы с подобным сладострастием превращать свои обязанности в источник чиновничьего восторга. Первым делом безжалостно засыпаются подземные каналы, которые все еще

время от времени связывали узницу с внешним миром. Пятьдесят солдат день и ночь, караулят подходы к замку; люди из ее свиты, до сих пор невозбранно навещавшие соседние деревушки и передававшие по цепочке письменные и устные весточки, тоже лишены свободы передвижения. Только с особого разрешения и под конвоем дозволено им оставлять замок; раздача милостыни окрестным беднякам, которой регулярно занималась сама Мария Стюарт, объявлена под запретом: проницательный Паулет с полным основанием заподозрил в этой благотворительности средство склонить бедных людей к выполнению крамольных поручений. Одна суровая мера следует за другой. Белье, книги, любые посылки тщательно просматриваются, все усиливающийся надзор удушает переписку. Оба секретаря Марии Стюарт, Нау и Керль, вынуждены сидеть по своим комнатам сложа руки. Им больше не приходится писать и расшифровывать письма; ни из Лондона, ни из Шотландии, ни из Мадрида или Рима не просачивается ни одна весточка; ни капли надежды не проникает в одиночество всеми покинутой женщины. А вскоре Паулет отнимет у нее и последнюю радость: ее шестнадцать лошадей оставлены в Шеффилде – прошло время выездов на охоту и прогулок верхом. В этот последний год ее жизненное пространство совсем сузилось; при Эмиасе Паулете заточение Марии Стюарт все больше напоминает (темное предчувствие!) одиночную камеру, гроб.

Радея о чести Елизаветы, мы должны были бы пожелать ей более снисходительного стража для ее сестры-королевы. Но, заботясь о своей безопасности – как нам ни досадно признать это, – она не могла сыскать более надежного стража, чем этот холодный кальвинист. Образцово выполняет Паулет возложенную на него задачу отрезать Марию Стюарт от всего мира. Проходит месяц, и она герметически закупорена, живет словно под стеклянным колпаком, ни одна весть, ни одно слово снаружи не проникает под своды ее тюрьмы. Елизавета может быть спокойна и радоваться на своего доброго служаку, и она в самом деле прочувственно благодарит Эмиаса Паулета за его рвение: «Если бы Вы знали, мой добрый Эмиас, как я признательна Вам за Ваше неослабное усердие и безошибочные действия, за Ваши разумные распоряжения и надежные меры при выполнении столь опасной и трудной задачи, это, наверно, облегчило бы Ваши заботы и порадовало Ваше сердце».

Однако, как ни странно, Сесил и Уолсингем, министры Елизаветы, не слишком благодарны дотошному Эмиасу Паулету («precise fellow») за его чрезмерное усердие. Полная изоляция

пленницы вопреки их ожиданиям путает их тайные планы. Много ли проку в том, что Мария Стюарт лишена возможности заниматься конспирацией. Паулет своим строгим режимом, в сущности, оберегает ее от ее собственной опрометчивости. Сесилу же и Уолсингему нужна не праведная Мария Стюарт, а неправедная. Им нужно, чтобы узница, в которой они склонны видеть источник постоянных волнений и заговоров в Англии, продолжала свою тайную игру и окончательно запуталась. Они считают, что «пора кончать», им нужен гласный суд над Марией Стюарт, нужен смертный приговор, нужна казнь. Им уже мало заточения. Для них не существует иной меры безопасности, как физическое уничтожение королевы Шотландской, а чтобы добиться этого, им нужно приложить не меньше усилий, стараясь заманить ее в инсценированный заговор, чем те, какие прилагает Паулет, стараясь оградить ее от всякой крамолы. Что им для этой цели требуется, – так это комплот против Елизаветы и явное, доказанное содействие Марии Стюарт преступному заговору.

Такой заговор против жизни Елизаветы сам по себе уже существует. Можно сказать, что он работает постоянно. Стараниями Филиппа II организован на континенте самый настоящий антианглийский заговорщицкий центр. В Париже сидит Морган, тайный агент и доверенный Марии Стюарт, и на испанские деньги неустанно интригует, затевая всякие рискованные махинации против Англии и Елизаветы. Здесь постоянно вербуется молодежь и через посредство французских и испанских послов завязываются тайные сношения между недовольным католическим дворянством в Англии и государственными канцеляриями контрреформации. Одного только Морган не знает, что Уолсингем, один из самых способных и ничем не брезгающих министров полиции всех времен, подослал к нему под видом фанатичных католиков нескольких своих шпионов и что как раз те курьеры, которые у Моргана на особо хорошем счету, подкуплены Уолсингемом и состоят у него на жалованье. Что бы ни предпринималось для Марии Стюарт, неизменно становится известным в Англии еще до того, как задуманные планы приводятся в исполнение. Так и в конце 1585 года английскому государственному кабинету становится известным – кровь последних заговорщиков еще обагряет эшафот, – что на жизнь Елизаветы снова готовится покушение. Уолсингем знает наперечет, знает поименно всех католических дворян в Англии, с которыми Морган ведет переговоры и кого он завербовал на сторону Марии Стюарт. Стоит ему взяться – и с помощью дыбы и пытки огнем он может своевременно раскрыть готовящийся заговор.

Однако методы этого рафинированного министра полиции куда изощреннее и глядит он куда дальше. Разумеется, он мог бы уже сейчас задушить заговор мановением руки. Но четвертовать нескольких зарвавшихся дворян или случайных авантюристов – какое это имеет политическое значение! Стоит ли срубить у гидры незатихающей крамолы пять-шесть голов, чтобы назавтра их выросло вдвое больше? Carthaginem esse delendam[*][69] – вот девиз Сесила и Уолсингема, они хотят «покончить» с самой Марией Стюарт, а поводом для этого должна послужить не наивная попытка освободить узницу, а разветвленный заговор в ее пользу, ставящий себе явно преступные цели. И вот вместо того, чтобы преждевременно, еще в зародыше раздавить так называемый заговор Бабингтона, Уолсингем прилагает все усилия, чтобы искусственно его укрепить: он удобряет его своей благосклонностью, подкармливает деньгами, поощряет мнимым небрежением. И только благодаря его искусству провокатора дилетантский комплот кучки захолустных дворян, направленный против Елизаветы, превращается в знаменитый заговор Уолсингема, ставящий себе целью устранение Марии Стюарт.

Но для законного убийства Марии Стюарт с помощью парламентского параграфа надо было соблюсти три условия. Во-первых, добиться от заговорщиков, чтобы они решили убить Елизавету и чтобы это их решение было вполне доказуемо. Во-вторых, подвигнуть их на то, чтобы они прямо и недвусмысленно сообщили его Марии Стюарт. В третьих – и это самое трудное – выманить у Марии Стюарт прямое и недвусмысленное одобрение преступного плана, и притом в письменной форме. Зачем убивать невиновную без достаточных улик? Это было бы не к чести Елизаветы. Лучше сделать ее виновной, лучше коварно сунуть ей в руку кинжал, которым она сама пронзит себе сердце.

Комплот английской государственной полиции против Марии Стюарт начинается с подлости; неожиданно меняется к лучшему ее тюремный режим. Уолсингему, конечно, не стоило труда убедить благочестивого пуританина Эмиаса Паулета, что куда целесообразнее вовлечь Марию Стюарт в заговор, чем оберегать ее от возможных соблазнов. Ибо Паулет внезапно меняет тактику в духе плана, придуманного главным штабом английской полиции. В один прекрасный день сей дотоле непреклонный цербер является к Марии Стюарт и чрезвычайно любезно докладывает ей, что из Татбери ее решено перевести в Чартли. Мария Стюарт, неспособная проникнуть в интриги своих врагов, не в силах скрыть свою искреннюю радость. Татбери – мрачная крепость, более напоминающая тюрьму, чем замок. Чартли же лежит не только в открытой, живописной местности, но и в

ближайшем соседстве – и сердце у Марии Стюарт бьется жарче при этой мысли – с поместьями дворян-католиков, с которыми она дружна и от которых может ждать помощи. Там ей вольнее будет выезжать на охоту и совершать прогулки верхом, там, может быть, удастся ей получить весточку из-за моря и хитростью и мужеством завоевать то, в чем теперь единственная ее цель, – свободу.

А как-то утром Марию Стюарт ждет необычайный сюрприз. Она глазам своим не верит. Словно, по мановению волшебной палочки, распалась темная власть Эмиаса Паулета. Пришло письмо, секретное, шифрованное письмо, первое после всех этих месяцев блокады. Какие же молодцы ее друзья, какие они сообразительные, расторопные, нашли-таки возможность обойти ее неусыпного стража! Она уже и не чаяла такой радости: не быть отрезанной от мира, снова чувствовать дружеский интерес, поддержку и участие, снова узнавать о планах и приготовлениях, которые предпринимаются для ее освобождения! Какой-то тайный инстинкт все же заставляет ее остерегаться, и она отвечает на письмо своего агента Моргана настойчивым предупреждением: «Смотрите не впутывайтесь во что-нибудь такое, что Вам могут потом поставить в вину. Вы и без того на подозрении, не усугубляйте же его». Но ее настороженность рассеивается, когда она узнает, какой ее друзья – на самом деле ее убийцы – изобрели остроумный способ беспрепятственно переправлять ей письма. Еженедельно из окрестной пивоварни доставляется на кухню королевы бочонок пива для слуг; по-видимому, ее друзьям удалось договориться с возницей, чтобы он опускал в наполненный бочонок закупоренную деревянную фляжку. В этот выдолбленный сосуд и прячут секретные письма, предназначенные для королевы. Связь работает безукоризненно, письма приходят и уходят с регулярностью почтовых отправлений. Отныне «славный малый» («the honest man»), как явствует из писем, еженедельно доставляет в замок бочонок с драгоценным содержимым, дворецкий Марии Стюарт выуживает флягу, а потом с новым вложением опять опускает в бочку. Бравый возница смеется в кулак, ему эта контрабанда приносит двойной барыш: там его щедро награждают иноземные друзья Марии Стюарт, а здесь дворецкий платит ему за пиво вдвое против обычной цены.

Одного только Мария Стюарт не подозревает, что бравый возница за свои темные услуги предъявляет счет еще и в третьем месте, ибо ему, помимо прочих работодателей, платит и английская полиция. И Эмиас Паулет, разумеется, посвящен во все махинации. Дело в том, что пивную почту изобрели не друзья

Марии Стюарт, а некий Гифорд, шпион Уолсингема, выдавший себя Моргану и французскому посланнику за доверенное лицо Марии Стюарт; у министра полиции, таким образом, огромное преимущество; регулярная крамольная переписка Марии Стюарт осуществляется под наблюдением ее политических врагов. Каждое письмо, адресованное Марии Стюарт или написанное ею, перехватывается Гифордом, которого Морган считает своим надежнейшим агентом; Томас Фелиппес, секретарь Уолсингема, сразу же расшифровывает письмо, снимает копию и, даже не дав ей просохнуть, тут же запечатывает и отправляет в Лондон. И только после этого письмо со всей поспешностью доставляется Марии Стюарт или во французское посольство, так что ни у кого из адресатов не возникает подозрения, и они продолжают переписываться.

Поистине чудовищная ситуация. Обе стороны радуются, что противник обманут. Мария Стюарт вздохнула всей грудью. Наконец-то она взяла верх над холодным, неприступным пуританином, который позволяет себе рыться в ее белье, кромсать подошвы ее башмаков, который сторожит каждый ее шаг и держит ее на привязи, как преступницу. Знал бы он, думает она с торжеством, что, невзирая на часовых, на все его крепкие затворы и хитрые выдумки, к ней еженедельно из Рима и Мадрида приходят важные письма, что ее агенты трудятся не покладая рук, что ей на выручку готовятся войска, флотилии, кинжалы! Порой она даже не дает себе труда скрыть радость, которая так и брызжет из ее глаз: Эмиас Паулет иронически отмечает в своих записях, что здоровье и настроение его пленницы заметно улучшилось с тех пор, как душа ее вновь вкусила яд надежды. Да, смеяться пристало больше честному Эмиасу, и нетрудно представить себе саркастическую улыбку на его холодных устах, когда он еженедельно наблюдает прибытие бравого возницы со свежей партией пива и следит, с каким проворством хлопотун-дворецкий скатывает бочонок в темный подвал, чтобы там, вдали от посторонних глаз, выловить драгоценную флягу. Ибо то, что сейчас будет читать Мария Стюарт, давно уже прочитано английскими полицейскими. В Лондоне Уолсингем и Сесил, посиживая в канцелярских креслах, изучают корреспонденцию Марии Стюарт, которая лежит перед ними в точных списках. Они убеждаются из этих писем, что Мария Стюарт предлагает завещать Филиппу II Испанскому свои царственные права на шотландскую корону и на английское престолонаследие, если он будет бороться за ее освобождение, – такое письмо, думают они с довольной ухмылкой, не худо будет показать Иакову VI, чтобы не

слишком горячился, когда за его матушку возьмутся. Они видят, что Мария Стюарт в письме, адресованном в Париж и писанном ее собственной нетерпеливой рукой, добивается высадки испанских войск: Что ж, и этот документик пригодится на процессе! Но самого важного, самого необходимого, чего они ждут и без чего никакой суд невозможен, они, увы, в письмах не находят, а именно, что Мария Стюарт изъявляет согласие на готовящееся покушение на жизнь Елизаветы. Вожделенного параграфа она еще не нарушила – для того, чтобы смертоносная машина процесса заработала, все еще не хватает крошечного винтика, каким явился бы «consent» – ясно выраженное согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. И чтобы добыть этот необходимый винтик, несравненный мастер своего дела Уолсингем засучив рукава берется за работу. Так возникает одна из самых невероятных, пусть и документально удостоверенных провокаций в мировой истории – мошеннический трюк Уолсингема, инсценировка, рассчитанная на то, чтобы запутать Марию Стюарт в сфабрикованное полицией преступление, так называемый заговор Бабингтона, на деле – заговор Уолсингема.

План Уолсингема был, по-видимому, мастерский план, за это говорит его успех. Но что в нем омерзительно донельзя и от чего даже сейчас, спустя столетия, нас пробирает дрожь гадливости, – это что Уолсингем для своих жульнических целей воспользовался самым святым человеческим чувством – доверчивостью юных романтических душ. Энтони Бабингтон, которого в Лондоне избрали орудием расправы над Марией Стюарт, достоин нашего восхищения и сочувствия, ибо лишь из самых благородных побуждений пожертвовал он жизнью и честью. Мелкопоместный дворянин из хорошей семьи, человек с достатком, он счастливо жил с женой и ребенком в своем поместье Личфилд близ Чартли – теперь мы понимаем, что заставило Уолсингема избрать замок Чартли для нового местожительства Марии Стюарт. Осведомители давно уже донесли своему шефу, что Бабингтон, ревностный католик, самоотверженный сторонник Марии Стюарт, не однажды помогал тайно переправлять ее письма, – ибо разве не священное право благородной юности проникаться жалостью и участием к трагической судьбе ближнего? Такой чистый сердцем идеалист, блаженный дурачок куда больше устраивает Уолсингема, нежели наемный шпион: ведь королева скорее такому поверит. Она знает: не из корысти этот честный и, может быть, слегка чудаковатый дворянин готов служить ей – и не по сердечной склонности. Предание, будто Бабингтон еще юным пажом увидел Марию Стюарт в доме графа Шрусбери и в нее

влюбился, надо отнести за счет романтического воображения биографов; очевидно, он никогда с Марией Стюарт не встречался и служил ей как бескорыстный рыцарь, как набожный католик, как энтузиаст, восхищенный опасными приключениями женщины, в которой он видел законную английскую королеву. Беззаботно, безрассудно и многословно, как это свойственно экспансивной юности, вербует он союзников среди друзей, и несколько дворян-католиков присоединяются к нему. В этом кругу энтузиастов, собирающихся для пылких бесед, выделяется фанатически настроенный священник Боллард и некий Сэвидж, бесстрашный головорез; в остальном это безобидные, желторотые дворянчики, начитавшиеся Плутарха и смутно грезящие о геройских подвигах. Однако вскоре среди этих честных мечтателей, появляются новые фигуры, куда более решительные, чем Бабингтон и его друзья, по крайней мере, они кажутся такими; в первую голову тот самый Гифорд, которого Елизавета за его услуги наградит впоследствии ежегодным пенсионом в сто фунтов. Этим молодцам представляется недостаточным освободить королеву-узницу. Очертя голову, с необыкновенной горячностью настаивают они на куда более опасном деянии – на убийстве Елизаветы, на устранении «узурпаторши».

Эти мужественные и безоглядно решительные друзья, конечно же, не кто иные, как полицейские наемники, агенты Уолсингема; бессовестный министр вкрапил их в кружок молодых идеалистов, не только чтобы своевременно разузнавать их планы, но прежде всего чтобы побудить фантазера Бабингтона зайти гораздо дальше, чем тот, в сущности, предполагал. Сам Бабингтон (все документы сходятся на этом) вначале замышлял только смелую вылазку – вместе с друзьями решительным ударом из Личфилда освободить Марию Стюарт из плена, воспользовавшись ее выездом на охоту или на прогулку; меньше всего эти политически экзальтированные, но гуманные по натуре люди помышляли о таком бесчеловечном поступке, как убийство.

Уолсингему, однако, мало похищения Марии Стюарт, оно еще не даст ему основания для приведения в действие нового параграфа. Ему для его темных целей нужно нечто большее – нужен заговор, настоящий заговор цареубийц. И он заставляет своих ловкачей, своих agents provocateurs[*] бить и бить в одну точку, покуда Бабингтон с друзьями не сдается на их науськивания: они готовы подумать и о столь необходимом Уолсингему убийстве Елизаветы. Испанский посол, тесно связанный с заговорщиками, двенадцатого мая докладывает Филиппу II радостную весть; четыре дворянина-католика из лучших семейств, имеющих доступ ко двору, поклялись на

распятии извести государыню ядом или кинжалом. Из чего можно заключить, что agents provocateurs поработали на славу. Наконец-то инсценированный Уолсингемом заговор полностью пущен в ход.

Но этим решена лишь первая часть задачи, которую ставил себе Уолсингем. Удавка укреплена только с одного конца, надо закрепить ее и с другого. Заговор против жизни Елизаветы составлен, но на очереди еще более сложная задача – втянуть в него Марию Стюарт, выманить у пленницы, ничего не знающей о зароившейся вокруг нее интриге, согласие по всей форме, «consent». И Уолсингем снова свистит своих ищеек. Он отправляет нарочных в Париж и в Мадрид к Моргану, генеральному уполномоченному Филиппа II и Марии Стюарт, в постоянно действующий католический конспиративный центр – жаловаться на Бабингтона и компанию, будто бы те недостаточно рьяно берутся за дело. Они-де не спешат с убийством, таких ротозеев и слюнтяев свет не видывал. Не мешало бы пришпорить этих нерадивых и малодушных, подвигнуть их на выполнение священной задачи. Сделать это могла бы только Мария Стюарт, обратившись к ним с воодушевляющим словом. Достаточно Бабингтону увериться, что его высокочтимая королева одобряет убийство, как он от слов перейдет к делу. Для успешного выполнения великого замысла, по уверениям ищеек, нужно, чтобы Морган склонил Марию Стюарт написать Бабингтону несколько воспламеняющих слов.

Морган колеблется. Можно подумать, что в минуту внезапного просветления он разгадал игру Уолсингема. Однако ищейки твердят свое: речь будто бы идет лишь о ничего не значащем обращении. Наконец Морган уступает, но, чтобы обеспечить себя от случайностей, он сам набрасывает для Марии Стюарт текст ее письма Бабингтону. И королева, всецело доверяющая своему агенту, слово в слово переписывает этот текст.

Итак, необходимая Уолсингему связь между Марией Стюарт и заговорщиками установлена. Некоторое время еще соблюдается осторожность, к которой призывал Морган, – первое письмо Марии Стюарт к юным прозелитам написано с большой теплотой, однако в самой общей и ни к чему не обязывающей форме. Уолсингему, однако, нужна неосторожность, нужны ясные признания и неприкрытое согласие, «consent», на задуманное убийство. И по его знаку агенты опять берутся за заговорщиков. Гифорд внушает злосчастному Бабингтону, что, поскольку Мария Стюарт так великодушно им доверилась, его прямой долг – с таким же доверием посвятить ее в свои планы. В столь опасном

начинании, как покушение на Елизавету, нельзя действовать без согласия Марии Стюарт: ведь у них есть полная возможность без всякого риска через того же бравого возницу снестись с узницей, условиться с ней обо всем и получить указания. Блаженный дурачок Бабингтон, более отважный, чем рассудительный, очертя голову ринулся в эту ловушку. Он отправляет своей très chère souveraine[*] пространное послание, где во всех подробностях рассказывает о своих планах. Пусть бедняжка порадуется, пусть узнает наперед, что час ее освобождения близок. С таким доверием, как будто ангелы незримыми путями перенесут его слова Марии Стюарт, и не подозревая, что сыщики и шпионы кровожадно сторожат каждое его слово, излагает несчастный глупец в пространном письме весь план готовящейся операции. Он сообщает, что сам с десятком молодых дворян и сотней подручных предпримет смелый набег на Чартли и увезет ее, а в то же время шестеро дворян, все надежные и верные друзья, преданные делу католицизма, совершат в Лондоне покушение на «узурпаторшу». Написанное с безрассудной прямотой послание говорит о пламенной решимости и о полном понимании угрожающей заговорщикам опасности – его нельзя читать без глубокого волнения. Только холодное сердце, только зачерствелая душа могла бы оставить такое признание без ответа и одобрения во имя трусливой осторожности.

Но именно на горячности сердца, на не раз испытанной опрометчивости Марии Стюарт и строит свои расчеты Уолсингем. Если кровавый замысел Бабингтона не вызовет у нее возражений, значит, он у цели, значит, Мария Стюарт избавила его от лишних хлопот: не придется подсылать к ней тайных убийц. Она сама себе надела петлю на шею.

Роковое письмо отослано, шпион Гифорд срочно доставил его в государственную канцелярию, где его тщательно расшифровали и сняли копию. Внешне никем не тронутое, оно затем проделывает свой обычный путь в пивной бочке. Десятого июля оно уже в руках у Марии Стюарт – и с не меньшим, чем она, волнением, два человека в Лондоне ждут, ответит ли она и что ответит, – Сесил и Уолсингем, вдохновители и коноводы этого заговора тайных убийц. Наступил момент наивысшего напряжения, та трепетная секунда, когда рыбка уже дергает за наживку. Проглотит она ее? Или ускользнет? Минута и в самом деле жестокая, а все же: мы можем порицать или, наоборот, хвалить политические методы Сесила и Уолсингема – неважно. Сколь ни гнусны средства, к которым прибегает Сесил, чтобы погубить Марию Стюарт, он государственный деятель и, так или

иначе, служит идее: для него устранение заклятого врага протестантизма – насущная политическая необходимость. Что касается Уолсингема, то трудно требовать от министра полиции, чтобы он отказался от шпионажа и придерживался исключительно добропорядочных методов работы.

Ну а Елизавета? Знает ли та, что всю жизнь, при любом своем решении со страхом оглядывалась на суд потомства, что здесь, за кулисами, сооружена такая адская машина, которая во сто крат коварнее и опаснее всякого эшафота? Совершают ли ее ближайшие советники свои подлые махинации с ее ведома и одобрения? Какую роль – неизбежный вопрос – играла английская королева в подлом заговоре против своей соперницы?

Ответ напрашивается сам собой: двойную роль. У нас, правда, имеются все доказательства того, что Елизавета была в курсе происков Уолсингема, что с первой же минуты и до самого конца она шаг за шагом, пункт за пунктом терпела, одобряла, а возможно, и поощряла провокаторские махинации Сесила и Уолсингема; никогда суд истории не простит ей, что она видела все это и даже помогала коварно завлечь в ловушку доверенную ей узницу. И все же – приходится снова и снова повторять это – Елизавета не была бы Елизаветой, если бы ее поступки всегда были однозначны и прямолинейны. Способная на любую ложь, на любое предательство, эта самая примечательная из женщин отнюдь не была лишена совести, и никогда она прямолинейно не чуждалась благородных побуждений. Неизменно в критические минуты находит на нее великодушный стих. Вот и на сей раз ее мучит совесть, что она прибегает к таким грязным методам, и в то самое время, как ее помощники оплетают Марию Стюарт своими сетями, она делает неожиданный ход в пользу обреченной жертвы. Она призывает к себе французского посланника, который руководит пересылкой писем из Чартли и обратно, не подозревая, что пользуется услугами платных клевретов Уолсингема. «Господин посланник, – заявляет она ему без экивоков. – Вы очень часто сноситесь с королевой Шотландской. Но, поверьте, я знаю все, что происходит в моем государстве. Я сама была узницей в то время, когда моя сестра уже сидела на троне, и мне хорошо известно, на какие хитрости пускаются узники, чтобы подкупать слуг и входить в тайные сношения с внешним миром». Этими словами Елизавета как бы успокоила свою совесть. Ясно и вразумительно остерегла она французского посла и Марию Стюарт. Она сказала столько, сколько могла сказать, не выдавая своих слуг. И если Мария Стюарт и теперь не прекратит своих тайных сношений, то она, во всяком случае, может спокойно умыть руки: я остерегала ее еще и в последнюю минуту.

Однако и Мария Стюарт не была бы Марией Стюарт, если бы она слушалась добрых советов, если бы она хоть когда-либо действовала осторожно и расчетливо. Правда, получение письма Бабингтона она поначалу подтверждает всего одной строчкой; по словам глубоко разочарованного посланца Сесила, она еще не открыла своего истинного отношения «her very heart» к плану убийства. Она медлит, колеблется, не смея довериться незнакомым людям, а тут еще ее секретарь Нау настойчиво советует ей воздержаться от письменных сообщений на столь опасную тему. Но этот план так много обещает, этот зов так соблазнителен, что Мария Стюарт не в силах отказаться от своей роковой страсти к дипломатической игре и интригам. «Elle s'est laissée aller à l'accepter»[*], – пишет Нау в тревоге. Три дня подряд сидит она, запершись с обоими секретарями. Нау и Керлем, в своем кабинете и подробно, по пунктам, отвечает на каждое предложение. Семнадцатого июня, вскоре по получении письма Бабингтона, ее ответ готов и отсылается, как всегда, в пивном бочонке.

Но на сей раз злосчастное письмо далеко не уходит. Оно даже не следует обычным путем в Лондон, в государственную канцелярию, где расшифровывается тайная переписка Марии Стюарт. В своем нетерпении узнать результаты Сесил и Уолсингем откомандировали Фелиппеса, своего шифровальщика, прямехонько в Чартли, чтобы он тут же, на месте, так сказать, по горячим следам, познакомился с ответом. Волею судеб Мария Стюарт, выехав на прогулку в своей коляске, неожиданно встречает этого вестника смерти. Ей сразу же бросается в глаза незнакомец. Но поскольку этот безобразный, конопатый малый (таким она описывает его в одном письме) с тихой улыбочкой ей поклонился – ему, как видно, не удается скрыть свое злорадство, – отуманенной надеждами Марии Стюарт приходит в голову, что человек этот пробрался сюда, чтобы по поручению ее друзей произвести рекогносцировку местности для предстоящего побега. На самом деле Фелиппес здесь для более зловещей рекогносцировки. Как только письмо вынуто из бочонка, он жадно на него набрасывается. Рыбка поймана, надо поскорее ее выпотрошить. Усердно разбирает он слово за словом. Сначала идут вступительные общие фразы. Мария Стюарт благодарит Бабингтона и, касаясь предполагаемого побега из Чартли, выдвигает три встречных предложения. Собственно, неплохая пожива для шпиона, но не это главное, решающее. И тут сердце Фелиппеса замирает от злобной радости: он дошел до места, где черным по белому стоит «consent» – то самое согласие, за

которым Уолсингем охотится и которого домогается уже много месяцев, – согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. Ибо на сообщение Бабингтона, что шесть молодых дворян берутся заколоть Елизавету в ее дворце, Мария Стюарт спокойно и деловито отвечает следующим указанием: «Пусть тех шестерых дворян пошлют на это дело и позаботятся, чтобы, как только оно будет сделано, меня отсюда вызволили… еще до того, как весть о случившемся дойдет до моего стража». Больше ничего и не требовалось. Этим Мария Стюарт выдала «her very heart» – свое истинное отношение, она одобрила цареубийство, и, стало быть, полицейский заговор Уолсингема достиг своей цели. Главари и их подручные, господа и слуги в восторге жмут друг другу грязные руки, которые вскоре обагрятся кровью. «Теперь у Вас довольно ее бумаг», – с торжеством пишет своему хозяину его креатура Фелиппес. Да и Эмиас Паулет в предвидении, что казнь жертвы вскоре освободит его от должности тюремщика, молитвенно воздевает руки. «Бог благословил мои труды, – пишет он, – я радуюсь, что он так наградил мою верную службу».

Теперь, когда райскую птицу загнали в силок, Уолсингему, казалось бы, нечего мешкать. Его план удался, свое подлое дельце он обстряпал; но он так уверен в победе, что может себе позволить гнусную радость денек-другой поиграть своими жертвами. Он не препятствует Бабингтону получить письмо. Марии Стюарт (кстати, копию с него сняли); не вредно бы, думает Уолсингем, перехватить и ответ, это пополнит мое досье. А между тем Бабингтон по какому-то признаку догадался, что чей-то недобрый глаз проник в его тайну. Внезапно отчаянный страх овладевает храбрецом, ибо даже у самого мужественного человека сдают нервы, когда он чувствует себя во власти темной, непостижимой силы. Точно затравленная крыса, мечется он туда-сюда. Нанимает лошадь и уезжает в провинцию, намереваясь бежать. Потом вдруг возвращается в Лондон и является – невольно вспомнишь Достоевского – как раз к тому человеку, который играет его судьбой, к Уолсингему, – необъяснимое и все же вполне объяснимое бегство обезумевшего человека в объятия злейшего врага. Очевидно, он хочет выведать, имеются ли на его счет какие-нибудь подозрения. Холодный, равнодушный министр полиции ничем себя не выдает, спокойно отпускает он беглеца: пусть дурак еще в чем-нибудь попадется. Однако Бабингтон уже чувствует протянутые к нему в темноте руки. Второпях пишет он Другу записку и находит, чтобы придать себе мужества, подлинно героические слова: «Уже готова огненная пещь, где нашу веру подвергнут испытанию». Одновременно в прощальном письме он успокаивает Марию Стюарт, просит ее не терять мужества. Но у

министра уже довольно улик, и он решительно захлопывает ловушку. Схвачен один из заговорщиков, и Бабингтон, узнав это, понимает, что все потеряно. Он предлагает своему другу Сэведжу последний безумный шаг – немедля идти во дворец и заколоть Елизавету. Но уже поздно, сыщики Уолсингема преследуют их по пятам, и только благодаря отчаянной решимости беглецам удается ускользнуть в ту самую минуту, когда их пришли арестовать. Бежать, но куда? На всех дорогах стоят заставы, во всех портах усиленный дозор, а у них ни денег, ни еды. Десять дней прячутся они в роще Сент-Джорджа – теперь она в сердце Лондона, а в то время была его окраиной, – десять дней ужаса и безысходного отчаяния. Немилосердно терзает их голод; наконец полное изнеможение гонит их к дому друга, и здесь им не отказывают в хлебе – последнем причастии, – но подоспевшие полицейские забирают их и в оковах ведут через весь город. В темном каземате Тауэра дожидаются пыток и приговора отважные юные энтузиасты, а над их головами по всему Лондону уже трезвонят колокола, торжествуя победу. Потешными огнями, пальбой и праздничными шествиями ознаменовывают лондонцы спасение Елизаветы, раскрытие заговора и гибель Марии Стюарт.

А между тем ничего не подозревающая узница замка Чартли после Многих лет неизбывной тоски снова познает часы радостного возбуждения. Каждый нерв у нее напряжен. В любую минуту может примчаться всадник с вестью, что тот «desseing effectué»[*] – не нынче завтра ее, узницу, повезут в Лондон, в величественный замок; ей уже представляется в мечтах, как вся знать и горожане в пышных одеждах ждут ее у городских ворот, как ликующе звонят колокола. (Несчастной и невдомек, что на лондонских колокольнях и в самом деле звонят и гудят колокола, славя спасение Елизаветы.) Еще день-другой – и все будет завершено. Англия и Шотландия объединятся под ее скипетром, и католическая вера будет возвращена всему миру.

Ни один врач не знает такого живительного снадобья для усталого тела, для поникшей души, как надежда. С тех пор как Мария Стюарт, по-прежнему увлекающаяся, по-прежнему легковерная, мнит себя на пороге победы, она совершенно преобразилась. Какая-то новая бодрость, какая-то вторая молодость вдруг вселилась в нее, и та, что последние годы постоянно изнывала от слабости, жаловалась на колотье в боку, на утомление и ревматические боли, снова с легкостью вскакивает в седло. Сама дивясь этому неожиданному обновлению, она пишет Моргану (в то время как над заговором уже занесена коса): «Благодарение Богу, он еще не слишком меня

обездолил, я и сейчас достаточно владею арбалетом, чтобы сразить оленя, и поспеваю на коне за гончими».

Поэтому как радостную неожиданность воспринимает она приглашение всегда такого неприветливого Эмиаса Паулета – этот олух пуританин и не подозревает, думает она, как близок конец его палаческой карьеры, – отправиться восьмого августа на охоту в соседний замок, Тиксолл. Выезжает целой кавалькадой: ее гофмаршал, оба секретаря, ее врач – все сели на коней, а тут и Эмиас Паулет с несколькими офицерами стражи (сегодня он не в пример обычному доступен и общителен) присоединяются к веселой компании. Утро чудесное, теплое и сияющее, поля зеленеют ранними сочными всходами. Мария Стюарт шпорит коня, эта скачка и свист ветра в ушах рождают у нее благодатное ощущение жизни и свободы. Уже много недель, много месяцев не была она так молода, ни разу за все угрюмые годы не чувствовала себя такой веселой и бодрой, как в это чудесное утро. Все кажется ей прекрасным и легким; блажен тот, чье сердце окрылено надеждой.

Перед воротами Тиксоллского парка бешеный аллюр меняется, лошади переходят на размеренную рысь. И вдруг у Марии Стюарт горячо забилось сердце. Перед калиткой замка ждет большая группа всадников. Неужели – о благодатное утро! – это и в самом деле Бабингтон с товарищами? Неужто тайные обетования письма сбудутся до срока? Но странно: только один из ожидающих всадников отделяется от остальных, медленно и с необычной торжественностью подъезжает он, снимает шляпу и кланяется: сэр Томас Джордж. И в следующую секунду Мария Стюарт чувствует, как сердце, только что бившееся у самого горла, проваливается куда-то в пустоту. Ибо сэр Томас Джордж сообщает ей в немногих словах, что заговор Бабингтона открыт и ему поручено арестовать обоих ее секретарей.

Мария Стюарт не в силах ничего ответить. Любое «да», любое «нет», любой вопрос, любая жалоба могут ее выдать. Она еще, пожалуй, не угадывает всей опасности, но страшное подозрение охватывает ее, когда она видит, что Эмиас Паулет отнюдь не собирается везти ее обратно в Чартли. Только теперь понимает она, что означало это приглашение на охоту: ее решили выманить из дому, чтобы беспрепятственно произвести у нее обыск. Конечно же, у нее перерыли и пересмотрели все бумаги, конфисковали всю дипломатическую канцелярию, которой она руководила так открыто, с таким чувством суверенной безопасности, как если бы она все еще была властительницей, а не узницей в чужой стране. А впрочем, у нее будет достаточно, сверхдостаточно времени продумать все свои ошибки и

упущения, ибо на семнадцать дней ее задерживают в Тиксолле, где она не может ни написать, ни получить ни единой строчки. Все ее тайны, она это знает, выданы, все надежды растоптаны. Опять она спустилась на ступеньку ниже – она уже не в плену, а на скамье подсудимых.

Мария Стюарт неузнаваема, когда семнадцать дней спустя возвращается в Чартли. Это уже не та женщина, которая с дротиком в руке во главе своих верных мчалась во весь опор на взмыленном коне; медленно, в молчании, окруженная суровой стражей и врагами, въезжает она в ворота замка, усталая, обескураженная, постаревшая, отринув всякую надежду. Действительно ли она встревожилась, увидев, что все ее сундуки и шкафы вскрыты, а бумаги и письма исчезли без следа? Удивлена ли, что поредевшая кучка слуг встречает ее слезами отчаяния? Нет, она знает: все миновало, все прошло. И вдруг маленький эпизод окрашивает ей первые часы тупой безнадежности. Внизу, в людской, стонет женщина в родовых муках: это супруга Керля, ее преданного секретаря, которого уволокли в Лондон, чтобы он свидетельствовал против своей госпожи на ее погибель. Бедная женщина лежит одна, без помощи врача и священника. И королева из братского сочувствия женщине и несчастной спешит вниз, чтобы оказать помощь лежащей в муках, и, за отсутствием священника, сама совершает над ребенком обряд крещения, даруя ему первое христианское напутствие при вступлении в мир.

Еще несколько дней проводит Мария Стюарт в ненавистном ей замке, а там приходит распоряжение перевести ее в другой, где ее ждет еще более надежное, еще более глухое затворничество. Фотерингей зовется тот замок. Из многих замков, где Мария Стюарт побывала как гостья и как узница, в королевском величии и рабском унижении, этот замок последний. Странствие ее приходит к концу, скоро беспокойная узнает покой.

А между тем эта безысходная трагедия кажется нам лишь благостным страданием по сравнению с жестокими муками, на которые обречены в те дни злосчастные молодые дворяне, положившие жизнь за Марию Стюарт. Но так уж повелось, что мировая история пишется с несправедливых, асоциальных позиций, ибо почти всегда она показывает горести властителей, торжество и падение сильных мира. Равнодушно проходит она мимо тех, кто прозябает во мраке, как будто пытки и истязания не так же терзают одно живое тело, как и другое. Бабингтон и его девять товарищей – кто вспомнит, кто назовет сегодня их имена,

меж тем как судьба королевы Шотландской увековечена на бесчисленных подмостках, в книгах и картинах! – испытывают в течение трех часов страшной пытки больше физических страданий, чем Мария Стюарт изведала за все двадцать лет своих несчастий. По закону им, правда, полагалась лишь смерть на виселице, но зачинщики заговора считают это недостаточным для тех, кто поддался их науськиваниям. Вкупе с Сесилом и Уолсингемом сама Елизавета решает – еще одно темное пятно на ее совести, – что казнь Бабингтона и его товарищей должна с помощью особенно изощренной пытки превратиться в тысячекратную смерть. Шестерых из этих юных, глубоко верующих энтузиастов – и среди них двух подростков, виноватых лишь в том, что они вынесли своему другу Бабингтону два-три ломтя хлеба, когда он, находясь в бегах, постучался точно нищий, у их ворот, – сперва для вящей законности вешают на минутку и тут же еще живыми вынимают из петли, чтобы вся дьявольская жестокость этого варварского века могла излиться на их трепетную, несказанно страждущую плоть. С чудовищной методичностью приступают палачи к своей омерзительной работе. И так неспешно, так жестоко кромсают эти мясники тела своих трепетных жертв, что даже у подонков лондонской черни сдают нервы, и власти на другой день вынуждены сократить программу мучительств. Еще раз волны ужаса и крови захлестывают эшафот – а все ради этой женщины, которой дана была магическая, роковая власть, погибая, вовлекать в свою погибель все новые молодые жизни. Еще раз – но уже в последний! Великая пляска смерти, начавшаяся с Шателяра, приходит к концу. Никто больше не явится, чтобы положить жизнь за ее мечту о власти и величии. Она сама теперь падет жертвой.

22. Елизавета против Елизаветы (август 1586 – февраль 1587)

Итак, цель достигнута: Марию Стюарт загнали в ловушку, она дала «согласие», она преступила закон. Елизавете, в сущности, не о чем больше хлопотать: за нее решает, за нее действует правосудие. Борьба, растянувшаяся на четверть столетия, пришла к концу. Елизавета победила, она могла бы торжествовать вместе с народом, который с радостными кликами валит по улицам, празднуя избавление своей монархини от смертельной опасности и победу протестантизма. Но неизменно к чаше ликования примешивается таинственная горечь. Именно теперь, когда Елизавете остается довершить начатое, у нее дрожит рука. В тысячу раз легче было заманивать неосторожную жертву в западню, чем убить ее, вконец запутавшуюся, беспомощную. Пожелай Елизавета насильственно избавиться от неудобной пленницы, ей сотни раз представлялся случай сделать это незаметно. Тому уже пятнадцать лет, как парламент потребовал, чтобы Марии Стюарт топором было сделано последнее внушение, а Джон Нокс на смертном одре заклинал Елизавету: «Если не срубите дерево под самый корень, оно опять пустит ростки, и притом скорее, чем можно предположить». И неизменно она отвечала, что «не может убить птицу, прилетевшую к ней искать защиты от коршуна». Но теперь у нее нет иного выбора, как между помилованием и смертью; постоянно отодвигаемое, но неизбежное решение подступило к ней вплотную. Елизавете страшно, она знает, какими неизмеримо важными последствиями чреват произнесенный ею смертный приговор. Нам сегодня, пожалуй, невозможно представить себе революционную значимость этого решения, которое должно было потрясти до основания по-прежнему незыблемую в то время иерархию мира. Отправить на эшафот помазанницу божию значило показать все еще покорствующим народам Европы, что и монарх подлежит суду и казни, развеять миф о неприкосновенности его особы. От решения Елизаветы зависела не столько судьба смертного, сколько судьба идеи. На сотни лет вперед создан здесь прецедент – остережение всем земным царям о том, что венчанная на царство голова уже однажды скатилась с плеч на эшафоте. Казнь Карла I, правнука Стюартов, была бы невозможна без ссылки на этот прецедент, как невозможна была бы участь Людовика XVI и Марии-Антуанетты[70] без казни Карла I. Своим ясным взглядом, своим глубоким чувством ответственности в делах человеческих

Елизавета угадывает всю бесповоротность своего решения, она колеблется, она трепещет, она уклоняется, она медлит и откладывает со дня на день. Снова – и куда Ожесточеннее, чем раньше, – спорят в ней разум и чувство. Елизавета спорит с Елизаветой. А зрелище человека, борющегося со своей совестью, всегда особенно нас потрясает.

Угнетенная этой дилеммой, в разладе с собой, Елизавета пытается в последний раз уклониться от неизбежного. Она уже не раз отталкивала от себя решение, а оно все вновь возвращалось к ней в руки. И в этот последний час она опять пытается снять с себя ответственность, взвалить ее на плечи противницы. Она пишет узнице письмо (до нас не дошедшее), где предлагает ей принести чистосердечную повинную, как королева королеве, открыто сознаться в своем участии в заговоре, отдаться на ее личную волю, а не на приговор гласного суда.

Предложение Елизаветы – и в самом деле единственный возможный выход. Только оно могло бы еще избавить Марию Стюарт от унизительного публичного допроса, от судебного приговора и казни. Для Елизаветы же это вернейшая гарантия, какую она могла бы пожелать; заполучив в свои руки признание противницы, написанное ею самой, она могла бы держать неудобную претендентку в своего рода моральном плену. Марии Стюарт оставалось бы только мирно доживать где-нибудь в безвестности, обезоруженной своим признанием, меж тем как Елизавета пребывала бы в зените и сиянии нерушимой славы. Роли были бы тем самым окончательно распределены, Елизавета и Мария Стюарт стояли бы в истории не рядом, и не одна против другой – нет, виновная лежала бы во прахе перед своей милостивицей, спасенная от смерти – перед своей избавительницей.

Но Марии Стюарт уже не нужно спасение. Гордость всегда была ее вернейшей опорой, скорее она преклонит колени перед плахой, чем перед благодетельницей, лучше будет лгать, чем повинится, лучше погибнет, чем унизится. И Мария Стюарт гордо молчит на это предложение, которым ее хотят одновременно спасти и унизить. Она знает, что как повелительница она проиграла; только одно на земле еще в ее власти – доказать неправоту своей противницы Елизаветы. И так как при жизни она уже бессильна ей чем-нибудь досадить, то она хватается за последнюю возможность – представить Елизавету перед всем миром жестокосердной тиранкой, посрамить ее своей славной кончиной.

Мария Стюарт оттолкнула протянутую руку; Елизавета, на которую наседают Сесил и Уолсингем, вынуждена стать на путь, который, в сущности, ей ненавистен. Чтобы придать предстоящему суду видимость законности, сначала созываются юристы короны, а юристы короны почти всегда выносят решение, угодное предержащему венценосцу. Усердно ищут они в истории прецедентов – бывали ля когда случаи, чтобы королей судили обычным судом, дабы обвинительный акт не слишком явно противоречил традиции, не представлял собой некоего новшества. С трудом удается наскрести несколько жалких примеров: тут и Кайетан, незначительный тетрарх[71] времен Цезаря, и столь же мало кому известный Лициний, деверь Константина, и, наконец, Конрадин фон Гогенштауфен, а также Иоанна Неаполитанская[72] – вот и весь перечень князей, которых, по сохранившимся сведениям, когда-либо казнили по приговору суда. В своем низкопоклонническом усердии юристы идут еще дальше: не к чему, говорят они, беспокоить для Марии Стюарт высший дворянский суд; поскольку «преступление» шотландской королевы совершено в Стаффордшире, по их авторитетному суждению, достаточно, чтобы подсудимая предстала перед обычным, гражданским судом жюри графства. Но судопроизводство на столь демократической основе отнюдь не устраивает Елизавету, Ей важна проформа, она хочет, чтобы внучка Тюдоров и дочь Стюартов была казнена, как подобает особе королевского ранга, со всеми регалиями и почестями, с надлежащею пышностью и помпой, со всем благолепием и благоговением, положенным государыне, а не по приговору каких-то мужланов и лавочников. В гневе напускается она на перестаравшихся судейских: «Поистине хорош был бы суд для принцессы! Нет, чтобы пресечь подобные нелепые разговоры (как вынесение вердикта королеве двенадцатью горожанами), я считаю нужным передать столь важное дело на рассмотрение достаточного числа знатнейших дворян и судей нашего королевства. Ибо мы, государыни, подвизаемся на подмостках мира, на виду у всего мира». Она требует для Марии Стюарт королевского суда, королевской казни и королевского погребения и сзывает высокий суд из самых прославленных и знатных мужей нации.

Но Мария Стюарт не выказывает ни малейшей склонности явиться на допрос или на суд подданных своей сестры-королевы, хотя бы в их жилах текла самая голубая кровь Англии. «Что такое? – набрасывается она на эмиссара, которого допустила в свою комнату, не сделав, однако, ни шага к нему навстречу. – Или ваша госпожа не знает, что я рождена королевой? Неужто она

думает, что я посрамлю свой сан, свое государство, славный род, от коего происхожу, сына, который мне наследует, всех королей и иноземных властителей, чьи права будут унижены в моем лице, согласившись на такое предложение? Нет! Никогда! Пусть горе согнуло меня – сердце у меня не гнется, оно не потерпит унижения».

Но таков закон: ни в счастье, ни в несчастье не меняется существенно характер человека. Мария Стюарт, как всегда, верна своим достоинствам, верна и своим ошибкам. Неизменно в критические минуты она проявляет душевное величие, но слишком беспечна, чтобы сохранить первоначальную твердость и не поддаться упорному нажиму. Как и в Йоркском процессе, она в конце концов под давлением отступает от позиций державного суверенитета и выпускает из рук единственное оружие, которого страшится ее противница. После долгой, упорной борьбы она соглашается дать объяснения посланцам Елизаветы.

Четырнадцатого августа парадный зал в замке Фотерингей являет торжественное зрелище. В глубине зала возвышается тронный балдахин над пышным креслом, которое в течение всех этих трагических часов должно оставаться пустым. Пустое кресло, немой свидетель, как бы символизирует, что здесь, на этом суде, невидимо председательствует Елизавета, королева Английская, и что приговор будет вынесен сообразно ее воле и от ее имени. Направо и налево от возвышения расселись соответственно своему рангу все многочисленные члены суда; посреди помещения стоит стол для генерального прокурора, следственного судьи, судейских чиновников и писцов.

В зал, опираясь на руку гофмейстера, входит Мария Стюарт, как и всегда в эти годы, одетая во все черное. Войдя, она окидывает взглядом собрание и бросает презрительно: «Столько сведущих законников, и ни одного для меня!» После чего направляется к указанному ей креслу, стоящему шагах в пяти от балдахина, на несколько ступенек ниже пустого кресла. Этой тактической деталью намеренно подчеркнуто так называемое overlordship, сюзеренное престолонаследие Англии, неизменно оспариваемое Шотландией. Но и на краю могилы протестует Мария Стюарт против подобного умаления своих прав. «Я королева, – заявляет она так, чтобы все слышали и восчувствовали, – я была супругой французского короля, и мне надлежит сидеть выше».

Начинается суд. Так же, как в Йорке и Вестминстере, это инсценировка процесса, на которой попираются самые элементарные понятия законности. Снова главных свидетелей –

тогда это были слуги Босуэла, теперь Бабингтон с товарищами – с более чем странной поспешностью казнят еще до процесса, и только их письменные показания, исторгнутые пыткой, лежат на судейском столе. И опять-таки, в нарушение процессуального права, даже те документальные улики, которые должны послужить основанием для обвинения, почему-то представлены не в оригиналах, а в списках. С полным правом набрасывается Мария Стюарт на Уолсингема: «Как могу я быть уверена, что мои письма не подделаны для того, чтобы было основание меня казнить?» Юридически здесь слабое место обвинения, и будь у Марии Стюарт защитник, ему ничего бы не стоило опротестовать столь явное попрание ее прав. Но Мария Стюарт борется в одиночку и, не зная английских законов, незнакомая с материалами обвинения, она роковым образом совершает ту же ошибку, которую в свое время совершила в Йорке и Вестминстере. Она не довольствуется тем, что оспаривает отдельные и вправду сомнительные пункты, нет, она отрицает все en bloc, оспаривает даже самое бесспорное. Сначала она заявляет, будто и не слыхала ни о каком Бабингтоне, но уже на следующий день под тяжестью улик вынуждена признать то, что раньше, оспаривала. Этим она подрывает свой моральный престиж, и когда в последнюю минуту она возвращается к своему исходному положению, заявляя, что как королева вправе требовать, чтобы верили ее королевскому слову, это уже никого не убеждает. Напрасно она взывает: «Я прибыла в эту страну, доверившись дружбе и слову королевы Английской, и вот, милорды, – сняв с руки перстень, она показывает его судьям, – вот знак благоволения и защиты, полученный мной от вашей королевы». Однако судьи не тщатся отстаивать вечное и безусловное право, а лишь свою повелительницу; они хотят мира в своей стране. Приговор давно предрешен, и когда двадцать восьмого октября судьи собираются в вестминстерской Звездной палате[73], только у одного из них – лорда Зуча – хватает мужества заявить, что его отнюдь не убедили в том, что Мария Стюарт злоумышляла против королевы Английской. Этим он лишает приговор его лучшего украшения – единодушия, но зато все остальные покорно признают вину подсудимой. И тогда садится писец и старательной вязью выводит на клочке пергамента, что «названная Мария Стюарт, притязающая на корону сего, английского государства, неоднократно измышляла сама и одобрила измышленные другими планы, ставящие себе целью извести или убить священную особу нашей владычицы, королевы Английской». Карой же за такое преступление – парламент заранее позаботился об этом – является смерть.

Отправить правосудие и вынести приговор было делом собравшихся дворян. Они признали вину обвиняемой и потребовали ее смерти. Но Елизавете, как королеве, присвоено еще и другое право, возвышающееся над земным, – высокое и священное, человечное и великодушное право помилования, невзирая на признанную вину. Единственно от ее воли зависит отменить смертный приговор; итак, ненавистное решение снова возвращается к ней, к ней одной. От него не скроешься, не убежишь. Снова Елизавета противостоит Елизавете. И подобно тому, как в античной трагедии справа и слева от терзаемого совестью человека хоры сменяют друг друга в строфе и антистрофе, так в ушах ее звучат голоса, доносящиеся извне и изнутри, призывая одни – к жестокости, другие – к милосердию. Над ними же стоит судья наших земных деяний – история, неизменно хранящая молчание о живых и только по завершении их земного пути взвешивающая перед потомками дела умерших.

Голоса справа, безжалостные и явственные, неизменно твердят: смерть, смерть, смерть. Государственный канцлер, коронный совет, близкие друзья, лорды и горожане, весь народ видят одну только возможность добиться мира в стране и спокойствия для королевы – обезглавить Марию Стюарт. Парламент подает торжественную петицию: «Во имя религии, нами исповедуемой, во имя безопасности священной особы королевы и блага государства всеподданнейше просим скорейшего распоряжения Вашего Величества о том, чтобы огласили приговор, вынесенный королеве Шотландской, а также требуем, поелику это единственное известное нам средство обеспечить безопасность Вашего Величества, справедливой неотложной казни названной королевы».

Елизавете только на руку эти домогательства. Ведь она рвется доказать миру, что не она преследует Марию Стюарт, а что английский народ настаивает на приведении в исполнение смертного приговора. И чем громче, чем слышнее на расстоянии, чем очевиднее поднявшийся гомон, тем для нее лучше. Ей представляется возможность исполнить «на подмостках мира» выигрышную арию добра и человечности, и, как опытная и умелая актриса, она использует эту возможность сполна. С волнением выслушала она красноречивое увещание парламента; смиренно благодарит она бога, ниспославшего ей спасение; после чего она возвышает голос и, словно обращаясь куда-то в пространство, ко всему миру и к истории, снимает с себя всякую вину в участи, постигшей Марию Стюарт. «Хоть жизнь моя и подверглась жестокой опасности, больше всего, признаюсь, меня

огорчило, что особа моего пола, равная мне по сану и рождению, к тому же близкая мне родственница, виновна в столь тяжких преступлениях. И так далека была от меня всякая злоба, что я сразу же, как раскрылись преступные против меня замыслы, тайно ей написала, что, если она доверится мне в письме и принесет чистосердечную повинную, все будет улажено келейно, без шума. Я писала это отнюдь не с тем, чтобы заманить ее в ловушку, – в то время мне было уже известно все, в чем она могла бы предо мной повиниться. Но даже и теперь, когда дело зашло так далеко, я охотно простила бы ее, если б она принесла полную повинность и никто бы от ее имени не стал больше предъявлять ко мне никаких претензий; от этого зависит не только моя жизнь, но и безопасность и благополучие моего государства. Ибо только ради вас и ради моего народа дорожу я еще жизнью». Открыто признается она, что немало колебаний вселяет в нее страх перед судом истории. «Ведь мы, государи, стоим как бы на подмостках, не защищенные от взглядов и любопытства всего мира. Малейшее пятнышко на нашем одеянии бросается в глаза, малейший изъян в наших делах сразу же заметен, и нам должно особенно пристально следить за тем, чтобы наши поступки всегда были честны и справедливы». Поэтому она просит парламент запастись терпением, если она еще помедлит с ответом, «ибо таков уж мой нрав – долго обдумывать дела, даже куда менее важные, прежде чем прийти наконец к окончательному решению».

Честное это заявление или нет? И то и другое вместе; в Елизавете борются два желания: она и рада бы избавиться от своей противницы и в то же время хотела бы предстать перед миром в ореоле великодушия и всепрощения. Спустя двенадцать дней она снова обращается к лорду-канцлеру с запросом, нет ли возможности сохранить жизнь Марии Стюарт и вместе с тем гарантировать ее, Елизаветы, личную безопасность. И снова заверяет коронный совет, заверяет парламент, что иного выхода нет, по-прежнему стоят они на своем. И тогда слово опять берет Елизавета. Какая-то нотка правдивости и внутренней убежденности звучит на этот раз в ее признаниях. Чем-то настоящим, проникновенным веет от ее слов: «Я сегодня в большем затруднении, чем когда-либо, так как не знаю, говорить или молчать. Говорить и жаловаться было бы с моей стороны лицемерием, молчать – значило бы не отдать должного вашему рвению. Вас, разумеется, удивит мое недовольство, но, признаться, я лелеяла надежду, что будет найден какой-то иной выход для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и мое благополучие… Поскольку же установлено, что мою безопасность

нельзя обеспечить иначе, как ценой ее жизни, мне бесконечно грустно, ибо я, оказавшая милость стольким мятежникам, молчаливо прошедшая мимо стольких предательств, должна выказать жестокость в отношении столь великой государыни…» Чувствуется, что она уже склонна дать себя уговорить, если на нее будут наседать и дальше. Но с присущими ей умом и двусмысленностью она не связывает себя никакими «да» или «нет», а заключает свою речь следующими словами; «Прошу вас, удовольствуйтесь на сей раз этим ответом без ответа. Я не оспариваю вашего мнения, мне понятны ваши доводы, я только прошу вас: примите мою благодарность, простите мне мои тайные сомнения и не обижайтесь на этот мой ответ без ответа».

Голоса справа прозвучали. Грозно и явственно произнесли они: смерть, смерть, смерть. Но и голоса слева, голоса с той стороны, где сердце, становятся все красноречивее. Французский король шлет за море чрезвычайное посольство с увещанием помнить об общих интересах всех королей. Он напоминает Елизавете, что, оберегая неприкосновенность Марии Стюарт, она ограждает и свою неприкосновенность, что высший завет мудрого и благополучного правления в том, чтобы не проливать крови. Он напоминает о священном для каждого народа долге гостеприимства – пусть же Елизавета не погрешит против господа, подняв руку на его помазанницу. И так как Елизавета с обычным лукавством отделывается полуобещаниями и туманными отговорками, тон иноземных послов становится все резче. То, что раньше было просьбой, перерастает во властное предостережение, в открытую угрозу. Но, умудренная знанием света, понаторевшая за двадцать пять лет правления во всех уловках политики, Елизавета обладает безошибочным слухом. Во всей этой патетической словесности она старается уловить одно: принесли ли послы в складках своей тоги полномочия прервать дипломатические отношения и объявить войну? И очень скоро убеждается, что за громогласными, крикливыми речами не слышно звона железа и что ни Генрих III, ни Филипп II серьезно не намерены обнажить меч, если топор палача снесет голову Марии Стюарт.

Равнодушным пожатием плеч отвечает она на дипломатические громы Франции и Испании. Куда больше искусства, разумеется, нужно, чтобы отвести другие упреки – упреки Шотландии. Кто-кто, а Иаков VI должен бы воспрепятствовать казни королевы Шотландской в чужой стране, это его священная обязанность: ведь кровь, которая прольется, – его собственная кровь, а женщина, которая будет предана смерти,

– мать, даровавшая ему жизнь. Однако сыновняя привязанность занимает не слишком много места в сердце Иакова VI. С тех пор как он стал нахлебником и союзником Елизаветы, мать, отказавшая ему в королевском титуле, торжественно от него отрекшаяся и даже пытавшаяся передать его наследные права чужеземным королям, – эта мать только стоит у него на дороге. Едва услыхав о раскрытии Бабингтонова заговора, он спешит поздравить Елизавету, а французскому послу, который докучает ему на любимой охоте требованиями пустить в ход все свое влияние в пользу матери, говорит с досадою: «Заварила кашу, пусть сама теперь расхлебывает» (qu'il fallait qu'elle but la boisson, qu'elle avoit brassé). Со всей прямотой заявляет он, что ему совершенно безразлично, «куда б ее ни засадили и сколько бы ни перевешали ее подлых слуг», ей-де «давно пора на покой, замаливать грехи». Нет, все это нисколько его не касается; поначалу чуждый сантиментов сынок отказывается даже отправить посольство в Англию. И только по вынесении приговора, оскорбившего национальные чувства шотландцев, когда по всей стране прокатилась волна возмущения, оттого что чужеземка осмелилась посягнуть на жизнь шотландской королевы, Иаков спохватывается, что роль, которую он играет, слишком уж неблаговидна, что дальше отмалчиваться неприлично и надо хотя бы для проформы что-то предпринять. Разумеется, он не заходит так далеко, как его парламент, требующий в случае казни немедленного денонсирования договора о союзе и даже объявления войны. Но все же садится за конторку, пишет резкие, возмущенные и угрожающие письма Уолсингему и снаряжает в Лондон посольство.

Елизавета, конечно, предвидела этот взрыв. Но она и тут прислушивается больше к полутонам. Депутация Иакова VI делится на две части. Одна, официальная, громко и внятно требует отмены смертного приговора. Она угрожает расторжением союза, она бряцает оружием, и шотландской знати, произносящей эти суровые речи в Лондоне, нельзя отказать в пафосе искренней убежденности. Но им и невдомек, что, пока они громко и грозно разговаривают в приемном зале, другой агент, личный представитель Иакова VI, прокравшись в приватные апартаменты Елизаветы с черного хода, ставит там втихомолку другое требование, куда более близкое сердцу шотландского короля, нежели жизнь его матери, а именно требование признать его преемственные права на английский престол. По словам хорошо информированного французского посланника, тайному посреднику поручено заверить Елизавету, что если Иаков VI так неистово ей угрожает, то это делается лишь для поддержания его

чести, а также приличия ради («for his honour and reputation»), и он просит ее не принимать эту демонстрацию в обиду («in ill part»), не рассматривать как недружественную акцию. Для Елизаветы это лишь подтверждение того, что она, разумеется, и раньше знала, а именно, что Иаков VI готов молча проглотить («to digest») казнь своей матери за одно лишь обещание – или полуобещание – английской короны. И вот за кулисами начинается гнусный торг. Сын Марии Стюарт и ее противница, подсев друг к другу, доверительно шепчутся, впервые найдя общий язык, объединенные общими темными интересами: в душе оба хотят одного итого же, и оба прячут это от света. У обоих Мария Стюарт стоит на дороге, но обоим приходится делать вид, будто самая важная, самая священная, кровная их задача – спасти и оградить бедную узницу. Елизавета отнюдь не борется за жизнь данной ей роком сестры, а Иаков VI не борется за жизнь родившей его; обоим важно только лишь соблюсти благопристойность «на подмостках мира». De facto[*] Иаков VI давно уже прозрачно намекнул, что даже в самом прискорбном случае он никаких претензий предъявлять не станет, и этим заранее отпустил Елизавете казнь своей матери. Еще до того, как чужеземка-противница послала узницу на смерть, сын узницы отдал ее на заклание.

Итак, ни Франция, ни Испания, ни Шотландия – Елизавета окончательно в этом уверилась – не станут вмешиваться, когда она решит подвести черту. И только один человек мог бы, пожалуй, еще спасти Марию Стюарт: сама Мария Стюарт. Попроси она о помиловании, Елизавета, возможно, этим бы удовлетворилась. В душе она только и ждет такого обращения, которое избавило бы ее от укоров совести. Все меры принимаются в эти дни для того, чтобы сломить гордость шотландской королевы. Едва приговор вынесен, Елизавета посылает узнице полный его текст, а черствый, рассудительный и особенно внушающий омерзение своей въедливой добропорядочностью Эмиас Паулет пользуется этим для того, чтобы оскорбить осужденную на смерть: для него она уже «бесславный труп» – «une femme morte sans nulle dignité». Впервые в ее присутствии забывает он снять шляпу – низкая, подленькая выходка лакея, в котором зрелище чужого несчастья рождает заносчивость, а не смирение; он велит ее челядинцам вынести тронный балдахин с шотландским гербом. Но верные слуги не повинуются тюремщику, а когда Паулет приказывает своим подчиненным сорвать балдахин, Мария Стюарт вешает распятие на том месте, где был укреплен шотландский герб, чтобы показать, что ее

охраняет сила более могущественная, нежели Шотландия. На каждое мелкое оскорбление врагов у нее находится величественный жест. «Они угрозами хотят вырвать у меня мольбу о пощаде, – пишет она друзьям, – но я говорю им, что уж если она обрекла меня смерти, пусть будет верна своей неправде до конца». Если Елизавета убьет ее, тем хуже для Елизаветы! Лучше смертью своей унизить противницу перед судом истории, чем позволить ей надеть маску кротости, увенчаться лаврами великодушия. Вместо того чтобы протестовать против приговора или просить о помиловании, Мария Стюарт с христианской кротостью благодарит творца за его попечение, Елизавете же отвечает с надменностью королевы:

«Madame, я от всего сердца благодарю Создателя за то, что он с помощью Ваших происков соблаговолил избавить меня от тягот томительного странствия, каким стала для меня жизнь. А потому я и не молю Вас продлить ее, достаточно я вкусила ее горечь. Я только прошу (Вас, а не кого иного, так как знаю, что от Ваших министров, людей, занимающих самые высокие посты в Англии, мне нечего ждать милости) исполнить следующие мои просьбы: прежде всего я прошу, чтобы это тело, когда враги вдосталь упьются моей невинной кровью, было доставлено преданными слугами куда-нибудь на клочок освященной земли и там погребено – лучше всего во Францию, где покоятся останки возлюбленной моей матери, королевы; там это бедное тело, нигде не знавшее покоя, доколе нерасторжимые узы связывали его с душой, освободившись, найдет наконец успокоение. Далее, я прошу Ваше величество ввиду опасений, какие внушает мне неистовство тех, на чей произвол Вы меня отдали, назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину, мой последний вздох от лживых наветов, какие стали бы распространять мои недруги. И наконец, прошу, чтобы слугам, верой и правдой служившим мне среди стольких испытаний и невзгод, было дозволено удалиться куда им вздумается и там беспрепятственно существовать на те крохи, какими сможет вознаградить их моя бедность.

Заклинаю Вас, Madame, памятью Генриха VII, нашего общего предка, а также королевским титулом, который я сохраню и в смерти, не оставить втуне эти справедливые пожелания и поручиться мне в том Вашим собственноручно написанным словом.

Ваша неизменно расположенная к Вам сестра и пленница Мария, королева».

Мы видим: сколь это ни странно и невероятно, в последние дни затянувшейся на десятилетия борьбы роли переменились: с тех пор как Марии Стюарт вручен смертный приговор, в ней чувствуется новая уверенность и сила. Сердце ее не так трепещет, когда она читает свой смертный приговор, как трепещет рука у Елизаветы, когда ей предлагают этот приговор подписать. Мария Стюарт не так страшится умереть, как Елизавета убить ее.

Быть может, она уверена в душе, что у Елизаветы не хватит мужества приказать палачу поднять руку на венчанную королеву, а быть может, это спокойствие – лишь маска; но даже такой пронырливый наблюдатель, как Эмиас Паулет, не улавливает в ней ни тени тревоги. Она ни о чем не спрашивает, ни на что не жалуется, не просит у стражей ни малейших поблажек. Не пытается она и вступить в тайные сношения с чужеземными друзьями; ее сопротивление, ее самозащита и самоутверждение кончились; сознательно препоручает она свою волю судьбе, творцу: пусть он решает.

Теперь она занята серьезными приготовлениями. Она составляет духовную и все свое земное состояние заранее раздает слугам; пишет королям и князьям мира, но уже не с тем, чтобы, подвигнуть их на посылку армий и снаряжение войн, а дабы уверить, что она готова неколебимо принять смерть, умереть в католической вере за католическую веру. Наконец-то на это беспокойное сердце сошел великий покой: страх и надежда, эти, по словам Гете, «злейшие враги рода человеческого», уже не властны над окрепшей душой. Так же как ее сестра по несчастью Мария-Антуанетта, лишь перед лицом смерти осознает она свою истинную задачу. Понимание своей ответственности перед историей блистательно перевешивает в ней обычную беспечность; не мысль о помиловании поддерживает ее, а некое окрыляющее стремление, надежда, что последняя минута станет ее торжеством. Она знает, что только драматизм геройской кончины может искупить в глазах мира ее трагическую вину и что в этой жизни у нее осталась одна только возможная победа – достойная смерть.

И как антитеза уверенному, возвышенному спокойствию осужденной узницы замка Фотерингей – неуверенность, бешеная нервозность и гневная растерянность Елизаветы в Лондоне. Мария Стюарт уже решилась, а Елизавета только берется за решение. Никогда еще соперница не причиняла ей таких страданий, как теперь, когда она всецело у нее в руках. В эти недели Елизавета теряет сон, целыми днями хранит она угрюмое молчание; чувствуется, что ее гвоздит неотступная, ненавистная

мысль: подписать ли смертный приговор, приказать ли, чтобы его привели в исполнение? Она бьется над этим вопросом, как Сизиф[74] над своим камнем, а он снова всей тяжестью скатывается ей на грудь. Напрасно уговаривают ее министры – голос совести сильнее. Она отвергает все их предложения и требует новых. Сесил находит, что она «изменчива, как погода»: то хочет казни, то помилования, постоянно добивается от своих советников «какого-нибудь другого выхода», хоть и знает, что другого нет и быть не может. Ах, если бы все было совершено помимо нее, само собой, без ее ведома, без ясно отданного приказа – не ею, а для нее! Все неудержимее гнетет ее страх перед ответственностью, неустанно взвешивает она плюсы и минусы столь неслыханного деяния и, к огорчению своих министров, откладывает решение со дня на день, прячась за двусмысленными, злобными, раздраженными и неясными отговорками, отодвигая его куда-то в неопределенность. «With weariness to talk, her Majesty left off all till a time I know not when»[*], – жалуется Сесил, чей холодный, расчетливый ум не в силах понять эту потрясенную душу. Ибо хоть Елизавета и приставила к Марии Стюарт жестокого тюремщика, сама она день и ночь во власти еще более неподкупного и жестокого стража – своей совести.

Три месяца, четыре месяца, пять месяцев, чуть ли не полгода тянется негласный спор Елизаветы с Елизаветой о том, чего слушаться – голоса разума или голоса человечности. При таком перенапряжении нервов естественно, что разрядка приходит внезапно, с неожиданностью взрыва.

В среду 1 февраля 1587 года второго государственного секретаря Девисона (Уолсингем то ли заболел, то ли сказался больным) отыскивает в Гринвичском парке адмирал Хоуард и приказывает ему не медля идти к королеве, отнести ей на подпись смертный приговор Марии Стюарт. Девисон достает собственноручно заготовленную Сесилом бумагу и вместе с другими бумагами несет на подпись королеве. Но странно, великой актрисе Елизавете, видимо, уже опять не к спеху. Она притворяется безразличной, она болтает с Девисоном о посторонних предметах, она выглядывает в окно, Любуясь ослепительным зимним пейзажем. И только потом, будто невзначай, спрашивает Девисона – неужто она уже не помнит, для чего велела ему явиться? – с чем он, собственно, к ней пришел. Девисон говорит, что принес на подпись бумаги, между прочим и ту, про которую ему особо наказывал лорд Хоуард. Елизавета берет бумаги, но, боже упаси, в них не заглядывает. Быстро

подписывает она одну за другой – разумеется, и приговор Марии Стюарт. Должно быть, она намеревалась сделать вид, будто среди прочих бумаг невзначай подмахнула и ту, смертоносную. Но тут настроение у этой непостоянной, как погода, женщины меняется, и уже в следующую минуту видно, что все предыдущее было чистейшим кривлянием, игрой: без всяких околичностей признается она Девисону, что лишь для того так долго оттягивала решение, чтобы все видели, с каким трудом оно ей дается. Ну, а теперь пусть снесет подписанный приговор канцлеру и там скрепит большой государственной печатью – но только ни с кем ни слова лишнего, – после чего пусть вручит приказ лицу, назначенному для его исполнения. Поручение настолько ясное, что у Девисона нет ни малейшего основания усомниться в твердых намерениях его королевы. Видно, что Елизавета уже свыклась с неприятной мыслью, так обстоятельно и хладнокровно входит она во все детали. Казнь лучше назначить в большом зале Фотерингейского замка. Ни парадный двор, ни внутренний дворик для этого не подойдут. Она снова и снова напоминает Девисону, что приказ надо держать в секрете. Когда после долгих колебаний человек наконец принимает решение, у него становится легче на душе. Так и у Елизаветы обретенная уверенность заметно поднимает настроение. Она явно повеселела и даже изволит шутить, говоря, что боится, как бы эта грустная весть не прикончила беднягу Уолсингема.

Девисон считает – да и всякий счел бы на его месте, – что вопрос исчерпан. Он откланивается и ретируется к двери. Но Елизавета ни на что не способна решиться и ничего не может довести до конца. Только Девисон дошел до порога, как она зовет его обратно; от ее веселого настроения, от настоящей или наигранной решимости не осталось и следа. Беспокойно мерит она шагами комнату. Нет ли все же какого-нибудь другого выхода? Ведь члены Ассоциации (members of the Association) поклялись предать смерти всякого, кто так или иначе примет участие в готовящемся на нее покушении. О чем же думает в Фотерингее этот болван Эмиас Паулет и его помощник, ведь они тоже члены Ассоциации, разве не прямая их обязанность – взять все на себя и тем избавить ее, королеву, от марающей ее публичной казни? Пусть Уолсингем на всякий случай напишет этой паре и вразумит ее.

Бедняге Девисону становится не по себе. Безошибочное чутье подсказывает ему, что королева, едва сделав дело, спешит от него отмежеваться. Он уже, конечно, сожалеет, что такой важный разговор происходит без свидетелей. Но поделать ничего не может. Ему дано ясное поручение. Поэтому он прежде всего идет

в государственную канцелярию и просит скрепить приговор печатью, а затем направляется к Уолсингему, который тут же составляет на имя Эмиаса Паулета письмо в духе высказанных Елизаветой пожеланий. Королева, пишет Уолсингем, к сожалению, усматривает в службе своего испытанного слуги прискорбный недостаток рвения: ввиду угрожающей ее величеству опасности со стороны Марии Стюарт ему следовало бы давно подумать, как бы «самому и без нарочитых приказаний», своими средствами устранить узницу. Он может с чистой совестью взять это на себя, ведь он дал клятву Ассоциации, а этим он снимет с королевы тяжелое бремя, ведь всем известно, как ей неприятно проливать кровь.

Письмо вряд ли успело добраться по назначению и, уж конечно, на него еще не поступило ответа, как в Гринвиче снова переменился ветер. На следующее утро, в четверг, посланец королевы приносит Девисону записку: если он еще не передал приговор канцлеру для скрепления печатью, пусть покамест воздержится до личной с ней беседы. Девисон со всех ног бросается к королеве и поясняет, что вчера тут же выполнил ее поручение и что смертный приговор скреплен печатью. Елизавета, по-видимому, недовольна. Но она молчит и не упрекает Девисона. А главное, двоедушная ни словом не заикается о том, что хотела бы вернуть злосчастный документ с печатью. Она только жалуется Девисону, что это бремя снова и снова валится ей на плечи. Беспокойно шагает она из угла в угол. Девисон ждет и ждет какого-то решения, приказа, ясного и недвусмысленного пожелания. Но Елизавета внезапно покидает комнату, так ни о чем и не распорядившись.

И снова перед нами сцена шекспировского звучания, только Елизавета разыгрывает ее на глазах у одного-единственного зрителя; снова вспоминаем мы Ричарда III, как он жалуется Букингему, что противник еще жив, и вместе с тем воздерживается от членораздельного приказа убить его. Тот же обиженный взгляд, что и у Ричарда III, недовольного тем, что его вассал и понимает и не хочет его понять, испепеляет злосчастного Девисона. Бедный писец чувствует, что почва под ним колеблется, и судорожно хватается за других: только бы одному не отвечать в этом деле всемирно-исторической важности. Он бросается к Хэтону, фавориту королевы, и рисует ему свое отчаянное положение: Елизавета повелела дать приговору законный ход, но видно по всему, что она потом отречется от своего двусмысленно отданного распоряжения. Хэтон слишком хорошо знает Елизавету, чтобы не разгадать ее двойную игру, но и он не

склонен ответить Девисону ясным «да» или «нет». Все они, словно перебрасывая друг другу мяч, стараются свалить с себя ответственность: Елизавета – на Девисона, Девисон – на Хэтона, Хэтон, в свою очередь, спешит информировать государственного канцлера Сесила. Но и тот не хочет взять все на себя и созывает на следующий день нечто вроде тайного государственного совета. Приглашены только ближайшие друзья и доверенные советники королевы – Лестер, Хэтон и семеро других дворян; каждый из них по личному опыту знает, что на Елизавету нельзя положиться. Впервые вопрос здесь ставится с полной ясностью: все они согласны в том, что Елизавета, спасая свой моральный престиж, намерена остаться в стороне, чтобы обеспечить себе «алиби»; она хочет представить дело так, будто сообщение о свершившейся казни «застигло ее врасплох». И стало быть, на обязанности ее верных – подыгрывать ей в этой комедии и словно бы против ее воли привести в исполнение то, чего она, в сущности, добивается. Само собой разумеется, такое кажущееся, а втайне призываемое ею превышение власти чревато величайшей ответственностью, а потому вся тяжесть подлинного или притворного гнева Елизаветы не должна пасть на кого-нибудь одного. Сесил и предлагает, чтобы все они сообща распорядились о казни и взяли на себя сообща всю ответственность. Лорду Кенту и лорду Шрусбери поручается проследить за исполнением приговора, а секретарь Бийл откомандировывается в Фотерингей с соответствующими полномочиями. Таким образом, мнимая вина раскладывается на десятерых членов государственного совета, который своим мнимым «превышением власти» наконец-то снимет «бремя» с плеч королевы.

Обычно Елизавета до крайности любопытна, это едва ли не основная ее черта. Вечно ей нужно знать – и притом немедленно – все, что происходит в орбите ее замка, да и во всем королевстве. Но не странно ли: на сей раз ни у Девисона, ни у Сесила и ни у кого другого не спрашивает она, как обстоит дело с подписанным ею смертным приговором. В течение трех дней она ни разу не вспомнила об этом немаловажном обстоятельстве, оно как бы улетучилось из ее памяти, хотя уже многие месяцы она только им и занята. Кажется, будто она испила вод Леты, так бесследно выпало это дело из ее памяти. И даже на другое утро, в воскресенье, когда ей передают ответ Эмиаса Паулета на письмо Уолсингема, она не вспоминает о подписанном приговоре.

Ответ Эмиаса Паулета не слишком радует королеву. Верный страж сразу же раскусил, что за неблагодарную роль ему готовят. Он почуял, какая награда его ждет, если он возьмется устранить

Марию Стюарт: королева публично объявит его убийцей и предаст суду. Нет, Эмиас Паулет не полагается на благодарность дома Тюдоров и не хочет быть козлом отпущения. Но, не осмеливаясь прямо ослушаться своей королевы, умный пуританин предпочитает спрятаться за более высокую инстанцию – за бога. Свой отказ он облекает в тогу напыщенной морали. «Сердце мое преисполнено горечи, – отвечает он с пафосом, – ибо, к великому моему сокрушению, я увидел день, когда мне, по желанию моей доброй повелительницы, предлагают свершить деяние, противное богу и закону. Все мое земное достояние, моя служба и жизнь в руках Ее Величества, и я готов завтра же от них отказаться, если на то будет ее воля, так как обязан всем только ее доброте и снисхождению. Но сохрани меня бог пасть так низко, покрыть несмываемым позором весь мой род, согласившись пролить кровь без благословения закона и официального приказа. Надеюсь, что Ваше Величество в своей неизменной милости примете мой всеподданнейший ответ с дружеским расположением».

Но Елизавета отнюдь не склонна принять с дружеским расположением ответ своего Эмиаса, которого еще недавно превозносила за его «неослабное усердие и безошибочные действия»; в гневе меряет она шагами комнату и ругательски ругает этих «чистоплюев, этих брезгливых недотрог» («dainty and precise fellows»); все они много обещают и ничего не делают. Паулет, негодует она, нарушил присягу: он подписал «Act of Association», клялся послужить королеве, хотя бы и ценою своей жизни. Да мало ли есть людей, которые что угодно для нее сделают, некий Уингфилд, например! В подлинном или притворном гневе напускается она на беднягу Девисона – Уолсингем, хитрец этакий, избрал лучшую участь, он сказался больным, – а тот, чудак, еще советует ей держаться законного пути. Люди поумнее его, отчитывает Девисона королева, думают иначе. С этим делом надо было давно кончить, позор для них для всех, что они тянут.

Девисон молчит. Он мог бы похвалиться, что делу давно уже дан ход. Но он чувствует, что только досадит королеве, если честно ей расскажет то, что она, по-видимому, сама знает, но о чем бесчестно умалчивает, а именно, что гонец со смертным приговором, скрепленным большой печатью, выехал в Фотерингей, а вместе с ним – некий приземистый, коренастый малый, которому предстоит обратить слово в дело, приказ – в кровь: палач города Лондона.

23. «В моем конце мое начало» (8 февраля 1587)

«En ma fin est mon commencement» – когда-то Мария Стюарт вышила это, еще не ясное ей в ту пору изречение, на парчовом покрове. Теперь ее смутное предчувствие сбывается. Только трагическая смерть кладет истинное начало ее славе, только эта смерть в глазах будущих поколений искупит вину ее молодости, преобразит ее ошибки. Уже много недель, как твердо и обдуманно готовится осужденная к величайшему своему испытанию. Совсем еще юной королевой пришлось ей дважды видеть, как дворянин умирает под топором палача; рано поняла она, что ужас этого непоправимо бесчеловечного акта может быть преодолен лишь стоическим самообладанием. Весь мир и последующие поколения – Мария Стюарт это знает – будут взыскательно судить ее выдержку и осанку, когда, первая из венчанных королей, она склонит голову на плаху; малейшая дрожь, малейшее колебание, предательская бледность были бы в столь решительную минуту изменой ее королевскому достоинству. Так в эти недели ожидания собирается она в тиши с душевными силами. Ни к чему в своей жизни эта горячая, неукротимая женщина не готовилась так обдуманно, так спокойно, как к своему смертному часу.

Вот отчего никто не заметил бы в ней ни тени удивления или испуга, когда во вторник седьмого февраля слуги докладывают ей о прибытии лордов Шрусбери и Кента вместе с несколькими членами магистрата. Предусмотрительно сзывает она своих ближних женщин, а также большую часть челядинцев. Только окружив себя верными слугами, принимает она это посольство. Она поминутно хочет иметь их рядом – пусть когда-нибудь поведают миру, что дочь Иакова V, дочь Марии Лотарингской, та, в чьих жилах течет кровь Стюартов и Тюдоров, нашла в себе силы мужественно и непреклонно снести и самые тяжкие испытания. Шрусбери, под чьим кровом она провела без малого двадцать лет, клонит перед ней седую голову и колено. Голос его чуть дрожит, когда он объявляет, что Елизавете пришлось, вняв настойчивым требованиям своих подданных, повелеть привести приговор в исполнение. Мария Стюарт словно и не удивлена недоброй вестью; без малейших признаков волнения, зная, что каждый ее жест будет внесен в книгу истории, выслушивает она приговор, спокойно осеняет себя крестным знамением и говорит: «Хвала господу за это известие, что вы мне приносите. Для меня нет

вести более утешительной, ибо она сулит мне конец земных страданий и милость господа, сподобившего меня умереть во славу его имени и его возлюбленной римско-католической церкви». Ни единым словом не оспаривает она приговор. Она уже не хочет как королева бороться с несправедливостью, причиненной ей другой королевой, а лишь как христианка – возложить на себя свой крест; а может быть, в своем мученичестве она возлюбила последнее торжество, еще оставшееся ей в этой жизни. Только две просьбы есть у нее: чтобы духовник напутствовал ее своим благословением и чтобы казнь не пришлась уже на следующее утро: ей хочется как следует обдумать свои последние распоряжения. Обе просьбы отвергнуты. Ей не нужен пастырь ложной веры, отвечает граф Кент, фанатичный протестант, зато он охотно пришлет ей священника реформатской церкви, чтобы тот наставил ее в истинной религии. Конечно, Мария Стюарт отказывается в этот великий час, когда она перед всем католическим миром намерена смертью своей постоять за свое исповедание, выслушивать от священника-еретика его рацеи насчет истинной веры. Менее жесток, чем это бестактное предложение обреченной жертве, отказ отсрочить ее казнь. Поскольку ей дается одна лишь ночь для всех приготовлений, все отпущенные ей часы так уплотнены, что страху и тревоге не остается места. Всегда – и в этом дар бога человеку – умирающему тесно с временем.

Рассудительно и вдумчиво, качества, которых ей до сих пор – увы! – так недоставало, распределяет Мария Стюарт свои последние часы. Великая государыня, она и умереть хочет с истинным величием. Призвав на помощь свой безошибочный вкус, свою наследственную артистичность, свое врожденное мужество, не изменяющее ей и в самые опасные минуты, готовит Мария Стюарт свой уход – словно праздник, словно торжество, словно величественную церемонию. Ничего не оставляет она на волю случая, минуты, настроения – все проверяется на эффект, все оформляется по-королевски пышно и импозантно. Каждая деталь точно и обдуманно вписана, подобно волнующей или благоговейной строфе, в эпопею мученической кончины. Несколько раньше обычного, чтобы спокойно написать необходимые письма и собраться с мыслями, приказывает она подать ужин и символически придает ему характер последней вечери. Откушав, она собирает вокруг себя домочадцев и просит налить ей вина. С глубокой серьезностью, но с просветленным челом поднимает она полную чашу над слугами, павшими перед ней на колени. Она выпивает ее за их благополучие, а потом обращается к ним с речью, увещая хранить верность католической

религии и жить между собой в мире. У каждого просит она – и это звучит, как сцена из vita sanctorum[*] – прощения за все обиды, которые вольно или невольно ему причинила. И лишь после этого дарит каждому любовно выбранный для него подарок – кольцо и драгоценные камни, золотые цепи и кружева, изысканные вещицы, когда-то красившие и разнообразившие ее уходящую жизнь. На коленях, кто молча, кто плача, принимают они дары, и королева невольно растрогана горестной любовью своих слуг.

Наконец она поднимается и переходит в свою комнату, где на письменном столе уже горят восковые свечи. Ей еще много надо сделать с вечера до утра: перечитать духовную, распорядиться приготовлениями к завтрашнему, трудному шествию и написать последние письма. В первом, наиболее проникновенном письме она просит своего духовника не спать эту ночь и молиться за нее; хоть он и находится за два-три покоя в этом же замке, граф Кент – так безжалостен фанатизм – накрепко запретил утешителю оставлять свою комнату, чтобы не дал он осужденной последнего «папистского» причастия. Затем королева пишет своим родичам – Генриху III и герцогу де Гизу; в этот последний час на душе у нее лежит забота, особенно делающая ей честь: с прекращением ее вдовьей пенсии домочадцы ее останутся без средств к существованию. И она просит короля Французского взять на себя обязательство выплатить все по ее завещанию и приказать служить обедни «за всехристианнейшую королеву, что идет на смерть, верная католической церкви и лишенная всякого земного достояния». Филиппу II и папе она уже написала раньше. И лишь одной властительнице этого мира остается ей написать – Елизавете. Но ни единым словом не обратится к ней Мария Стюарт. Ей больше нечего у нее просить и не за что благодарить ее. Только гордым молчанием может она еще устыдить своего старинного недруга, а также величием своей смерти.

Поздно за полночь ложится Мария Стюарт. Все, что ей должно было сделать в жизни, она сделала. Всего лишь несколько часов дозволено еще душе погостить в истомленном теле. Служанки на, коленях забились в угол и молятся недвижными губами: они не хотят беспокоить спящую. Но Мария Стюарт не спит. Широко открытыми глазами смотрит она в великую ночь; только усталым членам дает она покой, чтобы с бестрепетным сердцем и сильной душою предстать наутро пред всесильной смертью.

На многие торжества одевалась Мария Стюарт: на коронации и крестины, на свадьбы и рыцарские игрища, на прогулки, на войну и охоту, на приемы, балы и турниры, – повсюду являясь в

роскошных одеждах, зная, какой властью обладает на земле красота. Но никогда еще ни по какому поводу не одевалась она так обдуманно, как для величайшего часа своей судьбы – для смерти. Уже за много дней и недель продумала она, должно быть, достойный ритуал своей кончины, тщательно взвесив каждую деталь. Платье за платьем перебрала она, верно, весь свой гардероб в поисках наиболее достойного наряда для столь небывалого случая; можно подумать, что и как женщина в последней вспышке кокетства хотела она оставить на все времена пример того, каким венцом совершенства должна быть королева, идущая навстречу казни. Два часа, с шести до восьми, одевают ее прислужницы. Не как бедная грешница в убогих лохмотьях хочет она взойти на плаху. Великолепный, праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода, самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, со стоячим белым воротником и пышно ниспадающими рукавами. Черный шелковый плащ обрамляет это гордое великолепие, а тяжелый шлейф так длинен, что Мелвил, ее гофмейстер, должен почтительно его поддерживать. Снежно-белое вдовье покрывало овевает ее с головы до ног. Омофоры искусной работы и драгоценные четки заменяют ей светские украшения, белые сафьяновые башмачки ступают так неслышно, что звук ее шагов не нарушит бездыханную тишину в тот миг, когда она направится к эшафоту. Королева сама вынула из заветного ларя носовой платок, которым ей завяжут глаза, – прозрачное облачко тончайшего батиста, отделанное золотой каемкой, должно быть, ее собственной работы. Каждая пряжка на ее платье выбрана с величайшим смыслом, каждая мелочь настроена на общее музыкальное звучание; предусмотрено и то, что ей придется на глазах у чужих мужчин скинуть перед плахой это темное великолепие. В предвидении последней кровавой минуты Мария Стюарт надела исподнее платье пунцового шелка и приказала изготовить длинные, по локоть, огненного цвета перчатки, чтобы кровь, брызнувшая из-под топора, не так резко выделялась на ее одеянии, Никогда еще осужденная на смерть узница не готовилась к казни с таким изощренным искусством и сознанием своего величия.

В восемь утра стучатся в дверь. Мария Стюарт не отвечает, она все еще стоит, преклонив колена, перед аналоем и читает отходную. Только кончив, поднимается она с колен, и на вторичный стук дверь открывают. Входит шериф с белым жезлом в руке – скоро его преломят – и говорит почтительно, с глубоким поклоном; «Madame, меня прислали лорды, вас ждут».

«Пойдемте», – говорит Мария Стюарт и готовится к выходу.

И вот начинается последнее шествие. Поддерживаемая справа и слева слугами, идет она, с натугой передвигая ревматические ноги. Втройне оградила она себя оружием веры от приступов внезапного страха: на шее у нее золотой крест, с пояса свисает связка отделанных дорогими каменьями четок, в руке меч благочестивых – распятие из слоновой кости; пусть увидит мир, как умирает королева в католической вере и за католическую веру. Да забудет он, сколько прегрешений и безрассудств отягчает ее юность и что как соучастница предумышленного убийства предстанет она пред палачом. На все времена хочет она показать, что терпит муки за дело католицизма, обреченная жертва своих недругов-еретиков.

Не дальше чем до порога – как задумано и условлено – провожают и поддерживают ее преданные слуги. Ибо и виду не должно быть подано, будто они соучастники постыдного деяния, будто сами ведут свою госпожу на эшафот. Лишь в ее покоях готовы они ей прислуживать, но не как подручные палача в час ее страшной смерти. От двери до подножия лестницы ее сопровождают двое подчиненных Эмиаса Паулета; только ее злейшие противники могут, как пособники величайшего преступления, повести венчанную королеву на эшафот. Внизу, у последней ступеньки, перед входом в большой зал, где состоится казнь, ждет коленопреклоненный Эндру Мелвил, ее гофмейстер; шотландский дворянин, он должен будет сообщить Иакову VI о свершившейся казни. Королева подняла его с колен и обняла. Ее радует присутствие этого верного свидетеля, оно укрепит в ней душевное спокойствие, которое она поклялась сохранить. И на слова Мелвила: «Мне выпала самая тяжкая в моей жизни обязанность сообщить о кончине моей августейшей госпожи» – она отвечает: «Напротив, радуйся, что конец моих испытаний близок. Только сообщи, что я умерла верная своей религии, истинной католичкой, истинной дочерью Шотландии, истинной дочерью королей. Да простит бог тех, кто пожелал моей смерти. И скажи моему сыну, что никогда я не сделала ничего, что могло бы повредить ему, никогда ни в чем не поступилась нашими державными правами».

Сказав это, она обратилась к графам Шрусбери и Кенту с просьбой разрешить также ее ближним женщинам присутствовать при казни. Граф Кент возражает: женщины своими воплями и плачем нарушат благочиние в зале и вызовут недовольство, ведь им непременно захочется омочить платки в крови королевы. Но Мария Стюарт твердо отстаивает свою последнюю волю. «Словом моим ручаюсь, – говорит она, – что они этого делать не станут. Я

не мыслю, чтобы ваша госпожа отказала своей равной в том, чтобы ее женщины прислуживали ей до последней минуты. Не верю, чтобы она отдала подобное жестокое приказание. Даже будь я не столь высокого сана, она исполнила бы мою просьбу, а ведь я к тому же ее ближайшая родственница, внучка Генриха VIII, вдовствующая королева Франции, венчанная на царство королева Шотландии».

Оба графа совещаются: наконец ей разрешают взять с собой четырех слуг и двух женщин. Мария Стюарт удовлетворяется этим. Сопровождаемая своими избранными и верными, а также Эндру Мелвилом, несущим за ней ее трен, в предшествии шерифа, Шрусбери и Кента входит она в парадный зал Фотерингейского замка.

Здесь всю ночь стучали топорами. Из помещения вынесены столы и стулья. В глубине его воздвигнут помост, покрытый черной холстиной, наподобие катафалка. Перед обитой черным колодой уже поставлена скамеечка с черной же подушкой, на нее королева преклонит колена, чтобы принять смертельный удар. Справа и слева почетные кресла дожидаются графов Шрусбери и Кента, уполномоченных Елизаветы, в то время как у стены, словно два бронзовых изваяния, застыли одетые в черный бархат и скрывшиеся под черными масками две безликие фигуры – палач и его подручный. На эту величественную в своей страшной простоте сцену могут взойти только жертва и ее палачи; зрители теснятся в глубине зала. Охраняемый Паулетом и его солдатами, там воздвигнут барьер, за которым сгрудилось человек двести дворян, сбежавшихся со всей округи, чтобы увидеть столь неслыханное, небывалое зрелище – казнь венценосной королевы. А перед запертыми дверями замка сотнями и сотнями голов чернеют толпы простого люда, привлеченного этой вестью; им вход запрещен. Только дворянской крови дозволено видеть, как проливают королевскую кровь.

Спокойно входит Мария Стюарт в зал. Королева с первого своего дыхания, она еще ребенком научилась держаться по-королевски, и это высокое чувство не изменяет ей и в самые трудные минуты. С гордо поднятой головой она всходит на обе ступеньки эшафота. Так пятнадцати лет всходила она на трон Франции, так всходила на алтарные ступени в Реймсе. Так взошла бы она и на английский трон, если бы ее судьбой управляли другие звезды. Так же смиренно и вместе с тем горделиво преклоняла она колена бок о бок с французским королем, бок о бок с шотландским королем, чтобы принять благословение священника, как теперь склоняется под благословение смерти. Безучастно слушает она, как секретарь

снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо – уж на что Уингфилд ее ненавидит, а и он в донесении Сесилу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала, будто благой вести.

Но ей еще предстоит жестокое испытание. Мария Стюарт стремится этот последний свой час облечь чистотой и величием; ярким факелом веры, великомученицей католических святцев хочет она воссиять миру. Протестантским же лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным «верую» ревностной католички; еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умалить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее прегрешения и благословит ее. Но тщетно. Ее духовнику запрещено выходить из своей комнаты. И вот, когда она уже приготовилась претерпеть казнь без духовного напутствия, на эшафоте появляется реформатский священник, доктор Флетчер из Питерсбороу – до последнего дыхания преследует ее беспощадная борьба между обеими религиями, отравившая ее юность, сломавшая ей жизнь. Лордам, правда, хорошо известно троекратное заявление верующей католички Марии Стюарт, что лучше ей умереть без духовного утешения, чем принять его от священника-еретика. Но так же, как Мария Стюарт, стоя на эшафоте, хочет восславить свою религию, так и протестанты намерены почтить свою, они тоже взывают к господу богу. Под видом попечительной заботы о спасении ее души реформатский пастор заводит свою более чем посредственную sermon[*], которую Мария Стюарт в своем нетерпении умереть то и дело прерывает. Три-четыре раза просит она доктора Флетчера не утруждать себя, она твердо прилежит римско-католической вере, за которую, по милости господней, ей дано пострадать. Но попик одержим мелким тщеславием, что ему воля умирающей! Он тщательно вылизал свою sermon, в кои-то веки он удостоился такой избранной аудитории. Он знай бубнит свое, и тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству: в одну руку, словно оружие, берет распятие, а в другую – молитвенник и, пав на колени, громко молится по-латыни, чтобы священными словами заглушить елейное словоизвержение. Так, чем вместе обратиться к общему богу, вознося молитвы за душу обреченной жертвы, борются друг с другом обе религии в двух шагах от плахи – ненависть, как всегда, сильнее, чем уважение к чужому несчастью. Шрусбери,

Кент и с ними большая часть собрания молятся по-английски, а Мария Стюарт и ее домочадцы читают латинские молитвы. И только когда пастор умолкает и в зале водворяется тишина, Мария Стюарт уже по-английски произносит слово в защиту гонимой церкви христовой. Она благодарит бога за то, что страдания ее приходят к концу, громко возвещает, прижимая к груди распятие, что надеется на искупление кровью Спасителя, чей крест она держит в руке и за кого с радостью готова отдать свою кровь. Снова одержимый фанатик лорд Кент прерывает ее молитву, требуя, чтобы она оставила эти «popish trumperies» – папистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям. Ни единым взглядом, ни единым словом не удостаивает она Кента и только говорит во всеуслышание, что от всего сердца простила она врагов, давно домогающихся ее крови, и просит господа, чтобы он привел ее к истине.

Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знамением и говорит: «О милосердный Иисус, руки твои, простертые здесь на кресте, обращены ко всему живому, осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь».

В средневековье много жестокости и насилия, но бездушным его не назовешь. В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему времени. В каждой казни, сколь бы зверской она ни была, посреди всех ужасов нет-нет да и мелькнет проблеск человеческого величия; так, прежде чем коснуться жертвы, чтобы убить или подвергнуть ее истязаниям, палач должен был просить у нее прощения за свое преступление против ее живой плоти. И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками, склоняют колена перед Марией Стюарт и просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовить ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вам от всего сердца, ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук». И только тогда палач с подручным принимаются за приготовления.

Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт. Она сама помогает им снять с шеи цепь «agnus dei»[*]. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам посланца ее злейшего врага Сесила, она «так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир». Едва лишь черный плащ и темные одеяния падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее платье, а когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всколыхнулось кроваво-красное пламя –

великолепное, незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колена на подушку и громко, вслух читает псалом: «In te, domine, confido, ne confundar in aeternum»[*].

А теперь ей осталось немногое: уронить голову на колоду, которую она обвивает руками, как возлюбленная загробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном слове ее не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов приготовилась достойно умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства! Никогда – и в этом лгут все книги и реляции – казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дал промах; первый его удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку – сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею, фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. И еще одна страшная подробность: когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается и, вся в крови, с грохотом, точно кегельный тиар, катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении: перед ними призрачное видение – стриженая седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей, все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только попик из Питерсбороу, наконец опомнившись, хрипло восклицает: «Да здравствует королева!»

Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари; скрежещут стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову Медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, – под складками одежды что-то шевелится.

Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшась за судьбу, своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.

Эпилог (1587-1603)

На древнегреческом театре вослед сумрачной, торжественно развертывающейся трагедии ставилась короткая шутовская драма[75], своего рода водевиль; подобный эпилог имеется и в драме Марии Стюарт. В утро восьмого февраля скатилась ее голова, а на другое утро весь Лондон уже знал о свершившейся казни. Великое ликование охватило при этом известии всю страну. И если бы обычно столь чуткую на ухо повелительницу не одолела внезапная глухота, Елизавета, разумеется, не преминула бы спросить, какое торжество, не предусмотренное календарем, празднуют ее подданные столь ретиво. Но она мудро остерегается спрашивать: все плотнее и плотнее закутывается она в волшебный плащ неведения. Она хочет быть официально извещена о казни соперницы, хочет быть «поставлена перед свершившимся фактом».

Печальная обязанность нарушить мнимое неведение королевы сообщением о казни ее «дорогой сестрицы» выпадает Сесилу. С нелегкой душой берется он за дело. За двадцать лет службы на голову испытанного советника немало обрушивалось бурь, как непритворных, вызванных царским гневом, так и притворных, вызванных государственно-политическими соображениями, а потому серьезный, спокойный человек призывает все свое хладнокровие, вступая в приемный зал королевы, чтобы официально известить ее о свершившейся казни. Но такой сцены, какая за этим разыгрывается, даже он не предвидел. Что такое? Кто-то осмелился без ее ведома, без ее прямого приказания обезглавить Марию Стюарт? Невозможно! Немыслимо! Никогда б она не решилась на столь ужасную меру – разве что в Англию вторгся бы неприятель. Ее советники обманули, предали ее, поступили с ней как заправские мошенники. Как, осрамить ее перед всем миром, непоправимо запятнать ее имя, ее достоинство вероломным, коварным злодейством? Бедная, несчастная сестрица – пасть жертвой такого постыдного недоразумения, такого низкого мошенничества! Елизавета вопит, рыдает, исступленно топает на седовласого министра. Целые ушаты сквернословия выливает она на него – да как он смел, он и другие члены совета, без прямого ее указа привести в исполнение подписанный ею смертный приговор!

Сесил и его друзья ни минуты не сомневались, что Елизавета, стремясь свалить с себя ответственность за инспирированное ею

самой «беззаконие», постарается истолковать его как «превышение власти» со стороны подчиненных. Однако они понимали, что от них только и ждут такого непослушания, и сговорились снять с королевы «бремя» ответственности. Такая отговорка, рассчитывали они, нужна Елизавете лишь для отвода глаз, в малом же аудиенц-зале, sub rosa, их даже поблагодарят за проявленную расторопность. Однако Елизавета так настроила себя на эту сцену, что вопреки или, вернее, помимо ее воли, наигранный гнев переходит в настоящий и те громы, что сейчас разражаются над низко склоненной головой Сесила, – это уже отнюдь не шумовые эффекты, а оглушительные раскаты неподдельной ярости, ураган оскорблений, проливной дождь поношений и издевательств. Дело доходит чуть не до рукоприкладства, Елизавета ругает старика площадными словами, хоть в отставку подавай, и в самом деле Сесилу за мнимое самоуправство на неопределенное время не ведено являться ко двору.

Только теперь видно, как умно, как предусмотрительно поступил истинный подстрекатель Уолсингем, предпочтя в эти критические дни заболеть или сказаться больным. Зато на его заместителя, беднягу Девисона, изливается вся громокипящая чаша высочайшего гнева. Он предназначен стать козлом отпущения, наглядным доказательством невиновности Елизаветы. Никто не поручал ему, клянется Елизавета, передать Сесилу смертный приговор и скрепить его государственной печатью. Он действовал своей волею, против ее желания и намерений, и его дерзостное самочинство привело к неисчислимым бедам. По ее приказу в Звездной палате возбуждено официальное дело против ослушного – на самом деле чересчур послушного – слуги; судебный приговор должен торжественно показать Европе, что Марии Стюарт отрубили голову единственно по вине этого негодяя и что Елизавете о том ничего известно не было. И разумеется, те сановники, что клялись по-братски разделить с ним ответственность, покидают сотоварища, попавшего в беду; им бы только свои министерские местечки и доходы спасти от громов и молний разбушевавшейся августейшей правительницы. Девисон, который в свое оправдание мог бы сослаться лишь на немые стены, видевшие, как Елизавета давала ему поручение, приговорен к уплате десяти тысяч фунтов, каковых у него сроду не было, и посажен в тюрьму; потом ему втихомолку подбрасывают кое-какой пенсион, но при жизни Елизаветы ему и думать нечего о возвращении ко двору; карьера его рухнула, жизнь изломана. Царедворцу опасно не угадывать тайных желаний своего властителя. Но иной раз куда опаснее чересчур

хорошо их угадать.

Благочестивая легенда о невиновности и полном неведении Елизаветы слишком грубо состряпана, чтобы импонировать современникам. И может быть, один только человек задним числом уверовал в эту фантастическую версию: как ни странно, уверовала сама Елизавета. Ибо одним из самых примечательных свойств истеричных или склонных к истерии натур является способность не только к искусному обману, но и к самообману. Желаемое нередко принимается ими за действительное, и их свидетельские показания представляют порою самый добросовестный обман, а следовательно, и самый опасный. Елизавета, очевидно, верит в свою искренность, когда клянется направо и налево, что ни делом, ни помышлением не виновна в казни Марии Стюарт. Действительно, одной половиной души она не желала этой казни, и теперь память, опираясь на это нежелание, постепенно вытесняет у нее сознание соучастия в казни, которой она все-таки втайне желала. Приступ гнева, овладевший ею при получении известия, которое она призывала в тиши, но не хотела услышать, не только заранее отработан, как для сцены, но в то же время – все двойственно в этой женщине – это искренний, честный гнев прежде всего на самое себя, зачем она не осталась верна своим лучшим побуждениям, а также искренний гнев на Сесила, зачем он вовлек ее в это злодеяние, а вместе с тем не оградил от ответственности. Елизавета так истово внушала себе, что казнь произошла помимо ее воли, что в словах ее отныне слышится чуть ли не святая убежденность. Трудно не верить ей, когда в одежде скорби она, принимая французского посла, уверяет, что «не так смерть отца и не так смерть сестры глубоко ее огорчила», как сознание, что она, «бедная, слабая женщина, окружена врагами». Если бы члены государственного совета, сыгравшие с ней эту бесчестную шутку, не были ее долголетними слугами, всем бы им не миновать плахи. Сама она подписала приговор лишь для того, чтобы успокоить свой народ, но только высадка неприятельских войск на английских берегах могла бы заставить ее привести его в исполнение.

На этой же полуправде, полулжи, будто она не желала казни Марии Стюарт, стоит Елизавета и в собственноручном письме к Иакову VI. Снова заверяет она, что жестоко огорчена «трагической ошибкой», происшедшей без ее ведома и согласия («without her knowledge and consent»). Она призывает бога в свидетели, что «невиновна в этом деле», что у нее и в мыслях не было предать Марию Стюарт казни («she never had thougt to put the Queen, your mother, to death»), хотя ее советники все уши ей этим

прожужжали. И, предвосхищая естественное обвинение в том, что Девисон только служит ей прикрытием, она горделиво заявляет, что никакие силы на земле не принудили бы ее свалить свое распоряжение на плечи исполнителя.

Но Иаков VI отнюдь не жаждет знать правду; ему важно одно: снять с себя подозрение, будто он спустя рукава защищал жизнь матери. Разумеется, как и Елизавете, ему не подобает сразу же возгласить «аминь» и «аллилуйя». Он должен соблюсти видимость удивления и возмущения. Он даже отваживается на внушительный жест – торжественно объявляет, что столь великое беззаконие не останется без отмщения. Посланцу Елизаветы воспрещено ступить на шотландскую землю, и за ее письмом в пограничный Берик послан верховой; пусть весь мир видит, что Иаков VI ощерил зубы на убийцу своей матери. Однако лондонский кабинет давно уже изготовил эликсир, с помощью которого сын молчаливо «проглотит» весть о казни матери. Одновременно с письмом Елизаветы, рассчитанным на «подмостки мира», в Эдинбург следует и другое дипломатическое послание, в коем Уолсингем сообщает шотландскому канцлеру, что Иакову VI обеспечено преемство английского престола и что, следовательно, по той, темной сделке ему заплачено сполна. Это сладкое питье оказывает на безутешного Страдальца поистине волшебное действие. Иаков VI ни словом больше не заикается о денонсировании союзного договора. Его не беспокоит даже, что тело его матери лежит непогребенным где-то в закоулках церкви. Не протестует он и против того, что ее последняя воля – упокоиться на французской земле – грубо нарушается. Словно по волшебству, уверился он в невиновности Елизаветы и с готовностью клюет на приманку «трагической ошибки». «Тем самым вы очищаете себя от вины в этом злополучном происшествии» («ye purge youre self of one unhappy fact»), – пишет он Елизавете и в качестве смиренного нахлебника желает английской королеве, чтобы ее «душевное благородство стало на веки вечные известно миру». Магическое обетование Елизаветы льет елей на бушующие волны его неудовольствия. Отныне между ним и женщиной, подписавшей смертный приговор его матери, устанавливается нерушимый мир и согласие.

У морали и у политики свои различные пути. Событие оценивается по-разному, смотря по тому, судим мы о нем с точки зрения человечности или с точки зрения политических преимуществ. Морально казнь Марии Стюарт нельзя простить и оправдать: противно всякому международному праву держать в мирное время в заточении королеву соседней страны, а потом

тайно свить петлю и вероломно сунуть ей в руки… И все же нельзя отрицать, что с точки зрения государственно-политической устранение Марии Стюарт было для Англии благодетельной мерой. Ибо критерием в политике – увы! – служит не право, а успех. В случае с Марией Стюарт последующий успех оправдывает убийство, так как оно принесло Англии и ее королеве не беспокойство, а спокойствие. Сесил и Уолсингем правильно расценили реальное положение вещей. Они знали, что другие государства побоятся возвысить голос против подлинно сильного правительства и станут трусливо смотреть сквозь пальцы на его насильнические действия и даже преступления. Они верно рассчитали, что мир не придет в волнение из-за этой казни; и в самом деле, фанфары мести во Франции и Шотландии внезапно умолкают. Генрих III отнюдь не рвет, как грозился, дипломатических отношений с Англией; еще меньше, чем когда надо было спасать живую Марию Стюарт, собирается он отправить за море хотя бы одного солдата. Он, правда, велит отслужить в Нотр-Дам пышную траурную мессу, и его поэты пишут несколько элегических строф в честь погибшей королевы. На этом вопрос о Марии Стюарт для Франции исчерпан и предан забвению. В шотландском парламенте слегка пошумели. Иаков VI облекся в траур; но проходит немного времени, и он уже снова выезжает на охоту на подаренных ему Елизаветой лошадях, с подаренными ему Елизаветой легавыми; по-прежнему он самый уживчивый сосед, какого когда-либо знавала Англия. И только тяжелодум Филипп Испанский спохватывается наконец и снаряжает свою Армаду. Но он одинок, а против него – счастье Елизаветы, неотъемлемое, как это всегда бывает со славными властителями, от ее величия. Еще до того, как доходит до боя, Армаду вдребезги разбивает шторм, а вместе с ней терпит крушение и давно вынашиваемый план наступления контрреформации. Елизавета окончательно победила, да и Англия со смертью Марии Стюарт избавилась от величайшей угрозы. Времена обороны миновали, отныне ее флот будет бороздить океаны, направляясь к далеким землям и объединяя их в мировую империю. Множатся богатства Англии, последние годы царствования Елизаветы видят новый расцвет искусств. Никогда королевой так не восхищались, не любили ее и не поклонялись ей, как после этого позорнейшего ее деяния. Из гранита жестокости и несправедливости воздвигаются великие государственные сооружения, и неизменно фундаменты их скреплены кровью; в политике неправы только побежденные, неумолимой поступью шагает история через их трупы.

Однако сыну Марии Стюарт предстоит еще нешуточное испытание: не внезапным прыжком, как мечтал, взберется он на английский престол, не так скоро, как рассчитывал, получит обещанную мзду за свою продажную снисходительность. Ему придется – величайшая казнь для честолюбца – ждать, ждать и ждать. Пятнадцать лет, почти столько же, сколько мать его томилась в плену у Елизаветы, вынужден он в бездействии дремать в Эдинбурге и ждать, ждать, ждать, пока скипетр не выпадет из охладелых старушечьих рук. Брюзжащий, недовольный, сидит он в своих шотландских замках, выезжает часто на охоту, пишет трактаты на религиозные и политические темы, но все его дела сводятся к одному – к бесконечному, бесплодному и злобному ожиданию некоего известия из Лондона. А его все нет и нет. Можно подумать, что кровь соперницы, пролившись, вдохнула в Елизавету новую жизнь. Все крепче становится она со смертью Марии Стюарт, все увереннее, все здоровее. Покончено с бессонными ночами, с укорами совести, которые так терзали ее все месяцы и годы нерешительности; все сглажено, смыто без следа спокойствием, дарованным ее стране, ее правлению. Ни один живущий не осмелится больше оспаривать ее корону, и даже смерти ревнивая женщина оказывает бешеное сопротивление, даже ей не отдает она короны. Семидесятилетняя старуха, цепкая и неподатливая, не хочет умирать, целыми днями блуждает она по дворцу, переходя из комнаты в комнату, нигде не находя покоя. Яростно и величественно сопротивляется она, не желая никому на свете уступить престол, за который так упорно и беспощадно боролась.

И все же час настает: наконец-то в жестоком единоборстве смерть одолевает неподатливую; но из легких еще вырывается хрипение, все еще бьется, хоть тише и тише, старое неукротимое сердце. Под окном, с оседланной лошадью на поводу, посланец нетерпеливого шотландского наследника ждет условного знака. Некая придворная дама обещала, как только жизнь королевы оборвется, бросить ему из окна перстень. Проходят долгие часы. Посланец напрасно смотрит вверх; старая королева-девственница, отвергшая стольких искателей ее руки, все еще не подпускает к себе смерть. Наконец двадцать четвертого марта зазвенело окно, торопливо высовывается женская рука, сверху падает перстень. Гонец немедля садится на коня и два с половиной дня скачет без передышки в Эдинбург – эта скачка осталась памятной в веках. Так же как тридцать семь лет назад из Эдинбурга в Лондон гнал во весь опор лорд Мелвил, торопясь известить Елизавету, что Мария Стюарт родила сына, так теперь другой гонец спешит назад к сыну, чтобы сообщить, что смерть Елизаветы принесла

ему вторую корону. Ибо Иаков VI Шотландский в этот час становится равно и королем Английским – наконец-то становится Иаковом I. В сыне Марии Стюарт обе короны соединились навсегда, злосчастная борьба многих поколений, пришла к концу. Темные, извилистые пути избирает подчас история, но неизбежно исполняются ее разумные цели, неизменная историческая необходимость вступает в свои права.

Со вкусом располагается Иаков в Уайтхолле[76], которым так мечтала завладеть его мать. Наконец-то он избавился от вечного безденежья, наконец-то его честолюбие утолено; все его мысли теперь – о жизни в свое удовольствие, не о бессмертии. Он часто выезжает на охоту, он усердно посещает театр, где – единственная его заслуга – оказывает покровительство некоему Шекспиру и другим достойным стихотворцам. Тщедушный, бездарный, с ленцой, не обладающий ни душевными силами Елизаветы, ни мужеством и страстью своей романтической матери, управляет он объединенным наследием обеих враждовавших женщин; то, чего обе добивались со всем пламенным устремлением души и страсти, достается ему, умеющему терпеливо ждать, без борьбы, валится с неба. Но теперь, когда Англия и Шотландия объединены, должно предать забвению, что было время, когда королева Шотландская и королева Английская отравляли друг другу жизнь ненавистью и враждою. Уже нечего называть одну правой, а другую виноватой, смерть уравняла соперниц в их высоком сане. Те, что всю жизнь противостояли одна другой, могут спокойно почивать рядом. Иаков I приказывает взять прах его матери с погоста в Питерсбороу, где она лежит одна, словно отверженная, и при торжественном свете факелов перенести в Вестминстерское аббатство, в усыпальницу английских королей. Высеченное в камне ставится над могилой изображение Марии Стюарт, а неподалеку высеченное в камне стоит изображение Елизаветы. Старая вражда улеглась навек, ныне одна у другой не оспаривает больше прав и владений. И те, что в жизни упорно избегали друг друга и ни разу не глядели друг другу в глаза, ныне, как сестры, покоятся рядом во все уравнивающем священном сне бессмертия.

notes

Комментарии

1.

«Орестея» – трилогия древнегреческого драматурга, «отца трагедии» Эсхила. В нее входят: «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Евмениды». В трагедиях рассказывается о возвращении из-под Трои предводителя греков в Троянской войне Агамемнона и его гибели от руки изменившей ему жены Клитемнестры; о том, как за смерть отца отомстил Орест, его сын, убивший вероломную мать и ее любовника Эгисфа, и как матереубийцу преследуют богини мщения Эринии, которых в конце концов умилостивляет богиня Афина.

2.

С именем Генриха VIII (1491-1547), короля Англии с 1509 г., связано начало реформации в Англии. Поводом к выступлению короля послужил отказ римского папы утвердить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, родственницей императора Карла V. В ответ Генрих VIII издал статут, отменявший юрисдикцию папы в английских делах, а «Акт о супрематии» (т.е. верховенстве) провозгласил короля главой английской церкви (1534 г.). Подлинные причины реформации – стремление конфисковать церковное имущество, в особенности монастырские земельные владения, в пользу господствующего класса и королевской казны. Генрих VIII тщетно пытался склонить к реформации Иакова V, женатого на ярой католичке из рода Гизов. Политику поддержки шотландских протестантов еще энергичней проводила дочь Генриха VIII Елизавета.

3.

Кассандра (греч. миф.) – дочь троянского царя Приама и Гекубы. Влюбленный в нее Аполлон наделил ее пророческим даром, но, отвергнутый Кассандрой, он сделал так, что ее предсказаниям никто не верил. В литературе Кассандра олицетворяет человека, предрекающего несчастья, которых никто не в силах предотвратить.

4.

Иаков I (1394-1437) правил с 1424 г. и пал жертвой заговора шотландских лордов. Иаков II (1430-1460) правил с 1437 г. Во время войны Алой и Белой розы (1455-1485) пытался воспользоваться междоусобицами в Англии, чтобы расширить владения Шотландии, но при осаде Роксбурга (на южных границах страны) был убит. Иаков III (1452-1488) правил с 1460 г. Во время битвы с восставшими против него феодалами бежал с поля боя, упал с лошади и был заколот. Иаков IV (1472-1513) правил с 1488 г. и погиб в сражении под Флодденом, где шотландцы потерпели поражение от англичан. Карл I (1600-1649), внук Марии Стюарт, правил с 1625 г., в ходе Английской революции был низложен и казнен.

5.

Род мифического царя Атрея запятнал себя кровавыми и нечестивыми преступлениями. Сам Атрей убил детей своего брата, которого потом угостил блюдом, приготовленным из их мяса. Дальнейшая история рода – цепь убийств, ни одно из которых не остается неотомщенным.

6.

Французский поэт Пьер Ронсар (1524-1585) провел юные годы при дворе Карла Орлеанского. В 1537 г. в составе свиты принцессы Мадлен, вышедшей замуж за Иакова V, он отправился в Шотландию, где пробыл полтора года.

7.

Бернс Роберт (1759-1796) – великий шотландский поэт, чье творчество глубоко связано с фольклором и проникнуто высоким патриотизмом, любовью и гордостью за страну и народ. День рождения поэта отмечается в Шотландии как национальный праздник.

8.

Мария де Гиз Лотарингская, вторая жена Иакова V (с 1538 г.), в период своего регентства стремилась укрепить позиции католиков и усилить французское влияние в Шотландии Это вызвало широкое недовольство и привело к выступлению шотландских феодалов, которые в 1557 г. подписали договор о союзе и взаимопомощи в борьбе за утверждение реформации (Ковенант). Гизы – знатный французский род, опора католицизма во время религиозных войн.

9.

Дю Белле Жоашен (1522-1560) – французский поэт, теоретик «Плеяды», автор нескольких сборников сонетов и од, а также трактата «Защита и прославление французского языка» (1549), где формулировались принципы новой поэтической школы.

10.

Клуэ Франсуа (ок. 1505-1572) – выдающийся представитель французского Возрождения, придворный живописец Франциска I, Франциска II и Карла IX. Его портрет Марии Стюарт, относящийся к 1550-м годам, хранится в Шантильи, в музее Конде.

11.

«Беседы» («Разговоры») гуманиста Эразма Роттердамского (1469-1536) первоначально были задуманы как пособие-разговорник для изучения латинского языка и состояли из повседневных выражений, употребляемых в различных жизненных Ситуациях. Впервые увидели свет в 1518 г. под названием «Формулы для обыденных разговоров» и имели необычайный успех во всей Европе. В дальнейшем Эразм дополнил книгу сценками и художественно законченными диалогами, новыми наблюдениями и мыслями. В 1524 г. она вышла с новым заголовком – «Разговоры запросто» (Kolloquia familiaria), который и закрепился окончательно.

12.

Брантом Пьер де Бурдей (1540-1614) – французский писатель-мемуарист, автор книг «Жизнеописания знаменитых людей и полководцев», «Жизнеописания знаменитых дам» и «Жизнеописания галантных дам». Они содержат яркие портреты людей той эпохи, освещают жизнь двора и нравы XVI в. Современникам сочинения Брантома были известны в списках – впервые их напечатали в Голландии в 1666 г.

13.

Генрих VIII был женат шесть раз. Екатерина Арагонская (1485-1536), первая жена Генриха VIII (с 1509 г.), была разведена с ним в 1533 г. Анна Болейн (1507-1536) – вторая его жена (с 1533 г.) – была казнена по обвинению в супружеской неверности.

14.

В Като-Камбрези (на севере Франции) в 1559 г. был заключен мир между Францией с одной стороны, Англией, Испанией и герцогом Савойским – с другой. Этот договор завершил так называемые итальянские войны (1494-1559). По договору Франция отказывалась от притязаний на итальянские земли, возвращала Испании почти все захваченные ею владения в Италии, а также в Нидерландах и Лотарингии. Герцог Савойский расширил свои владения, получив часть Пьемонта. Англия уступала Франции Кале с условием возвращения этого города Англии через определенный срок или выкупа его за 50 тыс. экю.

15.

Амбуазский заговор – заговор 1559 г., организованный гугенотами Конде и Колиньи. Заговорщики ставили целью арестовать короля, находившегося тогда в замке Амбуаз (на Луаре), от его имени созвать Генеральные штаты, отстранить от власти Гизов и защитить интересы протестантов. Заговор был раскрыт, но переговоры с руководителями его привели к примирению сторон. В 1560 г. был издан эдикт, приостанавливавший гонения на гугенотов. Дворянское войско, однако, пыталось действовать самостоятельно и двинулось на Амбуаз, но было разбито, после чего эдикт был отменен и началась расправа с мятежниками. Заговор явился своего рода прелюдией религиозных войн.

16.

Жане (Jehannet, Jannet) – так называли представителей семьи Клуэ, французских художников эпохи Возрождения. Здесь имеется в виду Франсуа Клуэ, которому посвятил стихи Ронеар («Элегия к Жане»).

17.

Месса (Messe, лат.: «Missa») – католическая литургия (обедня), включающая песнопения, молитвы, чтение отрывков из Библии, ряд символических действий и профессий. Протестанты, отстаивавшие идею дешевой церкви, выступали против пышного, театрализованного католического богослужения, заменив мессу проповедью, совместными молитвами и пением псалмов. В ответ на попытку Марии Стюарт вновь ввести католическую мессу последовала знаменитая реплика Нокса: «Одна месса страшнее, чем десять тысяч вооруженных вражеских солдат».

18.

«Плеяда» – французская поэтическая школа эпохи Возрождения. Название взято из античной истории – так именовалась группа александрийских поэтов в III в. до н.э. Во Франции новая школа возникла в 1549 г. (до 1553 г. называлась «Бригадой»). В нее входили: ученый-гуманист и поэт Ж.Дора и его ученики – П.де Ронсар, Ж. дю Белле, Ж.-А. де Баиф, а также Э.Жодель, Р.Белло и П.де Тийар. «Плеяда» осуществила в 50-е годы смелые литературные реформы, ввела во французскую литературу такие жанры, как сонет, ода, элегия, трагедия и комедия; она отстаивала высокое общественное значение поэзии и гражданскую тему в ней. С 60-х годов, после начала религиозных войн, деятельность «Плеяды» пошла на убыль.

19.

Вильгельм Завоеватель (1027-1087) – герцог Нормандии. В 1066 г. возглавил войско нормандских, французских и итальянских феодалов и высадился в Англии, где в битве при Гастингсе разбил армию англосаксонского короля Гарольда и стал королем.

20.

Лютер Мартин (1483-1546) – вождь реформации в Германии, основатель одного из ее направлений – лютеранства, выразитель интересов консервативной части бюргерства.

21.

Кальвин Жан (1509-1564) – вождь реформации, основатель одного из ее направлений – кальвинизма. С 1536 г. жил в Женеве, которая служила убежищем для всех гонимых за веру и превратилась в один из центров протестантизма. Там его и посетил Джон Нокс, перед тем как в 1555 г. возвратился в Шотландию.

22.

Савонарола Джироламо (1452-1496) – доминиканский монах-проповедник и религиозно-политический деятель во Флоренции. Неистово обличал роскошь богачей и пороки католической церкви, призывал к строгому аскетизму, с фанатичной нетерпимостью относился к гуманистической культуре.

23.

Сент-Джайлский собор – главный собор в Эдинбурге, сооруженный в XIV-XV вв. Он был рассчитан на пышное католическое богослужение. При протестантах его огромное внутреннее пространство было перегорожено глухими стенами и разделено на несколько отсеков. Во второй половине XVI в. в храме размещались конторы городского управления, школа, зал суда, мастерская, кладовая и две церкви. В одной из них произносил проповеди Нокс.

24.

Моав – государство на юго-восточном побережье Мертвого моря. Так же обозначали и его жителей – моавитян. В Ветхом завете слово приобрело бранный оттенок. Амалек – родоначальник племени амалекитян, которые вели постоянные войны с израильтянами. Именем Амалек обозначалось нередко все племя, и позднее оно стало символом зла.

25.

Иезавель – жена израильского царя Ахава, которая насаждала культ вавилонской богини Астарты вместо иудейского бога Иеговы. В Библии изображается как преступная правительница (Третья Книга Царств, гл. 18, 19, 21), олицетворение нечестия и жестокости (Апокалипсис, II, 20).

26.

В легендарный период древнееврейской истории израильскими племенами, заселившими Палестину, управляли выбираемые и сменяемые судьи. Последним и наиболее знаменитым был судья и пророк Самуил, который по требованию народа поставил над ним царя Саула (XI в. до н.э.).

27.

Трианон – название двух небольших дворцов в Версальском парке, сооруженных для фавориток французских королей. Большой Трианон построен в 1687 г. Ж.Ардуэн-Мансаром (1646-1708) по заказу Людовика XIV, Малый Трианон возведен в 1762-1764 гг. Ж.-А.Габриелем (1698-1782) по заказу Людовика XV.

28.

Рабле Франсуа (1494-1533) – крупнейший французский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532).

Ариосто Лодовико (1474-1533) – итальянский поэт, автор героической рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» и комедий.

29.

Шателяр Пьер де (1540-1563) – французский поэт, поклонник Марии Стюарт, последовавший за ней в Шотландию.

30.

Торквато Тассо (1544-1595) – итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580). Окончание работы над поэмой было ознаменовано душевным кризисом, который вынудил поэта скататься по Италии. В 1579 г., находясь в Ферраре, он вел себя дерзко на свадьбе герцога Альфонса, оскорбив хозяина, его жену и гостей. По приказу герцога поэта заковали в цепи и бросили в подвал госпиталя, где содержались буйные сумасшедшие. Тассо провел там семь лет.

31.

Образы Смерти запечатлены в серии гравюр (1523-1526) немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего (1497/98-1543), жившего с 1532 г. в Англии. Смерть изображается на этих гравюрах в виде скелета, сопровождающего и похищающего людей всех возрастов и сословий.

32.

Бен Джонсон (Бенджамин Джонсон; 1573-1637) – английский драматург, автор комедий нравов, рисующих жизнь различных слоев английского общества, разоблачающих пороки аристократии и буржуазии.

33.

Фортуна – римская богиня судьбы, удачи, счастливого случая. Изображалась нередко на шаре или колесе (как символ переменчивости судьбы).

34.

Никколо Макиавелли (1469-1527) – итальянский мыслитель, политический деятель и историк. В сочинении «Государь» он проводил мысль о том, что для достижения политических целей пригодны любые средства.

35.

Левант (фр. «Levant» – Восток) – общее обозначение стран в восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр).

36.

Цитера (лат.), или Кифера (греч.) – культовое прозвище богини Афродиты. Одним из центров ее культа был остров Кифера, у южной оконечности Пелопоннеса.

37.

Принц-консорт (англ. «consort» – супруг) – в Великобритании: муж правящей королевы, который сам не является монархом.

38.

Хэмптон-корт – загородный королевский дворец близ Лондона, на берегу Темзы. Построен в начале XVI в. (другая его часть – в конце XVII в.).

Вестминстер – обозначение аббатства и дворца, расположенного рядом с собором. Дворец приобрел Генрих VIII в 1529 г., сделав его королевской резиденцией (двор пребывал в нем до 1760 г.). Здесь происходили приемы, коронационные торжества, банкеты, заседал верховный суд.

39.

«Глобус» – театр в Лондоне, с которым связана деятельность Шекспира. Построен в 1599 г., в 1644 г. снесен по приказу пуританского парламента, закрывшего все театры. До 1642 г. здесь играла труппа «Слуги лорда-камергера», возглавлявшаяся трагиком Р.Бербеджем. Театр вмещал до двух тысяч зрителей и являлся одним из центров культурной жизни страны.

«Фортуна» – театр в Лондоне. Построен в 1600 г. для труппы «Слуги лорда-адмирала». Вмещал свыше двух тысяч зрителей. Был закрыт в 1642 г. после принятия закона о запрещении театров.

40.

Генрих IV Бурбон (1553-1610) – король Наварры, с 1594 г. король Франции.

41.

Соломон – царь Израильско-Иудейского царства (965-928 гг. до н.э.), сын царя Давида, славился необычайной мудростью.

42.

Профос – должностное лицо в городском управлении, осуществлявшее военно-полицейские функции (надзор за порядком, наказание преступников и т.п.).

43.

Здесь неточность: в исторических хрониках, которыми пользовался Шекспир, когда писал «Ричарда III», герцог Глостер действительно предстает как убийца мужа леди Анны Эдуарда Ланкастера, принца Уэльского. Но у Шекспира сцена с леди Анной, будущей женой Ричарда III, разыгрывается у гроба ее свекра, бывшего короля Генриха VI, свергнутого с престола Эдуардом IV, заключенного в Тауэр и тоже, как утверждают хроники, убитого герцогом Глостером (см.: Шекспир, Ричард III, акт I, сц. 2).

44.

Кримгильда – бургундская принцесса, героиня «Песни о Нибелунгах», крупнейшего памятника немецкого героического эпоса (ок. 1200 г.).

45.

Каносса – замок в Северной Италии, где в январе 1077 г. отлученный от церкви и низложенный император Священной Римской империи Генрих IV (1059-1106) униженно вымаливал прощение у своего противника – папы Григория VII (1015/20-1089). В переносном смысле Каносса – бесславная, унизительная капитуляция.

46.

Коллеони (Colleoni) Бартоломео (1400-1476) – итальянский кондотьер, служивший правителям Неаполя, Милана, Венеции. С 1454 г. – главнокомандующий в Венецианской республике. Ей он завещал свое огромное состояние с условием, что ему будет поставлен памятник. Монумент был воздвигнут в 1496 г. на площади Санти Джованни э Паоло и представляет собой вознесенную на высокий пьедестал конную статую, созданную флорентийским мастером Андреа Вероккьо.

47.

Цирцея (Кирка) – мифическая волшебница, жившая на острове Эя и в течение года удерживавшая около себя Одиссея, возвращавшегося на родину после окончания Троянской войны. В переносном смысле – коварная обольстительница.

48.

Далила – библейский персонаж, возлюбленная богатыря Самсона, усыпившая его бдительность своими ласками и выведавшая тайну его могущества, после чего предала его в руки врагов.

49.

Артюр Рембо (1854-1891) французский поэт, лучшие стихи которого были написаны в самом начале его поэтической деятельности, в 1871 г. («Париж заселяется вновь», «Руки Жан-Мари»). Пьетро Масканьи (1863-1945) – итальянский композитор, автор 14 опер. Славу и наивысший успех ему принесла первая его опера «Сельская честь» (1890), до уровня которой он в своем творчестве больше никогда не поднялся.

50.

Бьюкенен Джордж (1506-1582) – шотландский политический деятель и историк. В 1539 г. эмигрировал из охраны, возвратился на родину в 1561 г. Выступал против Марии Стюарт. После ее отречения и бегства из Шотландии воспитывал ее сына Иакова VI. Написал книгу по истории Шотландии и несколько трактатов, в которых выражались тираноборческие идеи, в том числе мысль о праве народа избирать и смещать правителей.

51.

Джеймс Макферсон (1736-1796) – шотландский писатель, автор героических поэм «Фингал» (1762) и «Темора» (1763), которые он выдал за переводы произведений легендарного кельтского барда Оссиана (III в.). Они были изданы в 1765 г. под названием «Сочинения Оссиана». Мистификация была твердо установлена лишь после смерти Макферсона.

«Краледворская рукопись» – собрание чешских песен, написанных в подражание народному творчеству. Издал их в 1819 г. чешский писатель, ученый, деятель буржуазно-национального движения Вацлав Ганка (1791-1861) под видом якобы найденной им старинной рукописи.

52.

Полностью латинская фраза звучит так: «Quos Deus perdere vult dementat prius» – «Кого бог хочет погубить, того он сначала лишает разума». Источником является фрагмент трагедии неизвестного древнегреческого автора: «Когда божество готовит человеку несчастье, оно прежде всего отнимает у него ум, которым он рассуждает».

53.

С.Цвейг излишне категоричен в этом утверждении. Практика политических убийств существовала в европейских государствах (как, впрочем, и на Востоке, и в Византии) издавна, и вряд ли следует ее связывать с именем Макиавелли, который будто бы своим сочинением «Государь» санкционировал ее и сделал нормой политической жизни.

54.

После того как Дон Карлос, враждовавший с отцом, решил бежать из Испании, Филипп II приказал арестовать его (январь 1568 г.) и поручил государственному совету составить обвинительный акт. Спустя полгода Дон Карлос скончался в заключении. Являлась ли его смерть естественной или насильственной, остается неясным. С.Цвейг – сторонник версии о причастности Филиппа II к гибели сына.

55.

Семейство Борджиа – знатный род, игравший заметную роль в политической жизни Италии XV – начала XVI в. Представители его запятнали себя многими преступлениями.

56.

Имеется в виду сцена из второй части романтической трилогии Ф.Шиллера «Валленштейн» («Пикколомини», д.IV, явл.6), где присутствующие на пиру высшие офицеры подписывают присягу на верность своему полководцу А.Валленштейну, командующему имперской армией в годы Тридцатилетней войны (1618-1648).

57.

Шекспир родился в 1564 г., за три года до убийства Дарнлея. Трагедия «Макбет» была написана им в 1606 г.

58.

Холиншедова хроника – наиболее полная для своего времени многотомная «Хроника Англии, Шотландии, Ирландии», составленная Р.Холиншедом и др. Первое издание ее вышло в 1577 г., второе – в 1587 г. Это – один из основных источников, которыми пользовался Шекспир при написании своих исторических хроник (10 пьес на сюжеты из истории Англии) и трагедий («Макбет»).

59.

Имеется в виду роман английского писателя В.Скотта (1771-1832) «Аббат» (1820).

60.

После поражения при Ватерлоо (июнь 1815 г.). Наполеон около месяца пробыл в Париже. Поняв, что во Франции оставаться невозможно, ибо он станет пленником Бурбонов, Наполеон решил вверить свою судьбу Англии и отправился в Рошфор, к берегу моря. Там 15 июля 1815 г. на бриге «Ястреб» он добрался до стоявшего на рейде английского корабля «Беллерофонт».

61.

Имеется в виду ларец, который Зевс подарил Эпиметею, брату Прометея. В ларце были заключены несчастья, болезни и пороки, которых люди еще не ведали. Жена Эпиметея Пандора, несмотря на строжайший запрет, открыла ларец, и оттуда вылетели беды, от которых с тех пор страдают все смертные на земле. Миф изложен у древнегреческого поэта Гесиода (VIII в. до н.э.) в поэме «Труды и дни» (стихи 54-105).

62.

Павел – проповедник христианства в I в. среди язычников. Согласно «Деяниям апостолов», родился в Тарсе в зажиточной иудейской семье строгих ревнителей Моисеева закона (фарисеев) и носил имя Савл (или Саул – возможно, в честь первого израильского царя Саула). Отстаивая свою веру, он поначалу жестоко преследовал христиан. Чтобы организовать широкое гонение на них, он направился в Дамаск, но по пути произошло чудо: увидев таинственный свет, услышав голоса с небес, ярый гонитель христиан сделался поборником нового вероучения. Сменив имя Савл на Павел, он посвятил себя проповеднической деятельности, исходив Малую Азию, Грецию, Испанию, и закончил свои дни в Риме, где, по преданию, был осужден императором Нероном и казнен вместе с апостолом Петром в 65 г.

63.

Имеется в виду евангельский рассказ о том, как Иисус Христос в последнюю ночь, проведенную с учениками, предрек: прежде чем пропоет петух, клявшийся в верности учителю апостол Петр трижды отречется от него. Когда затем Иисус был схвачен и на Петра пало подозрение, что он заодно с ним, апостол трижды заверил, что не знает этого человека, и лишь пропевший под утро петух напомнил ему о сбывшемся предсказании.

64.

Терсит – в «Илиаде» Гомера воин, который перед собравшимся войском выступил против предводителя греков Агамемнона, призывая воинов уйти из-под Трои и возвратиться домой. (Илиада, песнь II, стихи 225-238).

65.

7 октября 1571 г. около Лепанто (город в Греции на берегу Коринфского залива, совр. Навпактос) произошло крупнейшее в ту эпоху морское сражение между турецким и испано-венецианским флотом, которым командовал Хуан Австрийский (1547-1578). Битва завершилась разгромом турок.

66.

«Непобедимая Армада», крупное морское соединение, созданное Испанией в 1586-1588 гг. для завоевания Англии. В 1588 г. в результате столкновения с английским флотом и сильного шторма Армада понесла огромные потери, что подорвало морское могущество Испании.

67.

Вильгельм I Оранский (1533-1584) – деятель Нидерландской буржуазной революции XVI в., боровшийся против испанского владычества. Погиб от руки наемного убийцы – испанского агента.

68.

Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) – римский политический деятель и писатель. Известен как ярый ревнитель старины. Осуждая современный ему упадок нравов, призывал возродить былые римские обычаи с их суровой простотой и строгой моралью.

69.

Ставшая крылатой фраза непримиримого врага Карфагена Катона Старшего. Ею он неуклонно заканчивал каждую свою речь в римском сенате.

70.

Французский король Людовик XVI (1774-1792) и его жена Мария-Антуанетта были низложены в ходе Великой французской революции и казнены в 1793 г. по решению Конвента.

71.

В эпоху Юлия Цезаря и Августа тетрархами (греч. «тетрархия» – четверовластие) называли мелких местных царьков на Востоке (в Галатии, Палестине), находившихся в зависимости от Рима.

72.

Лициний – Валерий Лициний Лициниан (250-324), римский военачальник, затем соправитель Константина Великого. Был женат на сестре императора Констанции. Управлял восточной частью Римской империи. В борьбе за единоличную власть потерпел в 323 г. поражение, и под давлением Константина сенат приговорил его к смертной казни.

Конрадин фон Гогенштауфен – герцог Швабский (1252-1268), боролся с королем Неаполя Карлом Анжуйским за господство над Сицилией. Потерпев поражение от французских рыцарей, попал в плен и был в 1268 г. казнен по приказу Карла Анжуйского.

Иоанна I Неаполитанская (1343-1382) – королева Неаполя, была отлучена от церкви папой Урбаном VI, боролась за власть с его ставленником Карлом III Анжуйским, к которому она попала в плен и была убита.

73.

Звездная палата – высший судебный орган в Англии. Учрежден в 1487 г. Генрихом VII для борьбы с мятежными феодалами. Палата приговаривала к смертной казни и конфискации имущества всех, кто оказывал сопротивление королю. Существовала до 1641 г. и служила орудием укрепления английского абсолютизма. Называлась так по залу заседаний, потолок которого был украшен звездами.

74.

Сизиф – мифический царь Коринфа, осужденный за грехи выполнять в подземном царстве тяжелую и безрезультатную работу – вечно втаскивать на гору огромный камень, который, едва достигнув вершины, тотчас скатывался вниз.

75.

В Древней Греции постановки пьес носили характер состязаний между драматургами. Каждый автор должен был представить четыре пьесы – тетралогию: три трагедии, связанные единством сюжета, и сатировскую драму – веселый фарс с шутливыми разговорами, плясками и песнями, с обязательным участием хора сатиров.

76.

Уайтхолл – в XVI в. королевский дворец в Лондоне.

* * *

Иаков V был годовалым ребенком, когда погиб его отец, Иаков IV.

* * *

В первой половине XVI в. столкновения между Англией и Шотландией происходили неоднократно; в 1542 г. у залива Солуэй-Ферт (юго-западное побережье Шотландии) англичане одержали победу над армией Иакова V.

* * *

Варварская страна и жестокое племя (фр.)

* * *

Договорах (англ.)

* * *

Группы кельтских племен в древней Ирландии и Шотландии; отсюда название Шотландии – Scotland, страна скоттов.

* * *

Границу (англ.)

* * *

Заклятым врагам (среднеангл.)

* * *

Генрих VIII казнил в 1537 г. вторую жену – Анну Болейн, мать Елизаветы, и в 1542 г. пятую – Екатерину Говард.

* * *

В краю дикарей (фр.)

* * *

Самый прелестный ребенок, какого мне довелось видеть (фр.)

* * *

Рыцарственность (фр.)

* * *

Период кровопролитной борьбы между католиками и гугенотами во Франции (1562-1598).

* * *

Здесь и далее: пер. – В.Левик

* * *

…корсаж приоткрывает ее белоснежную грудь, а высокий стоячий ворот подчеркивает безупречные линии плеч (фр.)

* * *

Королева Французская, Шотландская, Английская и Ирландская (лат.)

* * *

Ради любви прекрасных дам (фр.)

* * *

Диана де Пуатье (1499-1566) – фаворитка французского короля Генриха II, сохранявшая на него влияние до самой его смерти (1559), несмотря на противодействие королевы Екатерины Медичи

* * *

«Жизнь легкомысленных дам» (фр.)

* * *

Погребальная песнь (лат.)

* * *

Мать Иакова V Маргарита Тюдор была старшей сестрой Генриха VIII, дочерью Генриха VII.

* * *

Массовая резня гугенотов в Париже в ночь на 24 августа 1572 г., праздник святого Варфоломея.

* * *

«На прощание» (фр.)

* * *

Милой Францией (фр.)

* * *

Ликующего шествия (фр.)

* * *

Придворных музыкантов (фр.)

* * *

Великий остроумец (фр.)

* * *

Высшая степень (лат.)

* * *

Язычнице (англ.)

* * *

Первый трубный глас в осуждение чудовищного правления женщин (англ.)

* * *

Милые сестрицы (англ.)

* * *

Превыше всех дядюшек на свете (англ.)

* * *

«Тайное намерение» (англ.)

* * *

Подобные нравы, более приличные блудницам, чем пригожим честным женщинам (англ.)

* * *

О жестокая дама! (фр.)

* * *

Вселенская церковь (лат.)

* * *

Нечестная игра, надувательство (англ.)

* * *

Ни для каких дядюшек (англ.)

* * *

Любовник (ит.)

* * *

Любовь втроем (фр.)

* * *

Недоразумении (лат.)

* * *

Принц крови (англ.)

* * *

Трудно вообразить более красивого принца (фр.)

* * *

Ценимый за свои приятные качества (англ.)

* * *

Хвала богу… расстроить этот брак (ит.)

* * *

Тайный брак (ит.)

* * *

Если королева Шотландии согласится на брак с Лестером, она будет признана и провозглашена ближайшей наследницей короны, словно ее, Елизаветы, родная дочь (англ.)

* * *

Восковое сердце (англ.)

* * *

Удивительных переменах (англ.)

* * *

Ссоры влюбленных (лат.)

* * *

Семейные дрязги (лат.)

* * *

Генрих, король Шотландский (лат.)

* * *

Певца Давида (фр.)

* * *

По французской моде (фр.)

* * *

Того труса – Давида (англ.)

* * *

Мадонна, я умираю, справедливости, справедливости! (ит.)

* * *

Всегда что-нибудь мешает (лат.)

* * *

Отщепенцев, стоящих вне закона (фр.)

* * *

Все и вся (англ.)

* * *

Ради Создателя (англ.)

* * *

Такую прекрасную королеву и благородную страну (англ.)

* * *

Убедительно (фр.)

* * *

Огулом (фр.)

* * *

Слово государя (фр.)

* * *

Для нее, видно, немалая потеря потерять его (фр.)

* * *

Избавить от него (англ.)

* * *

После праздника (лат.)

* * *

Во что бы то ни стало (фр.)

* * *

Великой грешнице (лат.)

* * *

Преступление, совершенное в состоянии аффекта (фр.)

* * *

Постель и стол (англ.)

* * *

Повидать Венецию и Милан (англ.)

* * *

Ни делом, ни помышлением к указанному убийству короля (англ.)

* * *

Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 2

* * *

Макбете

* * *

Презренным и позорным перед всем миром (англ.)

* * *

Щедрость, щедрость! (фр.)

* * *

Подданных, дворян, рыцарей, эсквайров, джентльменов и йоменов (англ.)

* * *

Не простясь (англ.)

* * *

Заботясь о своей выгоде (лат.)

* * *

Особенно ярились и бесчинствовали женщины, но и мужчины от них не отставали (англ.)

* * *

Мы никогда не узнаем (лат.)

* * *

Maria Regina (лат.) – королева Мария

* * *

Касательно королевы Шотландской (лат.)

* * *

Увы, мадам! (фр.)

* * *

В некоем подобии другой (фр.)

* * *

По доброй воле (фр.)

* * *

Надежный, красивый, величественный дом (англ.)

* * *

Горе побежденным (лат.)

* * *

Да почиет в мире (лат.)

* * *

У государей большие уши, они слышат все и вблизи и вдали (фр.)

* * *

Они меня дурой считали, думали, я ни о чем не догадываюсь (фр.)

* * *

Картинная галерея (лат.)

* * *

Самыми щекотливыми обвинениями (англ.)

* * *

В почетном затворе (англ.)

* * *

Столик, на который во время богослужения кладутся церковные книги.

* * *

Рассудок (лат.)

* * *

Обличение (лат.)

* * *

Карфаген должен быть разрушен (лат.)

* * *

Провокаторов (фр.)

* * *

Дорогой государыне (фр.)

* * *

Она готова дать согласие (фр.)

* * *

План приведен в исполнение (фр.)

* * *

Фактически (лат.)

* * *

Устав от этого разговора, ее величество отложила вопрос на неопределенное время (англ.)

* * *

Житий святых (лат.)

* * *

Проповедь (англ.)

* * *

Божественный агнец (лат.) – отлитое из воска изображение ягненка, символизирующее Христа

* * *

На тебя, господи, уповаю, да не постыжуся вовек (лат.) – Псалом 71.